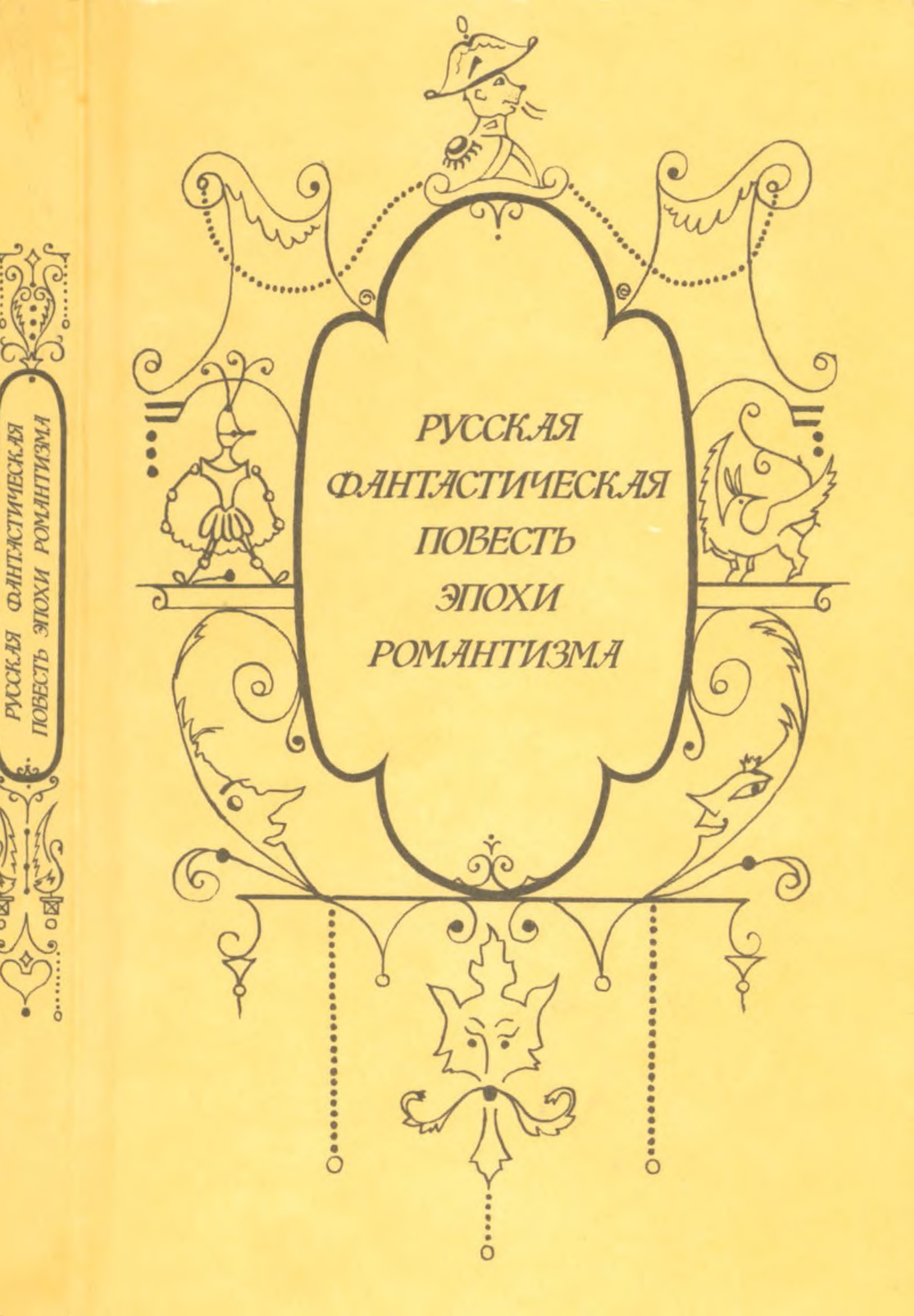
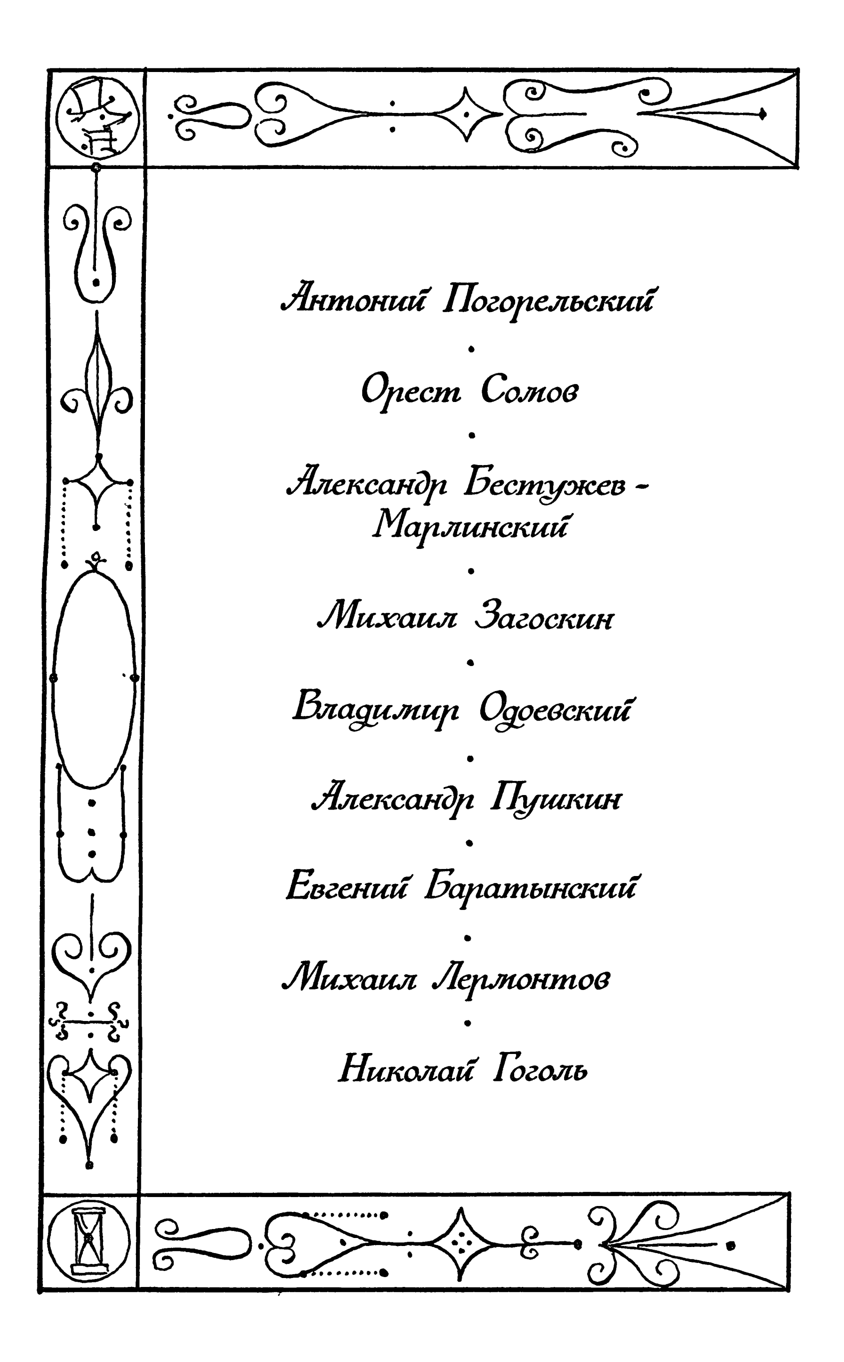
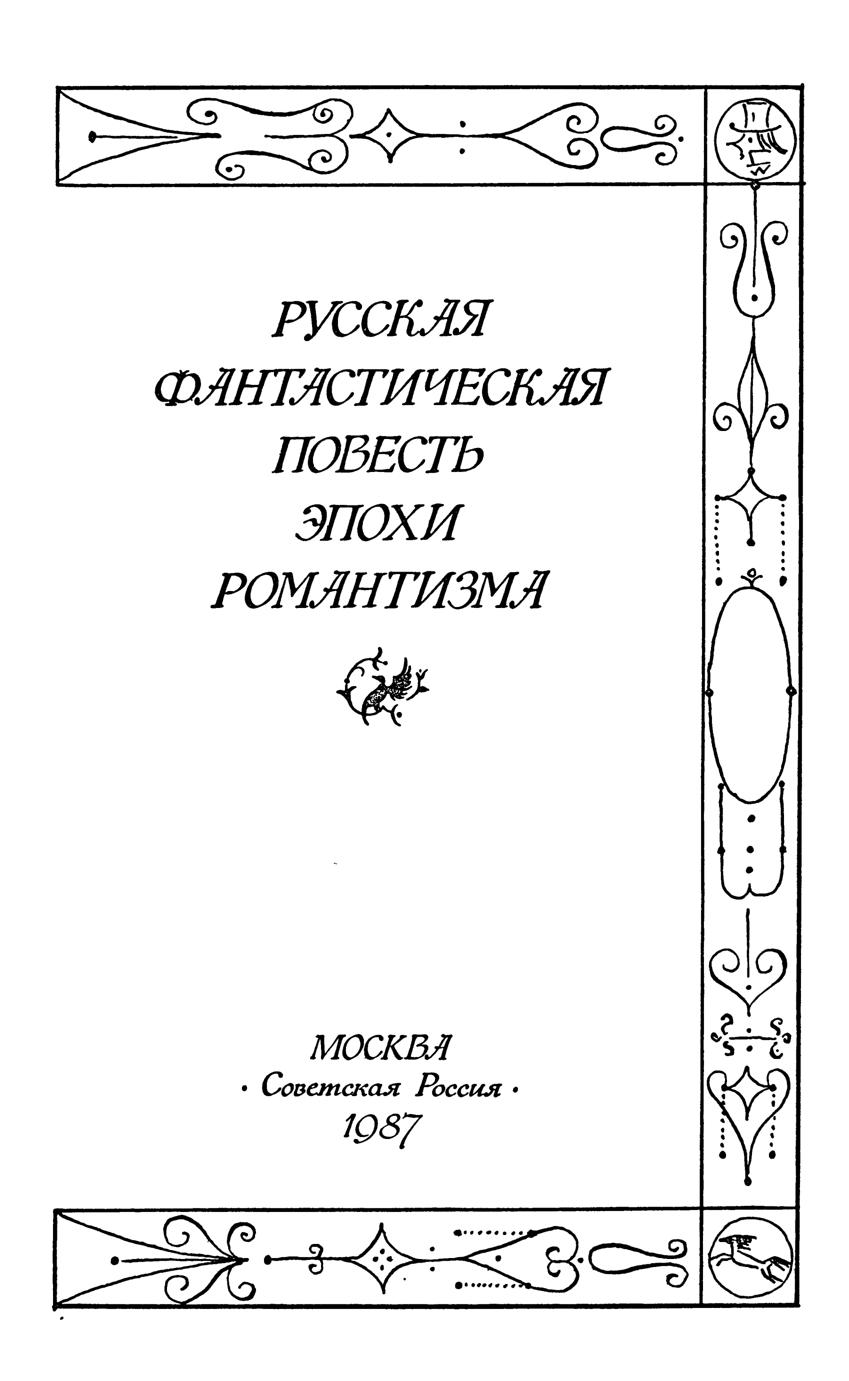

РУССКАЯ
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ
ЭПОХИ
РОМАНТИЗМА
РУССКАЯ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА




Антоний Погорельский
Орест Сомов
Александр Бестужев-Марлинский
Михаил Загоскин
Владимир Одоевский
Александр Пушкин
Евгений Баратынский
Михаил Лермонтов
Николай Гоголь



РУССКАЯ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА

МОСКВА
· Советская Россия ·
1987

Р1
Р89

Составление, вступительная статья и примечания
доктора филологических наук
В. И. Коровина

Рецензент кандидат филологических наук
В. А. Грихин

Художник *В. Юрлов*

Р $\frac{4803010101-362}{М-105(03)87}$ 225—1987 г.

О РУССКОЙ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ

Слово «фантастика» пришло к нам из греческого языка. Мы называем «фантастическим» все, что в данный момент воображаемо или создается воображением. Способность фантазировать — уникальная способность, свойственная человеку. Если иметь в виду значение слова «фантастическое» в смысле «созданное воображением», то вся художественная литература «фантастична», потому что в основе ее лежит художественный вымысел, воображение. Но в более узком и более определенном смысле под фантастикой понимают не всю художественную литературу, а только те произведения, в которых перед нами предстают неправдоподобные явления и образы, не встречаемые в реальности, а также ясно ощущаемое нарушение художником присущих природе причинных связей и закономерностей.

Следовательно, фантастика в литературе всегда сопряжена со сверхъестественным, чудесным. Однако чудесное может быть разного происхождения. В народной сказке мы тоже знакомимся со всевозможными чудищами, которых никогда не было на свете — со Змеем Горынычем, Кащеем Бессмертным, с Бабой-Ягой или с выдуманными предметами — скатертью-самобранкой, сапогами-скороходами, летающей метлой. Но народные сказки при всей их фантастичности и всевозможных чудесах не принято относить к фантастике, потому что они принадлежат тому же миру сказочной «действительности», в каком обитают люди и обиходные вещи. Чудесное и естественное здесь приравнены, и присутствие чудесного не нуждается ни в каких особых мотивировках и не составляет никакой тайны.

Точно так же исключается сверхъестественное из современной нам научной фантастики, опирающейся на рациональный вымысел, связанный с техническими достижениями и с предвидениями ученых.

Таким образом, художественная фантастика предполагает существование двух миров — естественного и сверхъестественного, причем чудесное, вторгаясь в реальную сферу, обязательно нарушает сложившиеся в ней причинные отношения и деформирует их. Поэтому фантастическое всегда сопровождается тайной, поддерживающей напряженность и занимательность. Несмотря на интерес к чудесному и таинственному, писателей,

строящих сюжеты своих произведений на фантастических происшествиях, занимает, конечно, земной мир и те конкретные социальные и психологические отношения, которые возникли в нем исторически. С помощью фантастики писатели стремятся постичь эти отношения и сказать правду о современном им обществе. Тем самым, хотя фантастика часто выдвинута на первый план в произведении, подлинным его предметом выступают мотивы поступков и поведения людей, живущих в реальном, посюстороннем мире.

В русскую литературу широкое проникновение фантастики началось с 10-х годов XIX века. Россия в ту пору переживала мощный общенациональный подъем. Он объяснялся как общими, так и частными причинами. Войны с Наполеоном и особенно война 1812 года чрезвычайно повысили чувство национального достоинства всей нации, всего народа, и тогда передовые дворяне постепенно стали понимать, что именно народ, прежде всего крепостное крестьянство, забитое и бесправное, мелкий городской и сельский люд, составляют живое тело нации, ее самые здоровые жизненные силы. Итогом мучительных и далеко не простых раздумий о народе стало признание того бесспорного факта, что революция для блага народа, но без его участия обречена на поражение. Этот вывод принадлежал будущему, а в начале XIX века народ привлекал пока еще как могучая, но непросвещенная стихия, с которой, однако, нужно считаться. И вот романтики — они были провозвестниками нового понимания народности — обратились к народным преданиям, легендам, верованиям, обычаям, языку, быту, чтобы уяснить своеобразие народной нравственности и народных представлений об истинном и ложном, о духовно ценном, значительном и низком и мелком. А так как народ веками воспитывался в духе христианской религии и сохранял в своем сознании наивные средневековые суеверия, то он объяснял социальные противоречия распрей бога и дьявола, причем бог олицетворял начало светлое и доброе, а дьявол — темное и злое. Писатели, обрабатывая народно-поэтические и легендарные сюжеты, обращаясь к народным преданиям, воспроизводили народные представления и суеверия, но не ограничивались ими. Сквозь них в произведениях романтиков просвечивали иные, вполне реальные земные мотивы, борьба зла и добра в современном им обществе. Романтики выступали и против наивных предрассудков, распространенных среди простого люда,

способствуя просвещению народа. Благодаря романтикам русская литература вслед за европейской использовала фантастику не в целях закрепления суеверий и догм христианской религии, а для постижения действительных противоречий общественного уклада.

Интерес к народным произведениям, в основу которых легли предания и верования, был порожден жгучей потребностью лучше узнать прошлое каждого народа. Воскресив в памяти современников, казалось бы, прочно забытые, но продолжавшие жить в культурно-историческом обиходе печальные и жуткие, чудесные и полные тайны вымыслы, писатели помогли глубже понять истоки каждой нации.

Вкус к фантастике в русской литературе объяснялся не только небывалым национальным подъемом. В конце XVIII века произошли громадные перемены в общественной психологии людей. Феодальный строй, подавлявший чувство личности, переживал острый кризис. Народы уже не хотели более терпеть ни феодальной зависимости, ни других ограничений свободы. Их жизнь одухотворили настроения, напоенные чувствами вольного бытия, не скованного сословными перегородками, суровыми религиозными запретами, наложенными церковью и дворянской идеологией. Тогда-то, угадывая эти настроения, философы и писатели обратили взоры в прошлое своих народов, в древнюю поэзию, чтобы опять-таки понять, как исторически складывался характер народа и каковы его отличительные свойства.

На переломе от феодального общества к буржуазному рушились старые моральные нормы и возникали новые. Человек той эпохи отвергал нравственные догмы, сложившиеся в средневековье, и противополагал им принципы, выдвинутые рождающейся буржуазной эпохой. Новые этические понятия еще не были господствующими и потому выступали как частные, разделяемые отдельными людьми, хотя и многими. Первоначально эти отношения стали предметом жанра баллады, а из баллады они проникли в эпические жанры, прежде всего в повесть. Именно в балладе фантастика стала важным организующим принципом сюжета. Фантастическое в балладе, в романтической повести второй половины 20-х годов XIX века, а затем и в реалистической повести 30-х годов Пушкина, Лермонтова и Гоголя проясняло борьбу между укорененной веками официальной этикой и этикой личной. Введение фантастики в сюжет обнажало противоположность человечности,

доброты, щедрости и бескорыстия нравов, невежеству и суевериям, непонятным и порабощавшим сознание человека внешним силам и страху перед ними. Фантастика в повестях отражала народное сознание, наивно полагающее, что источник зла заключен в чертях и ведьмах, в дьяволе и сатане, которые искушают человека и делают его своим послушным орудием. Но вместе с тем фантастика давала почувствовать, что настоящие причины лежат не в потусторонней сфере, а в реальных условиях и в самом человеке, который либо уступал напору губящих его обстоятельств, либо противился ему. Тем самым фантастическое оказывалось своего рода лакмусовой бумажкой, принимающей разный цвет в зависимости от того, в какую духовную среду она помещена. Благодаря фантастике четко вырисовывался разлад между народными и феодальными этическими нормами, между моралью, не порвавшей с народными представлениями, и моралью, отступившей от них. Вместе с тем в условиях перехода от феодального к буржуазному обществу и мораль феодальная, и этика частного, отдельного человека казались неподдающимися разумному объяснению, потому что прежние моральные устои пугали своей косностью, жестокостью, а новые нормы тоже не выступали безупречными. Ведь романтики остро уловили противоречия буржуазной морали, ее холодную расчетливость и обнаженный цинизм. Освобождение личности от вековых предрассудков и ханжеских запретов, реабилитация чувств шли об руку с преклонением перед золотом, перед его разбуженной буржуазной конкуренцией силой, казавшейся ввиду ее безличностного характера поистине фантастической. Мир в ту эпоху предстал необычайно сложным, и управлявшие им законы словно теряли свою земную, общественно-социальную основу и выглядели сверхъестественными и фантастическими.

Фантастика, вторгаясь в жизнь, в быт, помогала уловить, с одной стороны, социально-историческую причинность, свойственную действительности, а с другой — зависимость поведения человека от сугубо земных обстоятельств, воздействующих на внутренние качества личности даже в том случае, если ей самой сознание подобной обусловленности было недоступно.

Во всех фантастических повестях мы знакомимся с таинственными случаями, с загадочными происшествиями, с исключительными событиями, с тайной, вызванной присутствием необъяснимого и непостижимого для героев ирреального мира. Необыкновенное и таинствен-

ное входит в жизнь персонажей и если не всегда ломает их судьбы, то все же заставляет их иначе, чем прежде, посмотреть на себя и окружающую обстановку. Фантастическое как бы на время вырывает героев из привычных связей, отношений бытового уклада, накатанной житейской колеи и впрямую ставит их перед простыми и вечными естественными жизненными ценностями. Сама ситуация побуждает героя сделать выбор, исходя из тех или иных этических представлений. Тем самым во всей остроте на первый план выдвигаются «грозные вопросы морали», подвергая героев страшным и суровым нравственным испытаниям. Чтобы мотивировать введение фантастического, писатели обычно вводят сон, расстройство сознания, временное помрачение разума из-за сильного опьянения, а иногда объясняют экзальтированностью, повышенной эмоциональной возбудимостью персонажа либо оставляют читателя в недоумении, тонко играя на грани явного и чудесного. Всем этим достигается важная особенность фантастической повести: логика реальной жизни на какой-то период изымается из действия, чтобы затем обнаружить себя в более полной мере и отпраздновать свое торжество.

Зачинателем русской фантастической повести по праву считают Алексея Алексеевича Перовского, писавшего под псевдонимом «Антоний Погорельский». Уже первая его повесть «Лафертовская Маковница» содержит все основные признаки жанра.

Антоний Погорельский погружает нас в жизнь небогатого мещанского семейства, которое верит в народные представления о колдовстве, о злой силе, способной ввергнуть человека в грех и такой ценой сделать его богатым. Продавая душу дьяволу, человек обретал деньги, но не избавлялся от мучений нечистой совести.

Народная фантазия закрепила в этом сюжете глубокое жизненно-духовное содержание. Она отдала предпочтение высоким нравственным качествам, признав их подлинно ценными и нетленными. Сюжет этот не однажды был обработан в литературе. Тем самым «Лафертовская Маковница» вписывается в обширную народную и литературную традицию. Однако Антоний Погорельский вносит в нее новую свежую струю. Писатель окутывает фабулу повести юмором и тем отчасти снимает таинственность сверхъестественного, устанавливая дистанцию между сознанием персонажей и сознанием повествователя. Это необходимо

А. Погорельскому для того, чтобы утвердить значимость естественных связей и отношений.

В соответствии с традицией повествование строится на контрасте двух линий — бытовой и чудесной. С одной стороны, конкретность бытовых и жанровых сцен, а с другой — прямое изображение колдовства, гаданий и других таинственных обрядов. Подробно описывается жизнь отставного почтальона Онуфрича, его семьи и тетки, торгующей маковниками в Лефортове. Тут все просто, прозаично и обыденно. Но вот слухи о том, что тетка живет на неправедные деньги, доходят до ее племянника, и Онуфрич, как человек набожный, решается сказать тетке, чтобы та прекратила сношения с нечистым и оставила свое ремесло. Во время посещения Онуфрича старая тетка сбрасывает личину, и тут впервые в повествовании предстает ее подлинный облик: «Губы ее посинели, глаза налились кровью, нос громко начал стукаться об бороду». Разозлившаяся старуха всем своим видом напугала Онуфрича. «С этого времени,— написано в повести,— все связи между старушкою и семейством Онуфрича совершенно прервались». Антоний Погорельский подчеркивает, что сама по себе власть таинственного бессильна, если она не встречает благоприятной почвы в душах людей. При этом пороки, такие, например, как жадность, вполне земного происхождения. Ивановна, жена Онуфрича, может быть, и довольствовалась бы своей скромной долей, если бы не дочь Маша, девушка на выданье: «...Маша была бедна,— и женихи не являлись». Жадность Ивановны — не следствие ее характера, а результат обычных жизненных обстоятельств. Ивановну толкает к обогащению забота о счастье дочери, которое она понимает как материальное благополучие.

Вся сцена колдовства и гадания согрета теплым юмором: виски Маши старуха трет муравьиным спиртом, таинственный обряд сопровождается мурлыканьем кота, и, наконец, Маша дважды падает в обморок, а когда старуха, перед которой плавно выступал кот, начала ходить вокруг стола, Маша и вовсе зажмурилась. Открыв глаза, она увидела, что на черном коте «зеленый мундирный сюртук», а вместо его круглой головки ей померещилось «человеческое лицо». Единственное вещественное свидетельство тайных чар — ключ на черном шнурке, подаренный старухой. Загадочное происшествие вписано в раму вполне конкретного быта и прозаических жанровых сцен. Таинственное как бы окружено будничным и обыденным.

Оно лишено непосредственной власти над повседневным укладом, но может смущать и искушать человека, если им завладеют низменные страсти. Маша испытывает колебания, не смея противиться матери, которая слушается «демона корыстолюбия», и порываясь рассказать отцу про скрытое от него свидание с теткой-ведьмой. Но здоровая натура девушки берет верх. В конце концов на нее обратил внимание «молодой хорошо одетый мужчина», пленивший ее сердце. Он, как поведала ей соседка, «хотя из мещанского состояния, но поведения хорошего и трезвого и сидельцем в суконном ряду». Герои подходят друг другу. Здесь Антоний Погорельский снова вводит мотивы народной мудрости: «Деньги не делают счастья!» Писатель отвергает суеверия и предрассудки, бытовавшие в народной среде, но высоко ценит утверждаемые народом простые жизненные ценности. «Маша,— пишет он,— внутренне очень согласна была с мнением соседки; и ей также показалось, что лучше и быть бедною, но жить с любимым незнакомцем, нежели богатой и принадлежать — бог знает кому!»

Однако материнское тщеславие Ивановны, мечтавшей о палате золота и о карете, запряженной четверней, цепко держит ее душу: Маша боится, что ее не отдадут за бедного, хотя и любимого ею Улияна. Этот ее страх и создает возможность для нового оживления потусторонней силы, которая является в лафертовском доме, куда переезжает семейство после смерти старухи. Сердце Маши становится как бы полем невидимой борьбы между Онуфричем, человеком трезвым и честным, живущим по нормам патриархальной морали, и Ивановной, отступающей от этих норм. Но исход этой борьбы зависит прежде всего от самой Маши.

Обещанный ей жених предстает в двух и даже трех лицах, пока не выясняется, что Улиян и сын маркитанта, старого знакомца Онуфрича, один и тот же человек. Тут опять-таки Антоний Погорельский налагает юмористический грим на сентиментальную любовную историю двух влюбленных, которые, счастливо миновав препятствия, устремляются к счастию. Жених же, которого особенно жалует Ивановна, уже не молод, но богат. Маша, едва взглянув на него, признала в нем бабушкиного черного кота, «который странным образом повертел головою». Девушка с ужасом замечает и зеленый мундир, и все ухватки того самого кота, который возглавлял шествие во время колдовства. И зовут титулярного советника «по-кошачьи»:

Аристарх Фалелеич Мурлыкин. Пу́шкин, прочитав повесть А. Погорельского, с удовольствием отметил необыкновенную пластику в изображении этого лица: «...что за прелесть бабушкин кот! Я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Тр.<ифоном> (т. е. Аристархом; оговорка Пушкина.— *В. К.*) Фал.<елеичем> Мурлыкиным. Выступал плавно, зажмуря глаза и выгибая спину». Именно в этом месте А. Погорельский вводит гротеск, создавая образ кота-оборотня.

После знакомства с двумя женихами Маша опять оказывается перед выбором, но лучшие и добрые силы ее души побеждают: она снимает с шеи ключ на черном шнурке и бросает в колодец, отказываясь от бабушкиного богатства. Злые чары разрушены, и в сыне маркитанта Маша узнает возлюбленного Улияна. Она сама достигла желаемого счастья, любви, и в придачу ей пожаловано и нечаянное богатство. Писатель награждает свою героиню за чистоту души, верность народной этике, за то, что она преодолевает страх перед внешними обстоятельствами, олицетворенными в образах старухи и кота, и не поддается искушениям и соблазнам грубой материальности.

А. Погорельский написал светлую повесть о победе гуманных народных начал над суевериями и предрассудками. Его фантастика не страшна, а занимательна и юмористична, потому что она возникает как следствие народных представлений и взята из народных поверий и сказок. Она вырастает на той же бытовой почве, в которой формируются драгоценные свойства простых людей, находящие подчас наивное выражение. В повести А. Погорельского нет трагического противостояния реального и фантастического, что характерно, например, для немецкого романтизма. Вместе с тем фантастическое — даже в народном его толковании — средоточие злых, чуждых человеку сверхъестественных сил. Следовательно, быт обыкновенных людей и их представления обладают не только светлыми сторонами, но и темными. В повести А. Погорельского добро торжествует над злом, реальность над мрачной фантастикой. Писатель не дает возможности фантастическому одержать верх над естественным и земным, полагая ему строгие и узкие пределы. Рисуя фантастические эпизоды, он постоянно помнит о реальном. В эту повествовательную игру втянуты и персонажи, и читатели. В начале повести мы узнаем, что Онуфрич, вышедший в отставку, жил в собственном доме, доставше́мся «ему

по наследству от недавно скончавшейся престарелой его тетки». Мы помним, что Онуфрич с семейством нехотя переезжал в этот дом. В конце же повести нам сообщается: «...потолок в лафертовском доме провалился и весь дом разрушился», а Онуфрич говорит: «Я и так не намерен был долее в нем жить...» Так и неизвестно, что же случилось с домом — стал ли он пристанищем для престарелого Онуфрича или развалился, когда исчезли чары старухи. Реальность и фантастика здесь сплелись, и это характерно для рассказанной А. Погорельским истории. Действительность и выдумка, правда и вымысел как бы переливаются друг в друга, и нет полной уверенности, что необыкновенное событие было или что его не было.

Опора на народную фантастику сказок и преданий, суеверий и предрассудков, разделяемых тогда массой людей, и одновременно погружение в повседневный быт определили отличительные черты той разновидности фантастической повести, которая передавала национальный колорит и утверждала значимость народной этики. Но в повести «Лафертовская Маковница» в зародыше содержались и жанровые признаки других видов фантастической повести. Фантастическое у А. Погорельского было носителем зла. Развитие этого мотива привело в ряде произведений к художественному изображению трагического уклонения человека, вставшего на путь сознательного демонизма, от законов правды и добра, к борьбе фантастических сил с человеком. Наконец, фантастическое, выступавшее в русской литературе как средство раскрытия естественной причинности, становилось способом сатирического изображения. Здесь фантастика приобретает гротесковый характер. Во много раз усиленный гротеск появится в повестях В. Ф. Одоевского и Н. В. Гоголя.

Народно-поэтическая струя фантастической повести А. Погорельского была подхвачена в «Русалке» и «Киевских ведьмах», Ореста Сомова — критика, близкого к декабристам, а затем и к пушкинскому писательскому кругу, в «Страшном гаданье» декабриста и популярного прозаика-романтика Александра Бестужева-Марлинского, в повести «Нежданные гости» известного исторического романиста Михаила Загоскина и отчасти в произведениях философа, писателя, критика, музыкального деятеля Владимира Одоевского.

Сомов обрабатывал украинские предания и в этом предварял последующие повести Н. Гоголя из «Вечеров на

хуторе близ Диканьки». В отличие от А. Погорельского фольклорно-фантастические повести О. Сомова овеяны лиризмом и трагичны.

В основе «Русалки» — история милой и легковерной девушки Горпинки, соблазненной польским паном Казимиром Чепкой и покинутой им. Мотив социальной розни хотя и присутствует в повести, но не развит. О. Сомов переводит повествование в традиционное русло, лишь в согласии с фольклорными источниками давая новые повороты сюжета, но оставляя неприкосновенным общее развитие фабулы. Народный колорит здесь достигается не столько детальным описанием быта и этнографических подробностей, сколько передачей напоенных образами народных поверий лирических переживаний Горпинки и ее матери. Фольклорная стихия, в которой живет героиня, подчеркивает чистоту, нравственную цельность и наивность людей из народа, верящих и в светлую любовь, и во враждебное людям колдовство, подстерегающее их простые души. Всякий чужой человек, тем более иноверец и богач, какими бы сладкими речами и очарованными глазами ни завлекал он непорочное и открытое сердце, кажется колдуном и лиходеем, коварным искусителем и обманщиком. Легенды и предания закрепили устойчивый нравственный опыт народа, не доверявшего людям, которые занимали высокое социальное положение, и ощущавшего себя беззащитным перед ними. Обманутый народ искал справедливости и жаждал возмездия. Но отмщение обидчикам опять-таки мыслилось с помощью фантастической силы. Так и Горпинка, не дождавшись Казимира Чепки и поняв, что он соврал ей, обратилась по наущению «услужливых старушек» к живущему в бору за Днепром колдуну. Превратившись в русалку, она ненадолго (вняв просьбе матери, колдун дает ей совет, как вырвать Горпинку из потустороннего мира) возвращается домой, но затем исчезает уже навсегда. Описание жизни русалок и просьба дочери отпустить ее в иную жизнь, где ей весело и привольно, где нет голода и холода, царящих на земле, полны лирической мечты о подлинном счастье, об ином, идеальном, мире. Именно там, как бы шутя, восстанавливается справедливость: на другой день после бегства Горпинки нашли мертвое тело, в котором узнали Казимира Чепку. Играя, русалки защекотали его.

О. Сомов доносит до нас народное предание бережно сохраненным. Он не вносит в него примет своего литературного сознания, он вполне доверяет ему и по-

вествует о событиях, становясь на точку зрения, выраженную в известных ему источниках. И вместе с тем, оставаясь на почве народных представлений, он дает почувствовать, что естественное и сверхъестественное непримиримы. Между ними идет вечная и непрекращающаяся битва, ведущая к неизбежной гибели ее участников. Само общение двух миров чревато трагедией.

Молодой казак Федор Блиставка полюбил красивую девушку Катрусю. Ничто не мешало их счастью. Но однажды Федор убедился, что Катруся ведьма. Любопытство одолело казака, и он, проделав те же обряды и произнеся те же заклинания, что и жена, полетел вслед за ней. Опрометчивость казака дорого обошлась обоим: злая доля обрекает героев на гибель и разлучает навечно. Как бы ни старался человек избавиться от бесовского наваждения, как бы ни были сильны его чувства, силы зла торжествуют над ним. Но народная фантастика провозглашает не только этот горький итог: одновременно она и возвеличивает человека, ради беззаветной любви готового к альтруизму ценой самопожертвования. Недаром Федор, прощающий жену-ведьму и знающий, что его ожидает неминуемая смерть, принимает ее как «приятное томление», «роскошное усыпление» и уходит из жизни со словом «сладко». Трагический финал рассказанной О. Сомовым истории не отменяет высоких достоинств верной любви, доброго и милостивого сердца.

В некоторых повестях народная фантастика, как у А. Погорельского и О. Сомова, тесно сливается с провинциальным «(«Нежданные гости» М. Загоскина) и светским («Страшное гаданье» А. Бестужева-Марлинского) бытом. Герой последней повести во сне, наполненном фантастическими видениями, заново переживает чувство любви и, просыпаясь, прозревает: «Это гаданье открыло мне глаза, ослепленные страстью...» Он понял, как губительна его светская интрига, как легко безумная и безнравственная любовь могла привести его к позорному обольщению и даже убийству и как сам он мог запятнать свою совесть и стать жертвой своего преступного влечения. Фантастическое здесь снова проясняет реальное, убеждая героя, что, подверженный нормам светской морали, он оказывается во власти ее законов, гораздо более жутких, чем таинственные и загадочные происшествия, случившиеся с ним во сне.

Тема бездушного света волновала не только А. Бестужева-Марлинского. Ей отдали щедрую дань и В. Одоев-

ский, и М. Лермонтов в неоконченной повести «<Штосс>». Обычная болтовня между Минской и Лугиным, в которой Лугин признается в душевном нездоровье, подчеркнуто реалистическое описание Петербурга и неожиданные встречи с привидениями — стариком и красавицей, игра в штосс, где на карту поставлена, вероятно, судьба самого Лугина и пленительной незнакомки, наконец, полная подчиненность охватившей страсти — все это рисует светский быт, светскую атмосферу, в которой таинственность приобретает «необычайную власть» и стремит покорившегося ей человека в бездну. Возможно, в повести реализовалась бы глубокая мысль, высказанная Лермонтовым: самая невинная любовь к воздушному идеалу оказывается вместе с тем и «самой вредной для человека с воображением», заставляя его растрачивать душевные силы на пустые фантастические химеры.

В какой-то мере повесть Лермонтова созвучна написанной ранее повести знаменитого поэта пушкинской эпохи Евгения Баратынского «Перстень», в которой выдуманная любовь порабощает человека и в которой фантастическое отчасти становится предметом иронии. Следуя за традицией, Баратынский прочно вписывает героев в поместный и светский быт, но героем повести он избирает душевно нездорового человека. Всерьез восприняв средневековые представления о прекрасной даме сердца, Опальский сделался добровольным страдальцем своей вымышленной любви и благородным рыцарем подаренного ей перстня. Дама эта — Марья Петровна — была обыкновенная русская дворяночка, однажды в праздник явившаяся в наряде испанки и отдавшая предпочтение Петру Ивановичу Савину. Больное воображение Опальского преобразило обычную историю в мираж: он написал о ней повесть, в которой возомнил себя доном Антонио, Марью Петровну — донной Марией, а Петра Ивановича Савина — доном Педро де-ла-Савина, и хотя в жизни остался Опальским, но предался, подобно средневековым алхимикам, бесчисленным опытам, за что его в округе называли чернокнижником. Наложенный Опальским на себя строгий обет безбрачия и верности платонической любви переведен Баратынским в план таинственного и фантастического, хотя и с изрядной долей иронии, рыцарского поведения, странного и необъяснимого в сравнении с господствующими нравами. В конце концов все встало на свои места, и фантастическое рассеялось как дым. Ирония Баратынского над нелепыми выдумками

очевидна, но столь же очевидна и горечь: преданная и бескорыстная любовь жила в сердце безумца. Но не безумец ли тот, кто подчинился власти ослепившего воображения и так преступно распорядился своей судьбой? Ясность ума, озарившая перед кончиной Опальского, заставляет его признать свое поражение. Однако одновременно с этим Баратынский побуждает читателя оценить степень его «мечтательных страданий», скрашенных в минуту смерти дружбой, не употребленной во зло. В такой глубине и сложности рисуется Баратынскому история загадочного перстня.

Фантастическое в русской литературе 20—30-х годов XIX века, окруженное наиреальнейшим бытом, спаянное с народными чувствованиями и верованиями, помогало писателям-романтикам обнаружить единство всего сущего, тесную связь вещественного мира с миром духовным, мыслей и чувств с поступками людей, нравственных побуждений с реальным поведением. Речь шла не о признании сверхъестественного, а взаимопроникновении материального и духовного в земной сфере. Уже в повести А. Погорельского «Черная курица», названной автором «волшебной», мальчик Алеша убеждается, что каждое доброе движение его сердца оборачивается реальным благом, а его нравственная невоспитанность приносит тяжкие страдания не только ему, но и вымышленному народу, который ему полюбился и который вынужден покинуть освоенную территорию. Морально-дидактическая направленность повести, специально созданной для племянника писателя Алексея Константиновича Толстого с понятными для такого сочинения педагогическими целями, все же отступает на второй план, открывая простор идее живой всепроницаемости мыслимого, желаемого и обыденного, прозаического. Идеальное настолько же законная и неотъемлемая часть нашего существа, как и бытовое. Алеша живет в двух мирах — воображаемом и повседневном, но в сознании его они как бы не пересекаются, тогда как на самом деле их невозможно отделить. Любой его шаг, любое его чувство или намерение непременно влечет ответное действие и чревато добрыми или злыми последствиями. Мотивы и стимулы поведения так же важны, как и поступки, между идеальным и реальным нельзя проложить глухую разделительную границу, и потому человек нравственно ответствен и за то, что он думает, и за то, как поступает в жизни.

Фантастическая повесть чрезвычайно многообразна

по содержанию и по формам. Одна из ее разновидностей была особенно развита романтиками, привнесшими в повесть философскую мысль. Наивысшего взлета такая повесть достигает в творчестве Владимира Одоевского.

Из писем Михаила Платоновича, идеально настроенного героя повести «Сильфида», становится ясно, что жизнь в имении дяди ему скучна. Он не заводит псовой охоты, не пьет пунша, чем крайне удивляет местных помещиков, и попытки заговорить с Катей, дочерью богатого соседа, не привели к успеху: «Я бился с нею около получаса и до сих пор не могу решить, есть ли ум под этою прекрасною оболочкою...» Сонный, тусклый быт, умственная неподвижность не по нутру Михаилу Платоновичу. Наблюдения над застойным и мертвым укладом определили его решение запереться дома и никого к себе не пускать. Отвернувшись от мира, он увлекся старыми книжниками, погрузился в оторванное от действительности чтение средневековых алхимиков и кабалистов. Тяга к духовному, идеальному совмещена здесь с отвлечением от реальных потребностей и потому пуста. Михаилу Платоновичу хочется насытить свою жизнь глубокими мыслями и чувствами. Он неудовлетворен современностью, но, воспитанный ею, Михаил Платонович не может вырваться из ее объятий: ведь химерический идеал, высшее знание, которых он домогается,— оборотная сторона житейской скуки, вырастающие на ее скудной почве. В этом идеале главное содержание составляет мистическое проникновение в таинственную сущность бытия. Михаилу Платоновичу с помощью перстня удается вызвать элементарного духа — Сильфиду. В ее описании В. Одоевский едва ли не ироничен: «Эта женщина была не младенец; представьте себе миньятюрный портрет прекрасной женщины в полном цвете лет...» Крошечный итог опытов Михаила Платоновича — свидетельство насмешки писателя над мистическим идеалом, оторванным от настоящей жизни и губительным для человеческого сознания. Недаром речь Сильфиды, увлекающей героя последовать за ней, смешана с речью Михаила Платоновича, и все это граничит с бредом, в котором постепенно исчезает всякая связанность и «почти невозможно было ничего разобрать...», а «последние строки были написаны какими-то странными неизвестными... буквами и прерывались на каждой странице...». В этой речи возвышенное слито с бесчеловечным и заведомо неосуществимым, идеальное с иллюзорным и отрешенным, красота и гармония с мелким

и пошлым. Они образуют причудливый сплав, символизирующий больное сознание Михаила Платоновича, но болезнь его отличается особым свойством — это не болезнь тела, не сумасшествие в обычном смысле, а болезнь духа, рвущегося к чему-то высокому, исполненному поэзии, света и счастья, но не только не достигающего блаженства, но и само блаженство мыслящего в безжизненных, мертвых формах, ибо других-то форм идеального окружающая Михаила Платоновича обстановка и не может ему дать. Вот почему столь ироничен В. Одоевский и в описании усилий лекаря: бульонные ванны не способны излечить действительность, как не способны они помочь страждущему. Михаил Платонович становится вполне нормальным, «совершенно порядочным человеком», «как другие», стоило только отнять у него идеал. «Ты очень рад,— упрекает он своего друга,— что ты, как говоришь, меня вылечил, то есть загрубил мои чувства, покрыл их какою-то непроницаемою покрышкою, сделал их неприступными для всякого другого мира, кроме твоего ящика...» Возвращаясь к безыдеальной действительности, он становится таким же, как и его соседи помещики. Но обретенное им телесное здоровье ничем не лучше его прежней болезни.

Фантастическое в повести «Сильфида» постепенно вытесняется пошлым и тусклым бытом и само несет в себе его видимые признаки. В. Одоевский рассказал о двух, казалось бы, несовместимых крайностях: об идеале, в котором смешалось мистическое и высокое, и о земном быте, где живая красота лишена духовности. Михаил Платонович мечется между прекрасной и прозаической Катей, имеющей «привычку по целым дням не говорить ни слова», и пленительной женщиной, «едва приметной глазу»,— этими двумя символами одной и той же существенности, могущей производить лишь очаровательные химеры да несносную скуку повседневности. Мистическое как проявление идеального характеризует фантастическое мертворожденным продуктом удручающего своей бездуховностью обыкновенного быта.

В сатирических повестях В. Одоевского фантастика выполняет разоблачительную роль. Она срывает благопристойные покровы, и место, например, чиновников, предавшихся карточной игре, неожиданно занимают карты. Невидимая душа, отделившаяся от материальной оболочки, просит выдать ей мертвое тело, считающееся неизвестно кому принадлежащим, а приказный Севастьяныч строчит бумагу в полном соответствии с буквой бюрократического

закона и подписывает за просителя. В повести «Живой мертвец» чиновник видит сон, будто он умер, но сохранил способность рассуждать и чувствовать. Писатель приводит его в канцелярию, где другие чиновники говорят о нем непочтительно, как о взяточнике и крючкотворе, ханже и святоше, лицемере и лентяе, пакостнике и корыстолюбце. Затем он слышит разговор своих сыновей, обманывающих сироту и лишающих ее наследства, а в довершение всего ее, оболганную, но невинную, арестовывает полиция. Старший сын подсыпает яд в стакан младшего, чтобы тот не был ему помехой и из жалости не выболтал о совершенном преступлении. Повесть построена так, что о чиновнике рассказывают другие люди, он же комментирует их слова, но все повествование принадлежит самому чиновнику и представляет собой его внутреннюю речь, развертывающуюся в эпизоды и сцены. Василий Кузьмич словно проигрывает свою жизнь, воспроизводя то, что он натворил и что о нем думают и говорят. Он знает свои грехи, тайна которых для всех, как ему известно, перестала быть тайной, он догадывается о том, что его обманывают, но не может с этим смириться и хочет, чтобы все оставалось шито-крыто. Всю жизнь надувая других, он не желает быть на их месте. Невольно раскрываясь, он боится огласки. Пожиная плоды своих злодеяний, Василий Кузьмич приходит в ужас от своей порочной деятельности, которая развращает или губит всех, с кем бы он ни общался, включая и собственных его детей. В. Одоевский рассказал о всеразрушительном зле, носителем которого стал не только один человек, но и другие персонажи (за исключением Лизы и Гриши — племянницы и младшего сына), удивительно похожие на него: они такие же взяточники, воры, хапуги, лицемеры, предатели и лгуны. Общество, взросшее на обмане и корысти, достойно суда и казни, но, осознавший во сне свою виновность, Василий Кузьмич, проснувшись, снова принимается за старое. В конце повести рождается новый сатирический мотив: герой усматривает причину своего страшного сна в том, что на ночь прочитал фантастическую сказку, и на свет выходит новое лицо Василия Кузьмича — душителя правды и общественного мнения: «Ох, уж эти мне сказочники! Нет чтоб написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное! а то всю подноготную из земли вырывают! Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже! читаешь и невольно задумываешься — а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запре-

тить им писать, так-таки просто вовсе бы запретить...»

Социальное зло, проступающее благодаря фантастике и гротеску, в романтической повести приобретает, таким образом, то демонический, то вполне человеческий облик. И в том, и в другом случаях писатель-романтик сосредоточен на всеобщей связи явлений материальных и духовных, мира вещественного и нравственного. Эта идея получает новое осмысление в произведениях Пушкина и Гоголя, ставших вершинами русской фантастической повести.

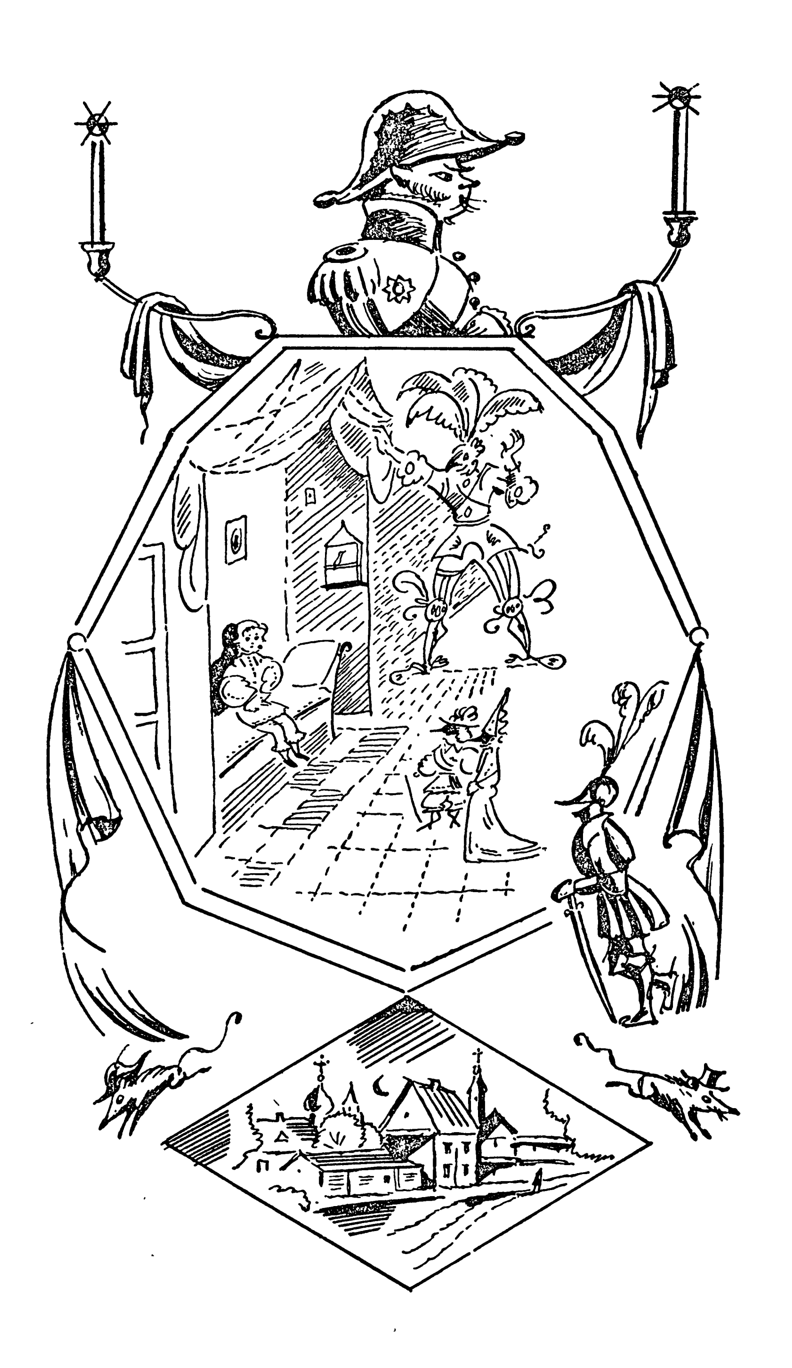
Фантастическое в «Гробовщике» и «Пиковой даме» не обнимает всего их пространства, но, вписывая повести в уже известную литературную традицию, углубляет их социально-философское содержание и бросает яркий свет на ненормальность тогдашней жизни. В «Гробовщике» бытовые, казалось бы, незначительные события — переезд в новый дом, застолье у немца-ремесленника — совершаются как бы на грани жизни и смерти, а сон Адрияна Прохорова сталкивает живых и мертвых друг с другом, и это раздвигает пределы повествования. Незаметная частная судьба вставлена в раму всего человеческого бытия, уравнена с ним в своих бесспорных правах. В «Пиковой даме» фантастические видения Германна не только оттеняют его бесчеловечную одержимость богатством, но и высвечивают угрожающую сущность нового века с его нравственной вседозволенностью. Действительность являет свой уродливо искаженный фантастический лик, отчетливым признаком которого становится безумие.

У Гоголя «необыкновенно странное происшествие», случившееся с майором Ковалевым — пропажа носа, начавшего самостоятельную чиновничью жизнь,— никак не объяснено и не мотивировано. И это связано как с пародией на мистические сверхъестественные сюжеты повестей романтиков, так и с мыслью о том, что неестественное, гротесковое таится в современной писателю действительности, заключающей в себе фантастическое и потому производящей ее, а время от времени даже выбрасывающей ее наружу, на всеобщее обозрение. Заключительная фраза — «Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете; редко, но бывают» — значительна и своей иронией, и своей убеждающей серьезностью.

Фантастическое в процессе эволюции повести от романтической к реалистической стало, следовательно, осознаваться свойством ненормальной действительности, ее смешной или злобной гримасой, а не пришельцем из потустороннего мира. В лучших повестях русских авто-

ров фантастика не была самоцелью. Она оказывала действенную помощь писателям в раскрытии многообразного и богатого жизненного содержания, отделяя в нем доброе от злого, духовно ценное от пошлого и ничтожного, прекрасное от безобразного, возвышенное от низменного, человечное от бесчеловечного. И потому фантастика не исчезла из русской литературы: ей отдали дань Достоевский, Тургенев и Салтыков-Щедрин, а в советское время — Маяковский, Булгаков, Твардовский.


Антоний Погорельский





ЛАФЕРТОВСКАЯ МАКОВНИЦА

Лет за пятнадцать пред сожжением Москвы недалеко от Проломной заставы стоял небольшой деревянный домик с пятью окошками в главном фасаде и с небольшою над средним окном светлицею. Посреди маленького дворика, окруженного ветхим забором, виден был колодезь. В двух углах стояли полуразвалившиеся амбары, из которых один служил пристанищем нескольким индейским и русским курам, в мирном согласии разделявшим укрепленную поперек амбара веху. Перед домом из-за низкого палисадника поднимались две или три рябины и, казалось, с пренебрежением смотрели на кусты черной смородины и малины, растущие у ног их. Подле самого крыльца выкопан был в земле небольшой погреб для хранения съестных припасов.

В сей-то убогий домик переехал жить отставной почталион Онуфрич с женою Ивановною и

с дочерью Марьею. Онуфрич, будучи еще молодым человеком, лет двадцать прослужил в поле и дослужился до ефрейторского чина; потом столько же лет верою и правдою продолжал службу в московском почтамте; никогда, или, по крайней мере, ни за какую вину, не бывал штрафован и наконец вышел в чистую отставку и на инвалидное содержание. Дом был его собственный, доставшийся ему по наследству от недавно скончавшейся престарелой его тетки. Сия старушка при жизни своей во всей Лафертовской части известна была под названием *Лафертовской Маковницы*; ибо промысел ее состоял в продаже медовых маковых лепешек, которые умела она печь с особенным искусством. Каждый день, какая бы ни была погода, старушка выходила рано поутру из своего домика и направляла путь к Проломной заставе, имея на голове корзинку, наполненную маковниками. Прибыв к заставе, она расстилала чистое полотенце, перевертывала вверх дном корзинку и в правильном порядке раскладывала свои маковники. Таким образом сидела она до вечера, не предлагая никому своего товара и продавая оный в глубоком молчании. Лишь только начинало смеркаться, старушка собирала лепешки свои в корзину и отправлялась медленными шагами домой. Солдаты, стоящие на карауле, любили ее; ибо она иногда потчевала их безденежно сладкими маковниками.

Но этот промысел старушки служил только личиною, прикрывавшею совсем иное ремесло. В глубокий вечер, когда в прочих частях города начинали зажигать фонари, а в окрестностях ее дома расстилалась ночная темнота, люди разного звания и состояния робко приближались к хижине и тихо стучали в калитку. Большая цепная собака, Султан, громким лаем провозглашала чужих. Старушка отворяла дверь, длинными костяными пальцами брала за руку посетителя и вводила его в низкие хоромы. Там при мелькающем свете лампады на шатком дубовом столе лежала колода карт, на которых, от частого употребления, едва можно было различить бубны от червей; на лежанке стоял кофейник из красной меди, а на стене висело решето. Старушка, предварительно приняв от гостя добровольное подаяние,— смотря по обстоятельствам — бралась за карты или прибегала к кофейнику и к решету. Из красноречивых ее уст изливались рекою пророчества о будущих благах,— и упоенные сладкою надеждою посетители при выходе из дома нередко вознаграждали ее вдвое более, нежели при входе.

Таким образом жизнь ее протекала покойно в мирных сих занятиях. Правда, что завистливые соседи называли ее за глаза колдуньею и ведьмою; но зато в глаза ей низко кланялись, умильно улыбались и величали бабушкою. Такое к ней уважение отчасти произошло оттого, что когда-то один из соседей вздумал донести полиции, будто бы Лафертовская Маковница занимается непозволительным гаданием в карты и на кофе и даже знается с подозрительными людьми! На другой же день явился полицейский, вошел в дом, долго занимался строгим обыском и, наконец, при выходе объявил, что он не нашел ничего. Неизвестно, какие средства употребила почтенная старушка в доказательство своей невинности; да и не в том дело! Довольно того, что донос найден был неосновательным. Казалось, что сама судьба вступилась за бедную Маковницу; ибо скоро после того сын доносчика, резвый мальчик, бегая по двору, упал на гвоздь и выколол себе глаз; потом жена его нечаянно поскользнулась и вывихнула ногу; наконец, в довершение всех несчастий, лучшая корова их, не будучи прежде ничем больна, вдруг пала. Отчаянный сосед насилу умилостивил старушку слезами и подарками,— и с того времени все соседство обходилось с нею с должным уважением. Те только, которые, переменяя квартиру, переселялись далеко от Лафертовской части, как, например: на Пресненские пруды, в Хамовники или на Пятницкую,— те только осмеливались громко называть Маковницу ведьмою. Они уверяли, что сами видели, как в темные ночи налетал на дом старухи большой ворон с яркими, как раскаленный уголь, глазами; иные даже божились, что любимый черный кот, каждое утро провожающий старуху до ворот и каждый вечер ее встречающий, не кто иной, как сам нечистый дух.

Слухи эти, наконец, дошли и до Онуфрича, который по должности своей имел свободный доступ в передние многих домов. Онуфрич был человек набожный, и мысль, что родная тетка его свела короткое знакомство с нечистым, сильно потревожила его душу. Долго не знал он, на что решиться.

— Ивановна! — сказал он, наконец, в один вечер, подымая ногу и вступая на смиренное ложе,— Ивановна, дело решено! Завтра поутру пойду к тетке и постараюсь уговорить ее, чтоб она бросила проклятое ремесло свое. Вот она уже, слава богу, добивает девятый десяток; а в такие лета пора принесть покаяние — пора и о душе подумать.

Это намерение Онуфрича крайне не понравилось жене его. Лафертовскую Маковницу все считали богатою, и Онуфрич был единственный ее наследник.

— Голубчик! — ответила она ему, поглаживая его по наморщенному лбу: — сделай милость, не мешайся в чужие дела. У нас и своих забот довольно: вот уже теперь и Маша подрастает; придет пора выдать ее замуж, а где нам взять женихов без приданого? Ты знаешь, что тетка твоя любит дочь нашу; она ей крестная мать, и когда дело дойдет до свадьбы, то ни от кого иного, кроме ее, ожидать нам милостей. Итак, если ты жалеешь Машу, если любишь меня хоть немножко, то оставь добрую старушку в покое. Ты знаешь, душенька...

Ивановна хотела продолжать, как заметила, что Онуфрич храпит. Она печально на него взглянула, вспомнив, что в прежние годы он не так хладнокровно слушал ее речи; отвернулась в другую сторону и вскоре сама захрапела.

На другое утро, когда еще Ивановна покоилась в объятиях глубокого сна, Онуфрич тихонько поднялся с постели, смиренно помолился иконе Николая-чудотворца, вытер суконкою блистающего на картузе орла и почталионский свой знак и надел мундир. Потом, подкрепив сердце большою рюмкою ерофеича, вышел в сени. Там прицепил он тяжелую саблю свою — еще раз перекрестился и отправился к Проломной заставе.

Старушка приняла его ласково.

— Эй, эй, племянничек! — сказала она ему: — какая напасть выгнала тебя так рано из дому — да еще в такую даль? Ну, ну, добро пожаловать, просим садиться.

Онуфрич сел подле нее на скамью, закашлял и не знал, с чего начать. В эту минуту дряхлая старушка показалась ему страшнее, нежели — лет тридцать тому назад — турецкая батарея. Наконец он вдруг собрался с духом.

— Тетушка! — сказал он ей твердым голосом; — я пришел поговорить с вами о важном деле.

— Говори, мой милый,— отвечала старушка,— а я послушаю.

— Тетушка, недолго уже вам остается жить на свете,— пора покаяться, пора отказаться от сатаны и от наваждений его.

Старушка не дала ему продолжать. Губы ее посинели, глаза налились кровью, нос громко начал стукаться об бороду.

— Вон из моего дому! — закричала она задыхающимся от злости голосом.— Вон, окаянный!.. И чтоб проклятые ноги твои навсегда подкосились, когда опять ты ступишь на порог мой!

Она подняла сухую руку... Онуфрич перепугался до полусмерти; прежняя, давно потерянная гибкость вдруг возвратилась в его ноги: он одним махом соскочил с лестницы и добежал до дому, ни разу не оглянувшись.

С того времени все связи между старушкою и семейством Онуфрича совершенно прервались. Таким образом прошло несколько лет. Маша пришла в совершенный возраст и была прекрасна, как майский день; молодые люди за нею бегали; старики, глядя на нее, жалели о прошедшей своей молодости. Но Маша была бедна,— и женихи не являлись. Ивановна чаще стала вспоминать о старой тетке и никак не могла утешиться.

— Отец твой,— часто говорила она Марье,— тогда рехнулся в уме! Чего ему было соваться туда, где его не спрашивали? Теперь сидеть тебе в девках!

Лет двадцать тому назад, когда Ивановна была молода и хороша, она бы не отчаялась уговорить Онуфрича, чтоб он попросил прощения у тетушки и с нею примирился; но с тех пор, как розы на ее ланитах стали уступать место морщинам, Онуфрич вспомнил, что муж есть глава жены своей,— и бедная Ивановна с горестью принуждена была отказаться от прежней власти. Онуфрич не только сам никогда не говорил о тетушке, но строго запретил жене и дочери упоминать о ней. Несмотря на то, Ивановна вознамерилась сблизиться с теткою. Не смея действовать явно, она решилась тайно от мужа побывать у старушки и уверить ее, что ни она, ни дочь нимало не причастны дурачеству ее племянника.

Наконец случай поблагоприятствовал ее намерению: Онуфрича на время откомандировали на место заболевшего станционного смотрителя, и Ивановна с трудом при прощаньи могла скрыть радость свою. Не успела она проводить дорогого мужа на заставу, не успела еще отереть глаз от слез, как схватила дочь свою под руку и поспешила с нею домой.

— Машенька! — сказала она ей: — скорей оденься получше; мы пойдем в гости.

— К кому, матушка? — спросила Маша с удивлением.

— К добрым людям,— отвечала мать.— Скорей,

скорей, Машенька, не теряй времени; теперь уже смеркается, а нам идти далеко.

Маша подошла к висящему на стене в бумажной рамке зеркалу — гладко зачесала волосы за уши и утвердила длинную темно-русую косу роговою гребенкою; потом надела красное ситцевое платье и шелковый платочек на шею; еще раза два повернулась перед зеркалом — и объявила матушке, что она готова.

Дорогою Ивановна открыла дочери, что они идут к тетке.

— Пока пойдем мы до ее дома,— сказала она,— сделается темно, и мы, верно, ее застанем. Смотри же, Маша, поцелуй у тетки ручку и скажи, что ты соскучилась, давно не видав ее. Она сначала будет сердиться, но я ее умилостивлю; ведь не мы виноваты, что мой старик спятил с ума.

В сих разговорах они приблизились к дому старушки. Сквозь закрытые ставни сверкал огонь.

— Смотри же, не забудь поцеловать ручку,— повторила еще Ивановна, подходя к двери.

Султан громко залаял. Калитка отворилась, старушка протянула руку и ввела их в комнату. Она приняла их за обыкновенных вечерних гостей своих.

— Милостивая государыня тетушка! — начала речь Ивановна...

— Убирайтесь к ч...! — закричала старуха, узнав племянницу.— Зачем вы сюда пришли? Я вас не знаю и знать не хочу.

Ивановна начала рассказывать, бранить мужа и просить прощенья; но старуха была неумолима.

— Говорю вам, убирайтесь! — кричала она,— а не то...— Она подняла на них руку.

Маша испугалась, вспомнила приказание матушки и, громко рыдая, бросилась целовать ее руки.

— Бабушка, сударыня! — говорила она,— не гневайтесь на меня; я так рада, что опять вас увидела!

Слезы Машины, наконец, тронули старуху.

— Перестань плакать,— сказала она,— я на тебя не сердита: знаю, что ты ни в чем не виновата, мое дитятко! Не плачь же, Машенька! Как ты выросла, как похорошела! — Она потрепала ее по щеке.— Садись подле меня,— продолжала она.— Милости просим садиться, Марфа Ивановна! Каким образом вы обо мне вспомнили после столь долгого времени?

Ивановна обрадовалась этому вопросу и начала расска-

зывать, как она уговаривала мужа,— как он ее не послушался,— как запретил им ходить к тетушке,— как они огорчались,— и как, наконец, она воспользовалась отсутствием Онуфрича, чтоб засвидетельствовать тетушке нижайшее почтение. Старушка с нетерпением выслушала рассказы Ивановны.

— Быть так,— сказала она ей: — я не злопамятна; но если вы искренно желаете, чтоб я забыла прошедшее, то обещайтесь, что во всем будете следовать моей воле! С этим условием я приму вас опять в свою милость и сделаю Машу счастливою.

Ивановна поклялась, что все ее приказания будут свято исполнены.

— Хорошо,— молвила старуха: — теперь идите с богом; а завтра ввечеру пускай Маша придет ко мне одна, не ранее, однако, половины двенадцатого часа. Слышишь ли, Маша? Приходи одна.

Ивановна хотела было отвечать, но старуха не дала ей выговорить ни слова. Она встала, выпроводила их из дому и захлопнула за ними дверь.

Ночь была темная. Долго шли они, взявшись за руки, не говоря ни слова. Наконец, подходя уже к зажженным фонарям, Маша робко оглянулась и прервала молчание.

— Матушка! — сказала она вполголоса,— неужели я завтра пойду одна к бабушке, ночью и в двенадцатом часу?..

— Ты слышала, что приказано тебе прийти одной. Впрочем, я могу проводить тебя до половины дороги.

Маша замолчала и предалась размышлениям. В то время, когда отец ее поссорился с своей теткой, Маше было не более тринадцати лет; она тогда не понимала причины этой ссоры и только жалела, что ее более не водили к доброй старушке, которая всегда ее ласкала и потчевала медовым маком. После того хотя и пришла уже она в совершенный возраст, но Онуфрич никогда не говорил ни слова об этом предмете; а мать всегда отзывалась о старушке с хорошей стороны и всю вину слагала на Онуфрича. Таким образом Маша в тот вечер с удовольствием последовала за матерью. Но когда старуха приняла их с бранью; когда Маша при дрожащем свете лампады взглянула на посиневшее от злости лицо ее,— тогда сердце в ней содрогнулось от страха. В продолжение длинного рассказа Ивановны воображению ее представи-

лось, как будто в густом тумане, все то, что в детстве своем она слышала о бабушке... и если б в это время старуха не держала ее за руку, может быть, она бросилась бы бежать из дому. Итак, можно вообразить, с каким чувством она помышляла о завтрашнем дне.

Возвратясь домой, Маша со слезами просила мать, чтоб она не посылала ее к бабушке; но просьбы ее были тщетны.

— Какая же ты дура,— говорила ей Ивановна,— чего тут бояться? Я тихонько провожу тебя почти до дому, дорогой тебя никто не тронет, а беззубая бабушка тоже тебя не съест!

Следующий день Маша весь проплакала. Начало смеркаться, ужас ее увеличился; но Ивановна как будто ничего не примечала,— она почти насильно ее нарядила.

— Чем более ты будешь плакать, тем для тебя хуже,— сказала она.— Что-то скажет бабушка, когда увидит красные твои глаза!

Между тем кукушка на стенных часах прокричала одиннадцать раз. Ивановна набрала в рот холодной воды, брызнула Маше в лицо и потащила ее за собою.

Маша следовала за матерью, как жертва, которую ведут на заклание. Сердце ее громко билось, ноги через силу двигались, и таким образом они прибыли в Лафертовскую часть. Еще несколько минут шли они вместе; но лишь только Ивановна увидела мелькающий вдали между ставней огонь, как опустила руку Маши.

— Теперь иди одна,— сказала она: — далее я не смею тебя провожать.

Маша в отчаянии бросилась к ней в ноги.

— Полно дурачиться! — вскричала мать строгим голосом.— Что тебе сделается? Будь послушна и не вводи меня в сердце!

Бедная Маша собрала последние силы и тихими шагами удалилась от матери. Тогда был в исходе двенадцатый час; никто с нею не повстречался, и нигде, кроме старушкина дома, не видно было огня. Казалось, будто вымерли все жители той части города; мрачная тишина царствовала повсюду; один только глухой шум от собственных ее шагов отзывался у нее в ушах. Наконец пришла она к домику и трепещущею рукою дотронулась до калитки... Вдали, на колокольне Никиты-мученика, ударило двенадцать часов. Звуки колокола в тишине черной ночи дрожащим гулом расстилались по воздуху и доходили до ее слуха. Внутри домика кот громко промяукал двенадцать

раз... Она сильно вздрогнула и хотела бежать... но вдруг раздался громкий лай цепной собаки, заскрипела калитка — и длинные пальцы старухи схватили ее за руку. Маша не помнила, как взошла на крылечко и как очутилась в бабушкиной комнате... Пришед немного в себя, она увидела, что сидит на скамье; перед нею стояла старуха и терла виски ее муравьиным спиртом.

— Как ты напугана, моя голубка! — говорила она ей.— Ну, ну, темнота на дворе самая прекрасная; но ты, мое дитятко, еще не узнала ее цены и потому боишься. Отдохни немного; пора нам приняться за дело!

Маша не отвечала ни слова; утомленные от слез глаза ее следовали за всеми движениями бабушки. Старуха подвинула стол на средину комнаты, из стенного шкафа вынула большую темно-алую свечку, зажгла ее и прикрепила к столу, а лампаду потушила. Комната осветилась розовым светом. Все пространство от полу до потолка как будто наполнилось длинными нитками кровавого цвета, которые тянулись по воздуху в разных направлениях — то свертывались в клуб, то опять развивались, как змеи.

— Прекрасно,— сказала старушка и взяла Машу за руку.— Теперь иди за мною.

Маша дрожала всеми членами; она боялась идти за бабушкой, но еще более боялась ее рассердить. С трудом поднялась она на ноги.

— Держись крепко за полы мои! — прибавила старуха,— и следуй за мной... не бойся ничего!

Старуха начала ходить кругом стола и протяжным напевом произносила непонятные слова; перед нею плавно выступал черный кот с сверкающими глазами и с поднятым вверх хвостом. Маша крепко зажмурилась и трепещущими шагами шла за бабушкой. Трижды три раза старуха обошла вокруг стола, продолжая таинственный напев свой, сопровождаемый мурлыканьем кота. Вдруг она остановилась и замолчала... Маша невольно раскрыла глаза — те же кровавые нити все еще растягивались по воздуху. Но бросив нечаянно взгляд на черного кота, она увидела, что на нем зеленый мундирный сюртук; а на место прежней котовой круглой головки показалось ей человеческое лицо, которое, вытараща глаза, устремляло взоры прямо на нее... Она громко закричала и без чувств упала на землю...

Когда она опомнилась, дубовый стол стоял на старом месте, темно-алой свечки уже не было, и на столе по-прежнему горела лампада; бабушка сидела под-

ле нее и смотрела ей в глаза, усмехаясь с веселым видом.

— Какая же ты, Маша, трусиха! — говорила она ей.— Но до того нужды нет; я и без тебя кончила дело. Поздравляю тебя, родная,— поздравляю тебя с женихом! Он человек очень мне знакомый и должен тебе нравиться. Маша, я чувствую, что недолго мне осталось жить на белом свете; кровь моя уже слишком медленно течет по жилам, и временем сердце останавливается... Мой верный друг,— продолжала старуха, взглянув на кота,— давно уже зовет меня туда, где остылая кровь моя опять согреется. Хотелось бы мне еще немного пожить под светлым солнышком, хотелось бы еще полюбоваться золотыми денежками... но последний час мой скоро стукнет. Что ж делать! Чему быть, тому не миновать.

— Ты, моя Маша,— продолжала она, вялыми губами поцеловав ее в лоб,— ты после меня обладать будешь моими сокровищами; тебя я всегда любила и охотно уступаю тебе место! Но выслушай меня со вниманием: придет жених, назначенный тебе тою силою, которая управляет большею частию браков... Я для тебя выпросила этого жениха; будь послушна и выдь за него. Он научит тебя той науке, которая помогла мне накопить себе клад; общими вашими силами он нарастет еще вдвое,— и прах мой будет покоен. Вот тебе ключ; береги его пуще глаза своего. Мне не позволено сказать тебе, где спрятаны мои деньги; но как скоро ты выйдешь замуж, все тебе откроется!

Старуха сама повесила ей на шею маленький ключ, надетый на черный шнурок. В эту минуту кот громко промяукал два раза.

— Вот уже настал третий час утра,— сказала бабушка.— Иди теперь домой, дорогое мое дитя! Прощай! Может быть, мы уже не увидимся...

Она проводила Машу на улицу, вошла опять в дом и затворила за собой калитку.

При бледном свете луны Маша скорыми шагами поспешила домой. Она была рада, что ночное ее свидание с бабушкой кончилось, и с удовольствием помышляла о будущем своем богатстве. Долго Ивановна ожидала ее с нетерпением.

— Слава богу! — сказала она, увидев ее.— Я уже боялась, чтоб с тобою чего-нибудь не случилось. Рассказывай скорей, что ты делала у бабушки?

Маша готовилась повиноваться, но сильная усталость мешала ей говорить. Ивановна, заметив, что глаза

ее невольно смыкаются, оставила до другого утра удовлетворение своего любопытства, сама раздела любезную дочку и уложила ее в постель, где она вскоре заснула глубоким сном.

Проснувшись на другой день, Маша насилу собралась с мыслями. Ей казалось, что все, случившееся с нею накануне, не что иное, как тяжелый сон; когда же взглянула нечаянно на висящий у нее на шее ключ, то удостоверилась в истине всего, ею виденного,— и обо всем с подробностью рассказала матери. Ивановна была вне себя от радости.

— Видишь ли теперь,— сказала она,— как хорошо я сделала, что не послушалась твоих слез?

Весь тот день мать с дочерью провели в сладких мечтах о будущем благополучии. Ивановна строго запретила Маше ни слова не говорить отцу о свидании своем с бабушкой.

— Он человек упрямый и вздорливый,— примолвила она,— и в состоянии все дело испортить.

Против всякого ожидания Онуфрич приехал на следующий день поздно ввечеру. Станционный смотритель, которого должность ему приказано было исправлять, нечаянно выздоровел, и он воспользовался первою едущею в Москву почтою, чтоб возвратиться домой.

Не успел он еще рассказать жене и дочери, по какому случаю он так скоро воротился, как вошел к ним в комнату прежний его товарищ, который тогда служил будочником в Лафертовской части, неподалеку от дома Маковницы.

— Тетушка приказала долго жить! — сказал он, не дав себе даже времени сперва поздороваться.

Маша и Ивановна взглянули друг на друга.

— Упокой господи ее душу! — воскликнул Онуфрич, смиренно сложив руки.— Помолимся за покойницу; она имеет нужду в наших молитвах!

Он начал читать молитву. Ивановна с дочерью крестились и клали земные поклоны; но на уме у них были сокровища, их ожидающие. Вдруг они обе вздрогнули в одно время. Им показалось, что покойница с улицы смотрит к ним в комнату и им кланяется! Онуфрич и будочник, молившиеся с усердием, ничего не заметили.

Несмотря на то что было уже поздно, Онуфрич отправился в дом покойной тетки. Дорогою прежний товарищ его рассказывал все, что ему известно было о ее смерти.

— Вчера,— говорил он,— тетка твоя в обыкновенное время пришла к себе; соседи видели, что у нее в доме светился огонь. Но сегодня она уже не являлась у Проломной, и из этого заключили, что она нездорова. Наконец под вечер решились войти к ней в комнату, но ее не застали уже в живых: так иные рассказывают о смерти старухи. Другие утверждают, что в прошедшую ночь что-то необыкновенное происходило в ее доме. Сильная буря, говорят, бушевала около хижины, тогда как везде погода стояла тихая; собаки из всего околотка собрались перед ее окном и громко выли; мяуканье ее кота слышно было издалека... Что касается до меня, то я нынешнюю ночь спокойно проспал; но товарищ мой, стоявший на часах, уверяет, что он видел, как с самого Введенского кладбища прыгающие по земле огоньки длинными рядами тянулись к ее дому и, доходя до калитки, один за другим, как будто проскакивая под нее, исчезали. Необыкновенный шум, свист, хохот и крик, говорят, слышен был в ее доме до самого рассвета. Странно, что до сих пор нигде не могли отыскать черного ее кота!

Онуфрич с горестию внимал рассказу будочника, не отвечая ему ни слова. Таким образом пришли они в дом покойницы. Услужливые соседки, забыв страх, который внушала им старушка при жизни, успели ее уже омыть и одеть в праздничное платье. Когда Онуфрич вошел в комнату, старушка лежала на столе. В головах у ней сидел дьячок и читал псалтырь. Онуфрич, поблагодарив соседок, послал купить восковых свеч, заказал гроб, распорядился, чтоб было что попить и поесть желающим проводить ночь у покойницы, и отправился домой. Выходя из комнаты, он никак не мог решиться поцеловать у тетушки руку.

В следующий день назначено быть похоронам. Ивановна для себя и для дочери взяла напрокат черные платья, и обе явились в глубоком трауре. Сначала все шло надлежащим порядком. Одна только Ивановна, прощаясь с теткою, вдруг отскочила назад, побледнела и сильно задрожала. Она уверяла всех, что ей сделалось дурно; но после того тихонько призналась Маше, что ей показалось, будто покойница разинула рот и хотела схватить ее за нос. Когда же стали поднимать гроб, то он сделался так тяжел, как будто налитой свинцом, и шесть широкоплечих почталионов насилу могли его вынесть и поставить на дроги. Лошади сильно храпели, и с трудом можно было их принудить двигаться вперед.

Эти обстоятельства и собственные замечания Маши подали ей повод к размышлениям. Она вспомнила, какими средствами сокровища покойницы были собраны, и обладание оными показалось ей не весьма лестным. В некоторые минуты ключ, висящий у нее на шее, как тяжелый камень, давил ей грудь, и она неоднократно принимала намерение все открыть отцу и просить у него совета; но Ивановна строго за ней присматривала и беспрестанно твердила, что она всех их сделает несчастными, если не станет слушаться приказаний старушки. Демон корыстолюбия совершенно овладел душою Ивановны, и она не могла дождаться времени, когда явится суженый жених и откроет средство — завладеть кладом. Хотя она и боялась думать о покойнице и хотя при воспоминании об ней холодный пот выступал у нее на лице, но в душе ее жадность к золоту была сильнее страха, и она беспрестанно докучала мужу, чтоб он переехал в Лафертовскую часть, уверяя, что всякий их осудит, если они жить будут на наемной квартире тогда, когда у них есть собственный дом.

Между тем Онуфрич, отслужив свои годы и получив отставку, начал помышлять о покое. Мысль о доме производила в нем неприятное впечатление, когда вспоминал он о той, от которой он ему достался. Он даже всякий раз невольно вздрагивал, когда случалось ему вступать в комнату, где прежде жила старуха. Но Онуфрич был набожен и благочестив и верил, что никакие нечистые силы не имеют власти над чистою совестью; и потому, рассудив, что ему выгоднее жить в своем доме, нежели нанимать квартиру, он решился превозмочь свое отвращение и переехать.

Ивановна сильно обрадовалась, когда Онуфрич велел переноситься в лафертовский дом.

— Увидишь, Маша,— сказала она дочери,— что теперь скоро явится жених. То-то мы заживем, когда у нас будет полна палата золота. Как удивятся прежние соседи наши, когда мы въедем к ним на двор в твоей карете, да еще, может быть, и четверней!

Маша молча на нее смотрела и печально улыбалась. С некоторых пор у нее совсем иное было на уме.

За несколько дней перед их разговором (они еще жили на прежней квартире) Маша в одно утро, задумавшись, сидела у окна. Мимо ее прошел молодой хорошо одетый мужчина, взглянул на нее и учтиво снял шляпу. Маша ему тоже поклонилась и, сама не знала отчего, вдруг закраснелась! Немного погодя тот же молодой человек

прошел назад, потом обернулся, прошел еще и опять воротился. Всякий раз он смотрел на нее, и у Маши всякий раз сильно билось сердце. Маше уже минуло семнадцать лет; но до сего времени никогда не случалось, чтоб у нее билось сердце, когда кто-нибудь проходил мимо окошек. Ей показалось это странным, и она после обеда села к окну — для того только, чтоб узнать, забьется ли сердце, когда опять пройдет молодой мужчина... Таким образом она просидела до вечера, однако никто не являлся. Наконец, когда подали огонь, она отошла от окна и целый вечер была печальна и задумчива; она досадовала, что ей не удалось повторить опыта над своим сердцем.

На другой день Маша, только что проснулась, тотчас вскочила с постели, поспешно умылась, оделась, помолилась богу и села к окну. Взоры ее устремлены были в ту сторону, откуда накануне шел незнакомец. Наконец она его увидела; глаза его еще издали ее искали,— а когда подошел он ближе, взоры их как будто нечаянно встретились. Маша, забывшись, приложила руку к сердцу, чтоб узнать, бьется ли оно?.. Молодой человек, заметив сие движение и, вероятно, не понимая, что оно значит,— тоже приложил руку к сердцу... Маша опомнилась, покраснела и отскочила назад. После того она целый день уже не подходила к окну, опасаясь увидеть молодого человека. Несмотря на то, он не выходил у нее из памяти; она старалась думать о других предметах, но усилия ее были напрасны.

Чтоб разбить мысли, она вздумала ввечеру идти в гости к одной вдове, жившей с ними в соседстве. Входя к ней в комнату, к крайнему удивлению увидела она того самого незнакомца, которого тщетно забыть старалась. Маша испугалась, покраснела, потом побледнела и не знала, что сказать. Слезы заблистали у ней в глазах. Незнакомец опять ее не понял... он печально ей поклонился, вздохнул — и вышел вон. Она еще более смешалась и с досады заплакала. Встревоженная соседка посадила ее возле себя и с участием спросила о причине ее огорчения. Маша сама не ясно понимала, о чем плакала, и потому не могла объявить причины; внутренно же она приняла твердое намерение сколько можно убегать незнакомца, который довел ее до слез. Эта мысль ее поуспокоила. Она вступила в разговор с соседкой и начала ей рассказывать о домашних своих делах и о том, что они, может быть, скоро переедут в Лафертовскую часть.

— Жаль мне,— сказала вдова,— очень жаль, что лишусь добрых соседей; и не я одна о том жалеть буду. Я знаю одного человека, который очень огорчится, когда узнает эту новость.

Маша опять покраснела; хотела спросить, кто этот человек,— но не могла выговорить ни слова. Услужливая соседка верно угадала мысли ее, ибо она продолжала так:

— Вы не знаете молодого мужчины, который теперь вышел из комнаты? Может быть, вы даже и не заметили, что он вчера и сегодня проходил мимо вашего дома; но он вас видел и нарочно зашел ко мне, чтоб расспросить у меня об вас. Не знаю, ошибаюсь ли я или нет, а мне кажется, что вы крепко задели бедное его сердечко! Чего тут краснеть! — прибавила она, заметив, что у Маши разгорелись щеки.— Он человек молодой, пригожий, и если нравится Машеньке, то, может быть, скоро дойдет дело и до свадьбы.

При сих словах Машенька невольно вспомнила о бабушке. «Ах! — сказала она сама себе,— не это ли жених, мне назначенный?» Но вскоре мысль эта уступила место другой, не столь приятной. «Не может быть,— подумала она,— чтоб такой пригожий молодец имел короткую связь с покойницею. Он так мил, одет так щеголевато, что, верно, не умел бы удвоить бабушкиного клада!»

Между тем соседка продолжала ей рассказывать, что он хотя из мещанского состояния, но поведения хорошего и трезвого и сидельцем в суконном ряду. Денег у него больших нет; зато жалованье получает изрядное, и кто знает? может быть, хозяин когда-нибудь примет его в товарищи!

— Итак,— прибавила она,— послушайся доброго совета: не отказывай молодцу. Деньги не делают счастья! Вот бабушка твоя,— прости господи мое согрешение! — денег у нее было невесть сколько; а теперь куда все это девалось?.. И черный кот, говорят, провалился сквозь землю — и деньги туда же!

Маша внутренно очень согласна была с мнением соседки; и ей также показалось, что лучше быть бедною и жить с любезным незнакомцем, нежели богатой и принадлежать — бог знает кому! Она чуть было не открылась во всем: но вспомнив строгие приказания матери и опасаясь собственной своей слабости, поспешно встала и простилась. Выходя уже из комнаты, она, однако, не могла утерпеть, чтоб не спросить об имени незнакомца.

— Его зовут Улияном,— отвечала соседка.

С этого времени Улиян не выходил из мыслей у Маши: все в нем, даже имя, ей нравилось. Но чтоб принадлежать ему, надобно было отказаться от сокровищ, оставленных бабушкою. Улиян был не богат, и, верно, думала она, ни батюшка, ни матушка не согласятся за него меня выдать! В этом мнении еще более она уверилась тем, что Ивановна беспрестанно твердила о богатстве, их ожидающем, и о счастливой жизни, которая тогда начнется. Итак, страшась гнева матери, Маша решилась не думать больше об Улияне: она остерегалась подходить к окну, избегала всяких разговоров с соседкою и старалась казаться веселою; но черты Улияна твердо врезались в ее сердце.

Между тем настал день, в который должно было переехать в лафертовский дом. Онуфрич заранее туда отправился, приказав жене и дочери следовать за ним с пожитками, уложенными еще накануне. Подъехали двое роспусок; извозчики с помощию соседей вынесли сундуки и мебель. Ивановна и Маша, каждая взяла в руки по большому узлу, и — маленький караван тихим шагом потянулся к Проломной заставе. Проходя мимо квартиры вдовы соседки, Маша невольно подняла глаза: у открытого окошка стоял Улиян с поникшею головою; глубокая печаль изображалась во всех чертах его. Маша как будто его не заметила и отворотилась в противную сторону; но горькие слезы градом покатились по бледному ее лицу.

В доме давно уже ожидал их Онуфрич. Он подал мнение свое, куда поставить привезенную мебель, и объяснил им, каким образом он думает расположиться в новом жилище.

— В этом чулане,— сказал он Ивановне,— будет наша спальня; подле ее, в маленькой комнате, поставятся образа; а здесь будет и гостиная наша и столовая. Маша может спать наверху в светлице. Никогда,— продолжал он,— не случалось мне жить так на просторе; но не знаю, почему у меня сердце не на месте. Дай бог, чтоб мы здесь были так же счастливы, как в прежних тесных комнатах!

Ивановна невольно улыбнулась. «Дай срок! — подумала она,— в таких ли мы будем жить палатах!»

Радость Ивановны, однако, в тот же день гораздо поуменьшилась: лишь только настал вечер, как пронзительный свист раздался по комнатам и ставни застули.

— Что это такое? — вскричала Ивановна.

— Это ветер,— хладнокровно отвечал Онуфрич,— видно, ставни неплотно запираются; завтра надобно будет починить.

Она замолчала и бросила значительный взгляд на Машу; ибо в свисте ветра находила она сходство с голосом старухи.

В это время Маша смиренно сидела в углу и не слыхала ни свисту ветра, ни стуку ставней — она думала об Улияне. Ивановне страшнее показалось то, что только ей одной послышался голос старухи. После ужина она вышла в сени, чтоб спрятать остатки от умеренного их стола; подошла к шкафу, поставила подле себя на пол свечку и начала устанавливать на полке блюда и тарелки. Вдруг услышала она подле себя шорох, и кто-то легонько ударил ее по плечу... Она оглянулась... за нею стояла покойница в том самом платье, в котором ее похоронили!.. Лицо ее было сердито; она подняла руку и грозила ей пальцем. Ивановна в сильном ужасе громко вскричала. Онуфрич и Маша бросились к ней в сени.

— Что с тобою делается? — закричал Онуфрич, увидя, что она была бледна, как полотно, и дрожала всеми членами.

— Тетушка! — сказала она трепещущим голосом... Она хотела продолжать, но тетушка опять явилась пред нею... лицо ее казалось еще сердитее — и она еще строже ей грозила. Слова замерли на устах Ивановны.

— Оставь мертвых в покое,— отвечал Онуфрич, взяв ее за руку и вводя обратно в комнату.— Помолись богу, и греза от тебя отстанет. Пойдем, ложись в постель, пора спать!

Ивановна легла, но покойница все представлялась ее глазам в том же сердитом виде. Онуфрич, спокойно раздевшись, громко начал молиться, и Ивановна заметила, что, по мере того как она вслушивалась в молитвы, вид покойницы становился бледнее, бледнее — и наконец совсем исчез.

И Маша тоже беспокойно провела эту ночь. При входе в светлицу ей представилось, будто тень бабушки мелькала перед нею — но не в том грозном виде, в котором являлась она Ивановне. Лицо ее было весело, и она умильно ей улыбалась. Маша перекрестилась — и тень пропала. Сначала она сочла это игрою воображения, и мысль об Улияне помогла ей разогнать мысль о бабушке; она довольно спокойно легла спать и вскоре заснула. Вдруг около

полуночи что-то ее разбудило. Ей показалось, что холодная рука гладила ее по лицу... она вскочила. Перед образом горела лампада, и в комнате не видно было ничего необыкновенного; но сердце в ней трепетало от страха: она внятно слышала, что кто-то ходит по комнате и тяжело вздыхает... Потом как будто дверь отворилась и заскрыпела... и кто-то сошел вниз по лестнице.

Маша дрожала, как лист. Тщетно старалась она опять заснуть. Она встала с постели, поправила светильню лампады и подошла к окну. Ночь была темная. Сначала Маша ничего не видала; потом показалось ей, будто во дворе, подле самого колодца вспыхнули два небольшие огонька. Огоньки эти попеременно то погасали, то опять вспыхивали; потом они как будто ярче загорели, и Маша ясно увидела, как подле колодца стояла покойная бабушка и манила ее к себе рукою... За нею на задних лапах сидел черный кот, и оба глаза его в густом мраке светились, как огни. Маша отошла прочь от окна, бросилась на постель и крепко закутала голову в одеяло. Долго казалось ей, будто бабушка ходит по комнате, шарит по углам и тихо зовет ее по имени. Один раз ей даже представилось, что старушка хотела сдернуть с нее одеяло; Маша еще крепче в него завернулась. Наконец все утихло; но Маша во всю ночь уже не могла сомкнуть глаз.

На другой день решилась она объявить матери, что откроет все отцу своему и отдаст ему ключ, полученный от бабушки. Ивановна во время вечернего страха и сама бы рада была отказаться от всех сокровищ; но когда поутру взошло красное солнышко и яркими лучами осветило комнату, то и страх исчез, как будто его никогда не бывало. На место того веселые картины будущей счастливой жизни опять заняли ее воображение. «Не вечно же будет пугать меня покойница,— подумала она,— выйдет Маша замуж, и старуха успокоится. Да и чего теперь она хочет? Уж не за то ли она гневается, что я никак не намерена сберегать ее сокровища? Нет, тетушка, гневайся, сколько угодно, а мы протрем глаза твоим рублевикам!»

Тщетно Маша упрашивала мать, чтоб она позволила ей открыть отцу их тайну.

— Ты насильно отталкиваешь от себя счастие,— отвечала Ивановна.— Погоди еще хотя дня два,— верно, скоро явится жених твой, и все пойдет на лад.

— Дня два! — повторила Маша.— Я не переживу и одной такой ночи, какова была прошедшая.

— Пустое,— сказала ей мать,— может быть, и сегодня все дело придет к концу.

Маша не знала, что делать. С одной стороны, она чувствовала необходимость рассказать все отцу; с другой — боялась рассердить мать, которая никогда бы ей этого не простила. Будучи в крайнем недоумении, на что решиться, вышла она со двора и в задумчивости бродила долго по самым уединенным улицам Лафертовской части. Наконец, не придумав ничего, воротилась домой. Ивановна встретила ее в сенях.

— Маша! — сказала она ей,— скорей поди вверх и приоденься: уж более часу сидит с отцом жених твой и тебя ожидает.

У Маши сильно забилось сердце, и она пошла к себе. Тут слезы ручьем полились из глаз ее. Улиян представился ее воображению в том печальном виде, в котором она видела его в последний раз. Она забыла наряжаться. Наконец строгий голос матери прервал ее размышления.

— Маша! Долго ли тебе прихорашиваться? — кричала Ивановна снизу.— Сойди сюда!

Маша поспешила вниз в том же платье, в котором вошла в свою светлицу. Она отворила дверь и оцепенела!.. На скамье подле Онуфрича сидел мужчина небольшого росту в зеленом мундирном сюртуке,— то самое лицо устремило на нее взор, которое некогда видела она у черного кота. Она остановилась в дверях и не могла идти далее.

— Подойди поближе,— сказал Онуфрич,— что с тобою сделалось?

— Батюшка! Это бабушкин черный кот,— отвечала Маша, забывшись и указывая на гостя, который странным образом повертывал головою и умильно на нее поглядывал, почти совсем зажмурив глаза.

— С ума ты сошла! — вскричал Онуфрич с досадою.— Какой кот? Это г. титулярный советник Аристарх Фалелеич Мурлыкин, который делает тебе честь и просит твоей руки.

При сих словах Аристарх Фалелеич встал — плавно выступая, приблизился к ней и хотел поцеловать у нее руку. Маша громко закричала и подалась назад. Онуфрич с сердцем вскочил с скамейки.

— Что это значит? — закричал он.— Эдакая ты неучтивая, точно деревенская девка!..

Однако ж Маша его не слушала.

— Батюшка! — сказала она ему вне себя,— воля ваша! Это бабушкин черный кот! Велите ему скинуть перчатки; вы увидите, что у него есть когти.— С сими словами она вышла из комнаты и убежала в светлицу.

Аристарх Фалелеич тихо что-то ворчал себе под нос. Онуфрич и Ивановна были в крайнем замешательстве; но Мурлыкин подошел к ним, все так же улыбаясь.

— Это ничего, сударь,— сказал он, сильно картавя,— ничего, сударыня, прошу не прогневаться! Завтра я опять приду, завтра дорогая невеста лучше меня примет.

После того он несколько раз им поклонился, с приятностию выгибая круглую свою спину, и вышел вон. Маша смотрела из окна и видела, как Аристарх Фалелеич сошел с лестницы и, тихо передвигая ноги, удалился; но дошед до конца дома, он вдруг повернул за угол и пустился бежать, как стрела. Большая соседская собака с громким лаем во всю прыть кинулась за ним, однако не могла его догнать.

Ударило двенадцать часов; настало время обедать. В глубоком молчании все трое сели за стол, и никому не хотелось кушать. Ивановна от времени до времени сердито взглядывала на Машу, которая сидела с потупленными глазами. Онуфрич тоже был задумчив. В конце обеда принесли Онуфричу письмо; он распечатал — и на лице его изобразилась радость. Потом он встал из-за стола, поспешно надел новый сюртук, взял в руки шляпу и трость и готовился идти со двора.

— Куда ты идешь, Онуфрич? — спросила Ивановна.

— Я скоро ворочусь,— отвечал он и вышел.

Лишь только он затворил за собою дверь, как Ивановна начала бранить Машу.

— Негодная! — сказала она ей,— так-то любишь и почитаешь ты мать свою? Так-то повинуешься ты родителям? Но я тебе говорю, что приму тебя в руки! Только смей опять подурачиться, когда пожалует к нам завтра Аристарх Фалелеич!

— Матушка! — отвечала Маша со слезами,— я во всем рада слушаться, только не выдавайте меня за бабушкина кота!

— Какую дичь ты опять запорола? — сказала Ивановна.— Стыдись, сударыня; все знают, что он титулярный советник.

— Может быть, и так, матушка,— отвечала бедная Маша, горько рыдая,— но он кот, право, кот!

Сколько ни бранила ее Ивановна, сколько ее ни уговаривала, но она все твердила, что никак не согласится выйти замуж за бабушкина кота; и наконец Ивановна в сердцах выгнала ее из комнаты. Маша пошла в свою светлицу и опять принялась горько плакать.

Спустя несколько времени она услышала, что отец ее воротился домой, и немного погодя ее кликнули. Она сошла вниз; Онуфрич взял ее за руку и обнял с нежностию.

— Маша! — сказал он ей,— ты всегда была добрая девушка и послушная дочь! — Маша заплакала и поцеловала у него руку.— Теперь ты можешь доказать нам, что ты нас любишь! Слушай меня со вниманием. Ты, я думаю, помнишь о маркитанте, о котором я часто вам рассказывал и с которым свел я такую дружбу во время турецкой войны: он тогда был человек бедный, и я имел случай оказать ему важные услуги. Мы принуждены были расстаться и поклялись вечно помнить друг друга. С того времени прошло более тридцати лет, и я совершенно потерял его из виду. Сегодня за обедом получил я от него письмо; он недавно приехал в Москву и узнал, где я живу. Я поспешил к нему; ты можешь себе представить, как мы обрадовались друг другу. Приятель мой имел случай вступить в подряды, разбогател и теперь приехал сюда жить на покое. Узнав, что у меня есть дочь, он обрадовался; мы ударили по рукам, и я просватал тебя за его единственного сына. Старики не любят терять времени — и сегодня ввечеру они оба у нас будут.

Маша еще горче заплакала; она вспомнила об Улияне.

— Послушай, Маша! — сказал Онуфрич: — сегодня поутру сватался за тебя Мурлыкин; он человек богатый, которого знают все в здешнем околотке. Ты за него выйти не захотела; и признаюсь,— хотя я очень знаю, что титулярный советник не может быть котом или кот титулярным советником,— однако мне самому он показался подозрительным. Но сын приятеля моего — человек молодой, хороший, и ты не имеешь никакой причины ему отказать. Итак, вот тебе мое последнее слово: если не хочешь отдать руку твою тому, которого я выбрал, то готовься завтра поутру согласиться на предложение Аристарха Фалелеича... Поди и одумайся.

Маша в сильном огорчении возвратилась в свою светлицу. Она давно решилась ни для чего в свете не выходить за Мурлыкина; но принадлежать другому, а не

Улияну — вот что показалось ей жестоким! Немного погодя вошла к ней Ивановна.

— Милая Маша! — сказала она ей: — послушайся моего совета. Все равно, выходить тебе за Мурлыкина или за маркитанта: откажи последнему и ступай за первого. Отец хотя и говорил, что маркитант богат, но ведь я отца твоего знаю! У него всякий богат, у кого сотня рублей за пазухой. Маша! Подумай, сколько у нас будет денег... а Мурлыкин, право, не противен. Хотя он уже не совсем молод, но зато как вежлив, как ласков! Он будет тебя носить на руках.

Маша плакала, не отвечая ни слова; а Ивановна, думая, что она согласилась, вышла вон, дабы муж не заметил, что она ее уговаривала. Между тем Маша, скрепя сердце, решилась принесть отцу на жертву любовь свою к Улияну. «Постараюсь его забыть,— сказала она сама себе: — пускай батюшка будет счастлив моим послушанием. Я и так перед ним виновата, что против его воли связалась с бабушкой!»

Лишь только смерклось, Маша тихонько сошла с лестницы — и направила шаги прямо к колодезю. Едва вступила она на двор, как вдруг вихрь поднялся вокруг нее, и казалось, будто земля колеблется под ее ногами... Толстая жаба с отвратительным криком бросилась к ней прямо навстречу; но Маша перекрестилась и с твердостию пошла вперед. Подходя к колодезю, послышался ей жалостный вопль, как будто выходящий с самого дна. Черный кот печально сидел на срубе и мяукал унылым голосом. Маша отворотилась и подошла ближе; твердою рукою сняла она с шеи шнурок и с ним ключ, полученный от бабушки.

— Возьми назад свой подарок! — сказала она.— Не надо мне ни жениха твоего, ни денег твоих; возьми и оставь нас в покое.

Она бросила ключ прямо в колодезь; черный кот завизжал и кинулся туда же; вода в колодезе сильно закипела... Маша пошла домой. С груди ее свалился тяжелый камень.

Подходя к дому, Маша услышала незнакомый голос, разговаривающий с ее отцом. Онуфрич встретил ее у дверей и взял за руку.

— Вот дочь моя! — сказал он, подводя ее к почтенному старику с седою бородою, который сидел на лавке. Маша поклонилась ему в пояс.

— Онуфрич! — сказал старик: — познакомь же ее с женихом!

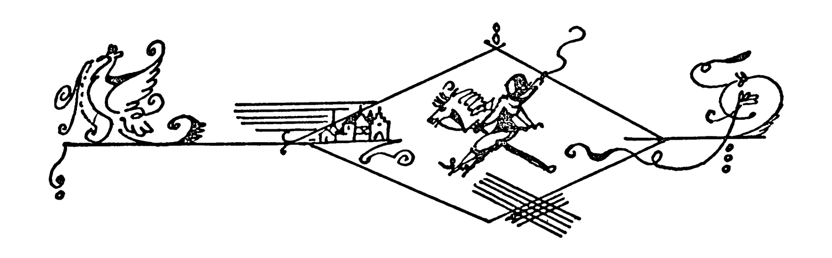
Маша робко оглянулась — подле нее стоял Улиян! Она закричала и упала в его объятия...

Я не в силах описать восхищения обоих любовников. Онуфрич и старик узнали, что они уже давно познакомились,— радость их удвоилась. Ивановна утешилась, узнав, что у будущего свата несколько сот тысяч чистых денег в ломбарде. Улиян тоже удивился этому известию; ибо он никогда не думал, чтоб отец его был так богат. Недели чрез две после того их обвенчали.

В день свадьбы, ввечеру, когда за ужином в доме Улияна веселые гости пили за здоровье молодых, вошел в комнату известный будочник и объявил Онуфричу, что в самое то время, когда венчали Машу, потолок в лафертовском доме провалился и весь дом разрушился.

— Я и так не намерен был долее в нем жить,— сказал Онуфрич.— Садись с нами, мой прежний товарищ; налей стакан цимлянского и пожелай молодым счастия и — многие лета!

<1825>



ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ

Волшебная повесть для детей

Лет сорок тому назад, в С.-Петербурге на Васильевском Острове, в Первой линии, жил-был содержатель мужского пансиона, который еще до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти, хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своею красотой, хотя и далеко еще не был таким, каков теперь.— Тогда на проспектах Васильевского Острова не было веселых тенистых аллей: деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял вид, нежели как теперь; да и самая площадь Исаакиевская вовсе не такова была.— Тогда монумент Петра Великого от Исаакиевской площади отделен был канавою; Адмиралтейство не было обсажено деревьями, манеж Конногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним фасадом,— одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее... Впрочем, не о том теперь идет дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века, теперь же обратимся опять к пансиону, который лет сорок тому назад находился на Васильевском Острове, в Первой линии.

Дом, которого вы теперь — как уже вам сказывал не найдете, был о двух этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу. Из сеней довольно

крутая лестница вела в верхнее жилье, состоявшее из восьми или девяти комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дортуары, или спальные комнаты детей, находились в нижнем этаже, по правую сторону сеней, а по левую жили две старушки-голландки, из которых каждой было более ста лет и которые собственными глазами видали Петра Великого и даже с ним говаривали. В нынешнее время вряд ли в целой России вы встретите человека, который бы видал Петра Великого: настанет время, когда и наши следы сотрутся с лица земного! Все проходит, все исчезает в бренном мире нашем... но не о том теперь идет дело.

В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик, по имени Алеша, которому тогда было не более 9 или 10 лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за два перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет вперед. Алеша был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особливо сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучен с родными своими. Но потом мало-помалу он стал привыкать к своему положению, и бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме. Вообще дни учения для него проходили скоро и приятно, но когда наставала суббота и все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алеша горько чувствовал свое одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и на волшебные повести, и библиотека эта большею частию состояла из книг сего рода.

Итак, Алеша, будучи еще в десятилетнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей, по крайней мере так, как они описаны были в романах. Любимое его занятие в длинные зимние вечера, по воскресеньям и другим праздничным дням было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие веки... Особливо в вакантное время, как, например, об Рождестве или в светлое

Христово воскресенье,— когда он бывал разлучен надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении,— юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или по темным, дремучим лесам.

Я забыл сказать вам, что к этому дому принадлежал довольно пространный двор, отделенный от переулка деревянным забором из барочных досок. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты, и поэтому Алеше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдыха играть на дворе, первое движение его было — подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми был усеян забор. Алеша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, которыми прежде сколочены были барки, и ему казалось что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он все ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку, или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто, даже похожий на волшебницу.

Другое занятие Алеши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора в нарочно для них выстроенном домике и целый день играли и бегали на дворе. Алеша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти.— Между курами он особенно любил черную хохлатую, названную *Чернушкою*. Чернушка была к нему ласковее других; она даже иногда позволяла себя гладить, и поэтому Алеша лучшие кусочки приносил ей. Она была нрава тихого; редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алешу более, нежели подруг своих.

Однажды (это было во время ваканций, между Новым годом и Крещеньем — день был прекрасный и необыкновенно теплый, не более трех или четырех градусов мороза) Алеше позволили поиграть на дворе. В тот день учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училищ и еще накануне, с утра до позднего вечера, везде в доме мыли полы, вытирали пыль и вощили

красного дерева столы и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для стола: белую архангельскую телятину, огромный окорок и из Милютиных лавок киевское варенье. Алеша тоже по мере сил способствовал приготовлениям: его заставили из белой бумаги вырезывать красивую сетку на окорок и украшать бумажною резьбою нарочно купленные шесть восковых свечей. В назначенный день поутру явился парикмахер и показал свое искусство над буклями, тупеем и длинной косой учителя. Потом принялся за супругу его, напомадил и напудрил у нее локоны и шиньон и взгромоздил на ее голове целую оранжерею разных цветов, между которыми блистали искусным образом помещенные два бриллиантовых перстня, когда-то подаренные мужу ее родителями учеников. По окончании головного убора накинула она на себя старый, изношенный салоп и отправилась хлопотать по хозяйству, наблюдая притом строго, чтоб как-нибудь не испортилась прическа; и для того сама она не входила в кухню, а давала приказания свои кухарке, стоя в дверях. В необходимых же случаях посылала туда мужа своего, у которого прическа не так была высока.

В продолжение всех этих забот Алешу нашего совсем забыли, и он тем воспользовался, чтоб на просторе играть во дворе. По обыкновению своему он подошел сначала к дощатому забору и долго смотрел в дырочку; но и в этот день никто почти не проходил по переулку, и он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. Не успел он присесть на бревно и только начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алеше никогда не нравилась эта кухарка — сердитая и бранчивая чухонка. Но с тех пор как он заметил, что она-то была причиною, что от времени до времени уменьшалось число его курочек, он еще менее стал ее любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев ее теперь с ножом, он тотчас догадался, что это значит, и, чувствуя с горестию, что он не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь. «Алеша, Алеша! Помоги мне поймать курицу!» — кричала кухарка, но Алеша принялся бежать еще пуще, спрятался у забора за курятником и сам не замечал, как слезки одна за другою выкатывались из его глаз и упадали на землю.

Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нем

сильно билось, между тем как кухарка бегала по двору — то манила курочек: «Цып, цып, цып!» — то бранила их почухонски.

Вдруг сердце у Алеши еще сильнее забилось: ему послышался голос любимой его Чернушки! Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:

Кудах, кудах, кудýху!
Алеша, спаси Чернуху!
Кудуху, кудýху,
Чернуху, Чернуху!

Алеша никак не мог долее оставаться на своем месте. Он, громко всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на шею в ту самую минуту, как она поймала уже Чернушку за крыло. «Любезная, милая Тринушка! — вскричал он, обливаясь слезами,— пожалуйста, не тронь мою Чернуху!»

Алеша так неожиданно бросился на шею к кухарке, что она упустила из рук Чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать. Но Алеше теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит:

Кудáх, кудáх, кудýху!
Не поймала ты Чернуху!
Кудýху, кудýху!
Чернуху, Чернуху!

Между тем кухарка была вне себя от досады. «Рýммаль пойсь! — кричала она.— Вот-та я паду кассаину и пашалюсь. Шорна курис нада рéжить... Он ленива... Он яишка не делать, он сыплатка не сúжить». Тут хотела она бежать к учителю, но Алеша не пустил ее. Он прицепился к полам ее платья и так умильно стал просить, что она остановилась.

— Душенька, Тринушка! — говорил он.— Ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая... Пожалуйста, оставь мою Чернушку! Вот посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра!

Алеша вынул из кармана империал, составлявший все его имение, который берег пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки. Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтобы удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку за империалом. Алеше очень, очень было жаль

империала, но он вспомнил о Чернушке — и с твердостию отдал драгоценный подарок.

Таким образом, Чернушка была спасена от жестокой и неминуемой смерти.

Лишь только кухарка удалилась в дом, Чернушка слетела с кровли и подбежала к Алеше. Она как будто знала, что он ее избавитель: кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала веселым голосом. Все утро она ходила за ним по двору, как собачка, и казалось, будто что-то хочет сказать ему, да не может. По крайней мере он никак не мог разобрать ее кудахтанья.

Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алешу позвали наверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими складками, белые шароварцы и широкий шелковый голубой кушак. Длинные русые волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько расчесали, разделили на две ровные части и переложили наперед — по обе стороны груди. Так наряжали тогда детей. Потом научили, каким образом он должен шаркнуть ногой, когда войдет в комнату директор, и что должен отвечать, если будут сделаны ему какие-нибудь вопросы. В другое время Алеша был бы очень рад приезду директора, которого давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нем учитель и учительша, он воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на этот раз любопытство это уступило место мысли, исключительно его тогда занимавшей: о черной курице. Ему все представлялось, как кухарка за нею бегала с ножом и как Чернушка кудахтала разными голосами. Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что она ему сказать хотела, и его так и тянуло к курятнику... Но делать было нечего: надлежало дожидаться, пока кончится обед!

Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали.— Все пришло в движение: учитель стремглав бросился из дверей, чтобы встретить его внизу, у крыльца; гости встали с мест своих. И даже Алеша на минуту забыл о своей курочке и подошел к окну, чтобы посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не удалось увидеть его: директор уже успел войти в дом. У крыльца же

вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозчичьи сани. Алеша очень этому удивился. «Если бы я был рыцарь,— подумал он,— то никогда бы не ездил на извозчике, а всегда верхом!»

Между тем отворили настежь все двери; и учительша начала приседать в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва нельзя было видеть его за толстою учительшею, стоявшею в самых дверях; но когда она, окончив длинное приветствие свое, присела ниже обыкновенного, Алеша, к крайнему удивлению, из-за нее увидел... не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набело распудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алеша, был маленький пучок! Когда вошел он в гостиную, Алеша еще более удивился, увидев, что, несмотря на простой серый фрак, бывший на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно почтительно.

Сколь, однако ж, ни казалось все это странным Алеше, сколь в другое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством стола, но в этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке все бродило утреннее происшествие с Чернушкою. Подали десерт: разного рода варенья, яблоки, бергамоты, финики, винные ягоды и грецкие орехи; но и тут он ни на одно мгновение не переставал помышлять о своей курочке. И только что встали из-за стола, как он с трепещущим от страха и надежды сердцем подошел к учителю и спросил, можно ли идти поиграть во дворе.

— Подите,— отвечал учитель,— только не долго там будьте, уж скоро сделается темно.

Алеша поспешно надел свою красную бекешу на беличьем меху и зеленую бархатную шапочку с собольим околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки уже начали собираться на ночлег и, сонные, не очень обрадовались принесенным крошкам. Одна Чернушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну: она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алеша долго с ней играл; наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперед, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у Чернушки светятся в темноте, как звездочки, и что она тихонько ему говорит:

— Алеша. Алеша! Останься со мною!

Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем как на другой половине часу до одиннадцатого пробыли гости и на нескольких столах играли в вист. Прежде нежели они разъехались, Алеша пошел в нижний этаж, в спальню, разделся, лег в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть. Наконец сон его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с Чернушкою, как, к сожалению, пробужден был шумом разъезжающихся гостей.— Немного погодя учитель, провожавший директора со свечкою, вошел к нему в комнату, посмотрел, все ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом.

Ночь был месячная, и сквозь ставни, неплотно затворявшиеся, упадал в комнату бледный луч луны. Алеша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье, над его головою, ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы.

Наконец все утихло. Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещенную месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до полу, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться: ему послышалось, как будто что-то под кроватью царапается, и немного погодя показалось, что кто-то тихим голосом зовет его:

— Алеша, Алеша!

Алеша испугался! Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не назвал бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нем дрожало. Он немного приподнялся в постели и еще яснее увидел, что простыня шевелится, еще внятнее услышал, что кто-то говорит:

— Алеша, Алеша!

Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла... черная курица!

— Ах! это ты, Чернушка! — невольно вскричал Алеша.— Как ты зашла сюда?

Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом:

— Это я, Алеша! Ты не боишься меня, не правда ли?

— Зачем я буду тебя бояться? — отвечал он.— Я тебя люблю; только для меня странно, что ты так хорошо говоришь: я совсем не знал, что ты говорить умеешь!

— Если ты меня не боишься,— продолжала курица,— так поди за мною: я тебе покажу что-нибудь хорошенькое. Одевайся скорее!

— Какая ты, Чернушка, смешная! — сказал Алеша.— Как мне можно одеться в темноте? Я платья своего теперь не сыщу, я и тебя насилу вижу!

— Постараюсь этому помочь,— сказала курочка. Тут она закудахтала странным голосом, и вдруг откуда-то взялись маленькие свечки в серебряных шандалах, не больше как с Алешин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомойнике, и в комнате сделалось так светло, так светло, как будто днем. Алеша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он вскоре совсем был одет.

Когда Алеша был готов, Чернушка опять закудахтала, и все свечки исчезли.

— Иди за мною! — сказала она ему.

И он смело последовал за нею. Из глаз ее выходили как будто лучи, которые освещали все вокруг них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю.

— Дверь заперта ключом,— сказал Алеша; но курочка ему не отвечала: она хлопнула крыльями, и дверь сама собою отворилась. Потом, прошед через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки-голландки. Алеша никогда у них не бывал, но слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось все это видеть, и потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями, и дверь в старушкины покои отворилась. Алеша в первой комнате увидел всякого рода старинные мебели: резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых были нарисованы синей муравой люди и звери. Алеша хотел было остановиться, чтоб рассмотреть мебели, а особливо фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила. Они вошли во вторую комнату, и тут-то Алеша обрадовался! В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алеша тотчас хотел подбежать к нему. Чернушка опять его не допустила.

— Не трогай здесь ничего,— сказала она.— Берегись разбудить старушек!

Тут только Алеша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые он мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами; она показалась ему как будто восковая. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле нее сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо нее, Алеша не мог утерпеть, чтоб не попросить у нее лапки... Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать: «Дуррак! дуррак!» В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постели. Чернушка поспешно удалилась, Алеша побежал за нею, дверь вслед за ними сильно захлопнулась... и еще долго слышно было, как попугай кричал: «Дуррак! дуррак!»

— Как тебе не стыдно! — сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек.— Ты, верно, разбудил рыцарей...

— Каких рыцарей? — спросил Алеша.

— Ты увидишь,— отвечала курочка.— Не бойся, однако ж, ничего, иди за мною смело.

Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алеша никогда не видывал. Иногда коридоры эти так были низки и узки, что Алеша принужден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещенную тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах, с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках. Чернушка шла впереди на цыпочках и Алеше велела следовать за собою тихонько-тихонько... В конце залы была большая дверь из светлой желтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на черную курицу. Чернушка подняла хохол, распустила крылья и вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться! Рыцари сильно на нее наступали, а она защищалась крыльями и носом. Алеше сделалось страшно, сердце в нем сильно затрепетало, и он упал в обморок.

Когда пришел он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату и он лежал в своей постели. Не видно было ни Чернушки, ни рыцарей. Алеша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью: во сне

ли он все то видел или в самом деле это происходило? Он оделся и пошел наверх, но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор, но весь тот день, как нарочно, шел сильный снег, и нельзя было и подумать, чтоб выйти из дому.

За обедом учительша между прочими разговорами объявила мужу, что черная курица непонятно куда спряталась.

— Впрочем,— прибавила она,— беда невелика, если бы она и пропала: она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка.

Алеша чуть-чуть не заплакал, хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтоб ее нигде не находили, нежели чтоб попала она на кухню.

После обеда Алеша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться в потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен ее увидеть в следующую ночь, несмотря на то, что она пропала из курятника. Но потом ему казалось, что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль.

Настало время ложиться спать, и Алеша с нетерпением разделся и лег в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещенную тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня — точно так, как накануне... Опять послышался ему голос, его зовущий: «Алеша, Алеша!» — и немного погодя вышла из-под кровати Чернушка и взлетела к нему на постель.

— Ах, здравствуй, Чернушка! — вскричал он вне себя от радости.— Я боялся, что никогда тебя не увижу. Здорова ли ты?

— Здорова,— отвечала курочка,— но чуть было не занемогла по твоей милости.

— Как это, Чернушка? — спросил Алеша испугавшись.

— Ты добрый мальчик,— продолжала курочка,— но притом ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо! Вчера я говорила тебе, чтоб ты ничего не трогал в комнатах старушек,— несмотря на то, ты не мог утерпеть, чтобы не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей — и я насилу с ними сладила!

— Виноват, любезная Чернушка, вперед не буду! Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда; ты увидишь, что я буду послушен.

— Хорошо,— сказала курочка,— увидим!

Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алеша опять оделся и пошел за курицею. Опять вошли они в покои старушек; но в этот раз он уж ни до чего не дотрагивался. Когда они проходили чрез первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе; но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки-голландки, так же как накануне, лежали в постелях, будто восковые; попугай смотрел на Алешу и хлопал глазами, серая кошка опять умывалась лапками. На уборном столе перед зеркалом Алеша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою; но он помнил приказание Чернушки и прошел не останавливаясь, однако не мог утерпеть, чтоб мимоходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, все кивая головою. Чуть-чуть он не остановился — такими они показались ему забавными, но Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их до дверей и, видя, что Алеша на них не смотрит, возвратились на свои места.

Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять, когда приблизились они к двери из желтой меди, два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне; они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копья... Чернушка сделалась большая и нахохлилась; но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части,— и Алеша увидел, что то были пустые латы! Медная дверь сама собою отворилась, и они пошли далее. Немного погодя вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Алеша мог достать рукою до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые.

Тут Чернушка оставила Алешу.

— Побудь здесь немного,— сказала она ему,— я скоро

приду назад. Сегодня ты был умен, хотя неосторожно поступил, поклонясь фарфоровым куклам. Если бы ты им не поклонился, то рыцари бы остались на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы.— После сего Чернушка вышла из залы.

Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из лабрадора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе; панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зеленым балдахином, на возвышенном месте, стояли кресла из золота. Алеша очень любовался этим убранством, но странным показалось ему, что все было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол.

Между тем как он с любопытством все рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им не замеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с пол-аршина, в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен: иные по одеянию казались военными, другие — гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы наподобие испанских. Они не замечали Алеши, прохаживались чинно по комнатам, и громко между собой говорили, но он не мог понять, что они говорили. Долго смотрел он на них молча и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы... все замолкли, стали к стенам в два ряда и сняли шляпы. В одно мгновение комната сделалась еще светлее, все маленькие свечки еще ярче загорели,— и Алеша увидел двадцать маленьких рыцарей в золотых латах, с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в глубоком молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя вошел в залу человек с величественною осанкою, на голове с венцом, блестящим драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьим мехом, с длинным шлейфом, который несли двадцать маленьких пажей в пунцовых платьях. Алеша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле рыцарей, который, подошед к Алеше, объявил ему, чтоб он приблизился к креслам. Алеша повиновался.

— Мне давно было известно,— сказал король,— что ты

добрый мальчик; но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и за то заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти.

— Когда? — спросил Алеша с удивлением.

— Третьего дня на дворе,— отвечал король.— Вот тот, который обязан тебе жизнию.

Алеша взглянул на того, на которого указывал король, и тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного набок, а на шее белый платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал.

Сколь для Алеши ни было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал:

— Господин король! я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастие избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца...

— Что ты говоришь! — прервал его с гневом король.— Мой министр — не курица, а заслуженный чиновник!

Тут подошел министр ближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная Чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.

— Скажи мне, чего ты желаешь? — продолжал король.— Если я в силах, то непременно исполню твое требование.

— Говори смело, Алеша! — шепнул ему на ухо министр.

Алеша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему более времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое; но так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил ответом.

— Я бы желал,— сказал он,— чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой мне ни задали.

— Не думал я, что ты такой ленивец,— отвечал король, покачав головою.— Но делать нечего, я должен исполнить свое обещание.

Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко.

— Возьми это семечко,— сказал король.— Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали, с тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей.

Алеша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресел и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить Алешу как можно лучше.

Лишь только король удалился, как окружили Алешу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги: одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец; другие приглашали его на охоту. Алеша не знал, на что решиться; наконец министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю.

Сначала повел он его в сад, устроенный в Английском вкусе. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камешками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алеше.

— Камни эти,— сказал министр,— у вас называются драгоценными. Это все брильянты, яхонты, изумруды и аметисты.

— Ах, когда бы у нас этим усыпаны были дорожки! — вскричал Алеша.

— Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь,— отвечал министр.

Деревья также показались Алеше отменно красивыми, хотя притом очень странными. Они были разного цвета: красные, зеленые, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран и из самой глубины земного шара.

Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алеше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях.

Всматриваясь внимательнее, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно, но он из учтивости не сказал ни слова.

Возвратившись в комнаты после прогулки, Алеша в большой зале нашел накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточены из цельных брильянтов, яхонтов и изумрудов.

— Кушай, что угодно,— сказал министр,— с собою же брать ничего не позволяется.

Алеша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать.

— Вы обещались взять меня с собою на охоту,— сказал он.

— Очень хорошо,— отвечал министр.— Я думаю, что лошади уже оседланы.

Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых набалдашники были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большой ловкостью вскочил на свою лошадь. Алеше подвели палку гораздо более других.

— Берегись,— сказал министр,— чтоб лошадь тебя не сбросила: она не из самых смирных.

Алеша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был небесполезен. Палка начала под ним увертываться и манежиться, как настоящая лошадь, и он насилу мог усидеть.

Между тем затрубили в рога, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алеша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою... Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алеша никогда не видывал: они хотели пробежать мимо; но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. Восемь крыс легли на месте, три обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненную, министр велел вылечить и отвесть в зверинец.

По окончании охоты Алеша так устал, что глазки его

невольно закрывались. При всем том ему хотелось о многом поговорить с Чернушкою, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился; большою рысью поехали они назад и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг против друга на принесенные им стулья.

— Скажи, пожалуйста,— начал Алеша,— зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?

— Если б мы их не истребляли,— сказал министр,— то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мышьи и крысьи меха у нас в высокой цене по причине их легкости и мягкости. Одним знатным особам дозволено их у нас употреблять.

— Да расскажи мне, пожалуйста, кто вы таковы? — продолжал Алеша.

— Неужели ты никогда не слыхал, что под землею живет народ наш? — отвечал министр.— Правда, немногим удается нас видеть, однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны. А у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить местопребывание наше и идти далеко-далеко, в другие страны. Ты легко представить себе можешь, что королю нашему невесело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И поэтому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее; ибо в противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда; но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край...

— Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем о вас говорить,— прервал его Алеша.— Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землею. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так что никто не понимал, откуда взято его богатство. Наконец как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки для гномов, плативших ему за то очень дорого.

— Быть может, что это правда,— отвечал министр.

— Но,— сказал ему Алеша,— объясни мне, любезная Чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы и какую связь имеете вы со старушками-голландками?

Чернушка, желая удовлетворить его любопытству, начала было рассказывать ему подробно о многом, но при самом начале ее рассказа глаза Алешины закрылись, и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постеле. Долго не мог он опомниться и не знал, что ему думать...

Чернушка и министр, король и рыцари, голландки и крысы — все это смешалось у него в голове, и он насилу мысленно привел в порядок все виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король подарил ему конопляное зерно, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашел в кармане бумажку, в которой завернуто было конопляное семечко. «Увидим,— подумал он,— сдержит ли свое слово король! Завтра начнутся классы, а я еще не успел выучить всех своих уроков».

Исторический урок особенно его беспокоил: ему задано было выучить наизусть несколько страниц из Шрековой всемирной истории, а он не знал еще ни одного слова!

Настал понедельник, съехались пансионеры, и начались классы. От десяти часов до двенадцати преподавал историю сам содержатель пансиона. У Алеши сильно билось сердце... Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным зернышком... Наконец его вызвали. С трепетом подошел он к учителю, открыл рот, сам еще не зная, что сказать, и — безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил; однако Алеша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоит ему никакого труда.

В продолжение нескольких недель учители не могли нахвалиться Алешею. Все уроки без исключения знал он совершенно, все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так что не могли надивиться чрезвычайным его успехам. Алеша внутренне стыдился этим похвалам: ему совестно было, что поставляли его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал.

В течение этого времени Чернушка к нему не являлась, несмотря на то, что Алеша, особливо в первые недели

после получения конопляного зернышка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы ее не звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился мыслию, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал.

Между тем слух о необыкновенных его способностях разнесся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион и любовался Алешею. Учитель носил его на руках, ибо через него пансион вошел в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтоб он детей их принял к себе, в надежде, что и они такие же будут ученые, как Алеша. Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров, и учитель с учительшею начали помышлять, о том, чтоб нанять дом, гораздо пространнейший того, в котором они жили.

Алеша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает, но мало-помалу он стал к ним привыкать, и наконец самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснея, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алеши от этого совсем испортился: из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордый и непослушный. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил: «Алеша, не гордись! Не приписывай самому себе того, что не тебе принадлежит; благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет, и тогда ты, при всей своей учености, будешь самое несчастное дитя!»

Иногда он и принимал намерение исправиться; но, к несчастию, самолюбие так в нем было сильно, что заглушало голос совести, и он день ото дня становился хуже, и день от дня товарищи менее его любили.

Притом Алеша сделался страшный шалун. Не имея нужды твердить уроков, которые ему задавали, он в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями, и эта праздность еще более портила его нрав. Наконец он так надоел всем дурным своим нравом, что учитель серьезно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика и для того задавал

ему уроки вдвое и втрое большие, нежели другим; но и это нисколько не помогало. Алеша вовсе не учился, а все-таки знал урок с начала до конца, без малейшей ошибки.

Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц двадцать к другому утру и надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смирнее.

Куда! Наш Алеша и не думал об уроке! В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алеша внутренне смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное семечко поможет ему непременно.

На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой был задан урок Алеше, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети с любопытством обратили на Алешу внимание, и сам учитель не знал, что подумать, когда Алеша, несмотря на то, что вовсе накануне не твердил урока, смело встал с скамейки и подошел к нему. Алеша нимало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность; он раскрыл рот... и не мог выговорить ни слова!

— Что же вы молчите? — сказал ему учитель.— Говорите урок.

Алеша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки, слезы у него от страха навернулись на глазах... Все тщетно! Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу.

— Что это значит, Алеша? — закричал учитель.— Зачем вы не хотите говорить?

Алеша сам не знал, чему приписать такую странность, всунул руку в карман, чтоб ощупать семечко... Но как описать его отчаяние, когда он его не нашел! Слезы градом полились из глаз его... Он горько плакал и все-таки не мог сказать ни слова.

Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алеша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, он считал невозможным, чтоб Алеша не знал по крайней мере начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству.

— Подите в спальню,— сказал он,— и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок.

Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом.

Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляного зернышка. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушку, простыни — все напрасно! Нигде не было и следов любезного зернышка! Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и наконец уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе. Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если б и позволили выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы на конопли и зернышко его, верно, которая-нибудь из них успела склевать! Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку.

— Милая Чернушка! — говорил он.— Любезный министр! Пожалуйста, явись мне и дай другое семечко! Я, право, впредь буду осторожнее.

Но никто не отвечал на его просьбы, и он наконец сел на стул и опять принялся горько плакать.

Между тем настала пора обедать; дверь отворилась, и вошел учитель.

— Знаете ли вы теперь урок? — спросил он у Алеши.

Алеша, громко всхлипывая, принужден был сказать, что не знает.

— Ну, так оставайтесь здесь, пока не выучите! — сказал учитель, велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного.

Алеша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить двадцать печатных страниц! Сколько он ни трудился, сколько ни напрягал свою память, но когда настал вечер, он не знал более двух или трех страниц, да и то плохо. Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришел опять учитель.

— Алеша, знаете ли вы урок? — спросил он.

И бедный Алеша сквозь слезы отвечал:

— Знаю только две страницы.

— Так, видно, и завтра придется вам просидеть здесь на хлебе и на воде,— сказал учитель, пожелал другим детям покойного сна и удалился.

Алеша остался с товарищами. Тогда, когда он был доброе и скромное дитя, все его любили, и если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нем жалели, и это ему

служило утешением. Но теперь никто не обращал на него внимания: все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова. Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от него отворотился не отвечая. Алеша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лег он в свою постель, но никак не мог заснуть.

Долго лежал он таким образом и с горестию вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог! «И Чернушка меня оставила»,— подумал Алеша, и слезы вновь полились у него из глаз.

Вдруг... простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица. Сердце в нем стало биться сильнее... Он желал, чтоб Чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится.

— Чернушка, Чернушка! — сказал он наконец вполголоса.

Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица.

— Ах, Чернушка! — сказал Алеша вне себя от радости.— Я не смел надеяться, что с тобою увижусь! Ты меня не забыла?

— Нет,— отвечала она,— я не могу забыть оказанной тобою услуги, хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собою вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили, а теперь... я не узнаю тебя!

Алеша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала:

— Теперь я должна тебя оставить, Алеша! Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтоб лишить тебя оного за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне все, что тебе о нас известно... Алеша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего — неблагодарности!

Алеша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтоб исправиться!

— Ты увидишь, милая Чернушка,— сказал он,— что я сегодня же совсем другой буду.

— Не полагай,— отвечала Чернушка,— что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку, и потому, если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться!

Алеша, оставшись один, начал рассматривать свое зернышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчет урока, и вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит двадцать страниц,— и мысль, что он опять возьмет верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка. «Будто не от меня зависит исправиться! — мыслил он.— Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут...»

Увы, бедный Алеша не знал, что для исправления самого себя необходимо начать с того, чтоб откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность.

Когда поутру собрались дети в классы, Алешу позвали вверх. Он пошел с веселым и торжествующим видом.

— Знаете ли вы урок ваш? — спросил учитель, взглянув на него строго.

— Знаю,— отвечал Алеша смело.

Он начал говорить и проговорил все двадцать страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель вне себя был от удивления, а Алеша гордо посматривал на своих товарищей!

От глаз учителя не скрылся гордый вид Алешин.

— Вы знаете урок свой,— сказал он ему,— это правда, но зачем вы вчера не хотели его сказать?

— Вчера я не знал его,— отвечал Алеша.

— Быть не может! — прервал его учитель.— Вчера ввечеру вы мне сказали, что знаете только две страницы, да и то плохо, а теперь без ошибки проговорили все двадцать! Когда же вы его выучили?

Алеша замолчал. Наконец дрожащим голосом сказал он:

— Я выучил его сегодня поутру!

Но тут вдруг все дети, огорченные его надменностию, закричали в один голос:

— Он неправду говорит, он и книги в руки не брал сегодня поутру!

Алеша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.

— Отвечайте же! — продолжал учитель.— Когда выучили вы урок?

Но Алеша не прерывал молчания: он так поражен был сим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться.

Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел сказывать урока из упрямства, счел за нужное строго наказать его.

— Чем более вы от природы имеете способностей и дарований,— сказал он Алеше,— тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того бог дал вам ум, чтоб вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказание за вчерашнее упрямство, а сегодня вы еще увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа! — продолжал учитель, обратясь к пансионерам,— запрещаю всем вам говорить с Алешею до тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги.

Принесли розги... Алеша был в отчаянии! В первый еще раз с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами, и кого же — Алешу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех! Какой стыд!..

Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться...

— Надобно было думать об этом прежде,— был ему ответ. Слезы и раскаяние Алеши тронули товарищей, и они начали просить за него. А Алеша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, еще горьче стал плакать.

Наконец, учитель приведен был в жалость: «Хорошо! — сказал он.— Я прошу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтобы вы перед всеми признались в вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок?»

Алеша совершенно потерял голову: он забыл обещание,

данное подземельному королю и его министру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях...

Учитель не дал ему договорить.

— Как! — вскричал он с гневом.— Вместо того, чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня еще вздумали дурачить, рассказывая сказку о черной курице?.. Это слишком уж много. Нет, дети! вы видите сами, что его нельзя не наказать!

И бедного Алешу высекли!!

С поникшею головою, с растерзанным сердцем Алеша пошел в нижний этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый... стыд и раскаяние наполняли его душу! Когда через несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман... конопляного зернышка в нем не было! Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно!

Ввечеру, когда другие дети пришли спать, он также лег в постель, но заснуть никак не мог! Как раскаивался он в дурном поведении своем! Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зернышко возвратить невозможно!

Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати... Алеша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза... он боялся увидеть Чернушку! — Совесть его мучила.— Он вспомнил, что еще вчера ввечеру так уверительно говорил Чернушке, что непременно исправится,— и вместо того... Что он ей теперь скажет?

Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни... Кто-то подошел к его кровати — и голос, знакомый голос, назвал его по имени:

— Алеша, Алеша!

Но он стыдился открыть глаза, а между тем слезы из них катились и текли по его щекам...

Вдруг кто-то дернул за одеяло. Алеша невольно проглянул, и перед ним стояла Чернушка — не в виде курицы, а в черном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно, как он видел ее в подземной зале.

— Алеша! — сказал министр,— я вижу, что ты не спишь... Прощай! Я пришел с тобою проститься, более мы не увидимся!

Алеша громко зарыдал.

— Прощай! — воскликнул он.— Прощай! И, если можешь, прости меня! Я знаю, что виноват перед тобою; но я жестоко за то наказан!

— Алеша! — сказал сквозь слезы министр,— я тебя прощаю; не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и все тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки!.. Прощай! Мне позволено видеться с тобою на самое короткое время. Еще в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест! Все в отчаянии, все проливают слезы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно!

Алеша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух.

— Что это такое? — спросил он с изумлением.

Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотой цепью. Он ужаснулся!..

— Твоя нескромность причиною, что я осужден носить эти цепи,— сказал министр с глубоким вздохом,— но не плачь, Алеша! Твои слезы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моем несчастии: старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз!

Министр пожал Алеше руку и скрылся под соседнюю кровать.

— Чернушка, Чернушка! — кричал ему вслед Алеша, но Чернушка не отвечала.

Всю ночь он не мог сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колес и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра Чернушки, который кричал ему:

— Прощай, Алеша! Прощай навеки!

На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка.

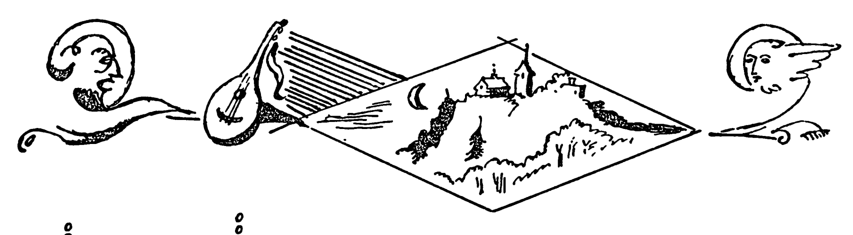
Недель через шесть Алеша, с помощию божиею, выздоровел, и все происходившее с ним перед болезнию казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова ни о черной курице, ни о нака-

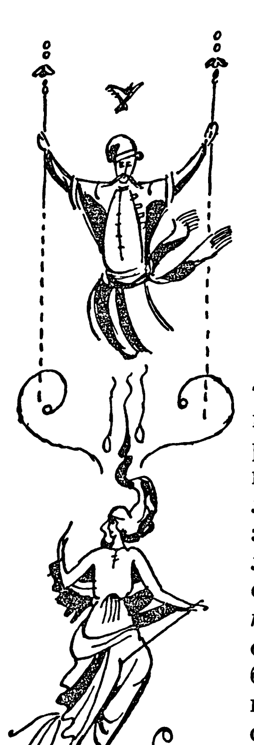
зании, которому он подвергся. Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть двадцать печатных страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали.

<1829>


Орест Сомов







РУСАЛКА

Малороссийское предание

Давным-давно, когда еще златоглавый наш Киев был во власти поляков, жила-была там одна старушка, вдова лесничего. Маленькая хатка ее стояла в лесу, где лежит дорога к Китаевой пустыни: здесь, пополам с горем, перебивалась она трудами рук своих вместе с шестнадцатилетнею *Горпинкою*[1], дочерью и единою своею отрадою. И подлинно дочь дана была ей на отраду: она росла, как молодая черешня, высока и стройна; черные ее волосы, заплетенные в *дрибушки*[2], отливались как вороново крыло под разноцветными *скиндячками*[2], большие глаза ее чернелись и светились тихим огнем, как два полуистухших угля, на которых еще перебегали искорки. Бела, румяна и свежа, как молодой цветок на утренней заре, она росла на беду сердцам молодецким и на зависть своим подружкам. Мать не слышала в ней души, и труженики божии, честные отцы

Китаевой пустыни, умильно и приветливо глядели на нее как на будущего своего собрата райского, когда она подходила к ним под благословение.

Что же милая Горпинка (так называл ее всякий, кто знал) стала вдруг томна и задумчива? Отчего не поет она больше, как вешняя птичка, и не прыгает, как молодая козочка? Отчего рассеянно глядит она на все вокруг себя и невпопад отвечает на вопросы? Не дурной ли ветер подул на нее, не злой ли глаз поглядел, не колдуны ли обошли?.. Нет! не дурной ветер подул, не злой глаз поглядел, и не колдуны обошли ее: в Киеве, наполненном в тогдашнее время ляхами, был из них один, по имени Казимир Чепка. Статен телом и пригож лицом, богат и хорошего рода, Казимир вел жизнь молодецкую: пил венгерское с друзьями, переведывался на саблях *за гонор*[3], танцевал краковяк и мазурку с красавицами. Но в летнее время, наскуча городскими потехами, часто целый день бродил он по *сагам*[4] днепровским и по лесам вокруг Киева, стрелял крупную и мелкую дичь, какая ему попадалась. В одну из охотничьих своих прогулок встретился он с Горпинкою. Милая девушка, от природы робкая и застенчивая, не испугалась, однако ж, ни богатырского его вида, ни черных закрученных усов, ни ружья, ни большой лягавой собаки: молодой пан ей приглянулся, она еще больше приглянулась молодому пану. Слово за слово, он стал ей напевать, что она красавица, что между городскими девушками он не знал ни одной, которая могла бы поспорить с нею в пригожестве; и мало ли чего не напевал он ей? Первые слова лести глубоко западают в сердце девичье: ему как-то верится, что все, сказанное молодым красивым мужчиною, сущая правда. Горпинка поверила словам Казимира, случайно или умышленно они стали часто встречаться в лесу, и оттого теперь милая девушка стала томна и задумчива.

В один летний вечер пришла она из лесу позже обыкновенного. Мать пожурила ее и пугала дикими зверями и недобрыми людьми. Горпинка не отвечала ни слова, села на лавке в углу и призадумалась. Долго она молчала; давно уже мать перестала делать ей выговоры и сидела, также молча, за пряжею; вдруг Горпинка, будто опомнясь или пробудясь от сна, взглянула на мать свою яркими, черными своими глазами и промолвила вполголоса:

— Матушка! у меня есть жених.

— Жених?.. кто? — спросила старушка, придержав свое веретено и заботливо посмотрев на дочь.

— Он не из простых, матушка: он хорошего рода и

богат: это молодой польский пан...— Тут она с детским простодушием рассказала матери своей все; и знакомство свое с Казимиром, и любовь свою, и льстивые его обещания, и льстивые свои надежды быть знатною паней.

— Берегись,— говорила ей старушка, сомнительно покачивая головою,— берегись лиходея; он насмеется над тобою, да тебя и покинет. Кто знает, что на душе у иноверца, у католика?..[5] А и того еще хуже (с нами сила крестная!), если в виде польского пана являлся тебе злой искуситель. Ты знаешь, что у нас в Киеве, за грехи наши, много и колдунов и ведьм[6]. Лукавый всегда охотнее вертится там, где люди ближе к спасенью.

Горпинка не отвечала на это, и разговор тем кончился. Милая, невинная девушка была уверена, что ее Казимир не лиходей и не лукавый искуситель, и потому она с досадою слушала речи своей матери. «Он так мил, так добр! он непременно сдержит свое слово и теперь поехал в Польшу для того, чтоб уговорить своего отца и устроить дела свои. Можно ли, чтобы с таким лицом, с такою душою, с таким сладким, вкрадчивым голосом он мог иметь на меня недобрые замыслы? Нет! матушка на старости сделалась слишком недоверчива, как и все пожилые люди». Таким нашептыванием легковерного сердца убаюкивала себя неопытная, молодая девушка; а между тем мелькали дни, недели, месяцы — Казимир не являлся и не давал о себе вести. Прошел и год — о нем ни слуху ни духу. Горпинка почти не видела света божьего: от света померкли ясные очи, от частых вздохов теснило грудь ее девичью. Мать горевала о дочернем горе, иногда плакала, сидя одна в ветхой своей хатке за пряжею, и, покачивая головою, твердила: «Не быть добру! Это наказание божие за грехи наши и за то, что несмысленая полюбила ляха-иноверца!»

Долго тосковала Горпинка; бродила почти беспрестанно по лесу, уходила рано поутру, приходила поздно ночью, почти ничего не ела, не пила и иссохла как былинка. Знакомые о ней жалели и за глаза толковали то и другое; молодые парни перестали на нее заглядываться, а девушки ей завидовать. Услужливые старушки советовали ей идти к колдуну, который жил за Днепром, в бору, в глухом месте: он-де скажет тебе всю правду и наставит на путь, на дело! Горе придает отваги: Горпинка откинула страх и пошла.

Осенний ветер взрывал волны в Днепре и глухо ревел по бору; желтый лист, опадая с деревьев, с шелестом кружился по дороге, вечер хмурился на дождливом небе, когда Горпинка пошла к колдуну. Что сказал он ей, никто

того не ведает; только мать напрасно ждала ее во всю ту ночь, напрасно ждала и на другой день, и на третий: никто не знал, что с нею сталось! Один монастырский рыболов рассказывал спустя несколько дней, что, плывя в челноке, видел молодую девушку на берегу Днепра: лицо ее было исцарапано иглами и сучьями деревьев, волосы разбиты, и скиндячки оборваны; но он не посмел близко подплыть к ней из страха, что то была или бесноватая, или бродящая душа какой-нибудь умершей, тяжкой грешницы.

Бедная старушка выплакала глаза свои. Чуть свет вставала она и бродила далеко-далеко, по обоим берегам Днепра, расспрашивала у всех встречных о своей дочери, искала тела ее по песку прибрежному и каждый день с грустью и горькими слезами возвращалась домой одна-одинехонька: не было ни слуху, ни весточки о милой ее Горпинке! Она клала на себя набожные обещания, ставила из последних трудовых своих денег большие свечи преподобным угодникам печерским: сердцу ее становилось от того на время легче, но мучительная ее неизвестность о судьбе дочери все не прерывалась. Миновала осень, прошла и суровая зима в напрасных поисках, в слезах и молитвах. Честные отцы, черноризцы Китаевой пустыни, утешали несчастную мать и христиански жалели о заблудшей овце; но сострадание и утешительные их беседы не могли изгладить горестной утраты из материнского сердца. Настала весна; снова старуха начала бродить по берегам Днепра, и все так же напрасно. Она хотела бы собрать хоть косточки бедной Горпинки, омыть их горючими слезами и прихоронить, хотя тайком, на кладбище с православными. И этого, последнего утешения лишала ее злая доля.

Те же услужливые старушки, которые наставили дочь идти к колдуну, уговаривали и мать у него искать помощи. Кто тонет, тот и за бритву рад ухватиться, говорит пословица. Старуха подумала, подумала — и пошла в бор. Там, в страшном подземелье или берлоге, жил страшный старик. Никто не знал, откуда он был родом, когда и как зашел в заднепровский бор и сколько ему лет от роду; но старожилы киевские говаривали, что еще в детстве слыхали они от дедов своих об этом колдуне, которого с давних лет все называли Боровиком: иного имени ему не знали. Когда старая *Фенна*[7], мать Горпинки, пришла на то место, где, по рассказам, можно было найти его, то волосы у нее поднялись дыбом и лихорадочная дрожь ее забила... Она увидела старика, скрюченного, сморщенного, словно выходца с того света: в жаркий майский полдень лежал он на голой

земле под шубами, против солнца и, казалось, не мог согреться. Около него был очерчен круг, в ногах у колдуна сидела огромная черная жаба, выпуча большие зеленые глаза; а за кругом кипел и вился клубами всякий гад: и ужи, и змеи, и ящерицы; по сучьям деревьев качались большие нетопыри, а филины, совы и *девятисмерты*[8] дремали по верхушкам и между листьями. Лишь только появилась старуха — вдруг жаба трижды проквакала страшным голосом, нетопыри забили крыльями, филины и совы завыли, змеи зашипели, высунув кровавые жала, и закружились быстрее прежнего. Старик приподнялся, но увидя дряхлую, оробевшую женщину, он махнул черною ширинкою с какими-то чудными нашивками красного шелка — и мигом все исчезло с криком, визгом, вытьем и шипеньем: одна жаба не слазила с места и не сводила глаз с колдуна. «Не входи в круг,— прохрипел старик чуть слышным голосом, как будто б этот голос выходил из могилы,— и слушай: ты плачешь и тоскуешь об дочери; хотела ли бы ты ее видеть? хотела ли б быть опять с нею?»

— Ох, *пан-отче*[9]! как не хотеть! Это одно мое детище, как порох в глазу...

— Слушай же: я дам тебе клык черного вепря и черную свечу...— Тут он пробормотал что-то на неведомом языке, и жаба, завертев глазами, в один прыжок скакнула в подземелье, находившееся в нескольких шагах от круга, другим прыжком выскочила оттуда, держа во рту большой белый клык и черную свечу; то и другое положила она перед старухой и снова села на прежнее свое место.

— Скоро настанет *зеленая неделя*,— продолжал старик,— в последний день этой недели, в самый полдень, пойди в лес, отыщи там поляну, между чащею; ты ее узнаешь: на ней нет ни былинки, а вокруг разрослись большие кусты папоротника. Проберись на ту поляну, очерти клыком круг около себя и в середине круга воткни черную свечу. Скоро они побегут; ты всматривайся пристально и чуть только заметишь свою дочь — схвати ее за левую руку и втащи к себе в круг. Когда же все другие пробегут, ты вынь свечу из земли и, держа ее в руке, веди дочь свою к себе в дом. Что бы она ни говорила — ты не слушай ее речей и все веди ее, держа свечу у нее над головою: и что бы после ни случилось, не сказывай своим попам да монахам, не служи ни панихид, ни молебнов и терпи год. Иначе худо тебе будет...

Старухе показалось, что в эту минуту жаба страшно на

нее покосилась и захлопала уродливым своим ртом. Бедная Фенна чуть не упала от испуга. Поскорее отдала она поклон колдуну и дрожащими ногами поплелась из бора. Однако ж до чего не доведет любовь материнская! Надежда отыскать дочь свою подкрепила силы старухи и придала ей отваги.

В последний день *зеленой недели*, когда солнце шло на полдень, она пошла в чащу леса, отыскала там сказанную колдуном поляну, очертила около себя круг клыком черного вепря, воткнула посередине в землю черную свечу — и свеча сама собою загорелась синим огнем. Вдруг раздался шум: с гиканьем и ауканьем, быстро как вихрь помчалась через поляну несчетная вереница молодых девушек; все они были в легкой, сквозящей одежде, и на всех были большие венки, покрывавшие все волосы и даже спускавшиеся на плеча. На одних венки сии были из осоки, на других из древесных ветвей, так что казалось, будто бы у них зеленые волосы[10]. Девушки пробегали, минуя круг, но не замечая или не видя старухи; и она, откинув страх, всматривалась в лицо каждой. Смотрит — вот бежит и ее Горпинка. Старуха едва успела ее схватить за левую руку и втащить в круг. Другие, видно, не заметили того на быстром, исступленном бегу своем и, гикая и аукая, пронеслись мимо. Старая Фенна поспешно выхватила из земли пылавшую черную свечу, подняла ее над головою своей дочери — и мигом зеленый венок из осоки затрещал, загорелся и рассыпался пеплом с головы Горпинкиной. В кругу Горпинка стояла как оцепенелая; но едва мать вывела ее из круга, то она начала у нее проситься тихим, ласкающим голосом:

— Мать! отпусти меня погулять по лесу, покачаться на *зеленой неделе* и снова погрузиться в подводные наши селения... Знаю, что ты тоскуешь, ты плачешь обо мне: кто же тебе мешает быть со мною неразлучно? Брось напрасный страх и опустись к нам на дно Днепра. Там весело! там легко! там все молодеют и становятся так же резвы, как струйки водяные, так же игривы и беззаботны, как молодые рыбки. У нас и солнышко сияет ярче, у нас и утренний ветерок дышит привольнее. Что в вашей земле? Здесь во всем нужды: то голод, то холод; там мы не знаем никаких нужд, всем довольны, плещемся водой, играем радугой, ищем по дну драгоценностей и ими утешаемся. Зимою нам тепло под льдом, как под шубой; а летом, в ясные ночи, мы выходим греться на лучах месяца[11], резвимся, веселимся и для забавы часто шутим над живыми. Что в

том беды, если мы подчас щекочем их или уносим на дно реки? разве им от того хуже? Они становятся так же легки и свободны, как и мы сами... Мать! отпусти меня: мне тяжко, мне душно будет с живыми! Отпусти меня, мать, когда любишь...

Старуха не слушалась и все вела ее к своей хате; но с горестью узнала, что дочь ее сделалась русалкою. Вот пришли; старуха ввела Горпинку в хату; она села против печки, облокотясь обеими руками себе на колена и уставя глаза в устье печки. В эту минуту черная свеча догорела, и Горпинка сделалась неподвижною. Лицо ее посинело, все члены окостенели и стали холодны как лед; волосы были мокры, как будто бы теперь только она вышла из воды. Страшно было глядеть на ее безжизненное лицо, на ее глаза, открытые, тусклые и невидя смотрящие! Старуха поздно вскаялась, что послушалась лукавого колдуна; но и тут чувство матери и какая-то смутная надежда перемогли и страх и упреки совести: она решилась ждать во что бы то ни стало.

Проходит день, настает ночь — Горпинка сидит попрежнему, мертва и неподвижна. Жутко было старухе оставаться на ночь с своей ужасною гостьей; но, скрепя сердце, она осталась. Проходит и ночь — Горпинка сидит по-прежнему; проходят дни, недели, месяцы — все так же неподвижно сидит она, опершись головою на руки, все так же открыты и тусклы глаза ее, бессменно глядящие в печь, все так же мокры волосы. В околотке разнесся об этом слух, и все добрые и недобрые люди не смели ни днем, ни ночью пройти мимо хаты: все боялись мертвеца и старой Фенны, которую расславили ведьмою. Тропинка близ хаты заросла травою и почти заглохла; даже в лес ходили соседние обыватели изредка и только по крайней нужде. Наконец, бедная старуха мало-помалу привыкла к своему горю и положению: уже она без страха спала в той хате, где страшная гостья сидела в гробовой своей неподвижности.

Прошел и год: все так же без движения и без признаков жизни сидела мертвая. Настала и *зеленая неделя.* На первый день, около полуденного часа, старуха, отворя дверь хаты, что-то стряпала. Вдруг раздались гиканье и ауканье и скорый шорох шагов. Фенна вздрогнула и невольно взглянула на дочь свою: лицо Горпинки вдруг страшно оживилось, синета исчезла, глаза засверкали, какая-то неистовая и как бы пьяная улыбка промелькнула на губах. Она вскочила; трижды плеснула в ладоши и,

прокричав: «Наши, наши, наши!» — пустилась как молния за шумною толпою... и след ее пропал!

Старуха, мучаясь совестью, положила на себя тяжкий зарок: она пошла в женский монастырь в послушницы; принимала на себя самые трудные работы, молилась беспрерывно и, наконец, успокоенная в душе своей, тихо умерла, оплакивая несчастную дочь свою.

На другой день после того, как русалка убежала от своей матери, нашли в лесу мертвое тело. Это был поляк в охотничьем платье, и единоземцы его узнали в нем Казимира Чепку, ловкого молодого человека, бывшего душою всех веселых обществ. Ружье его было заряжено и лежало подле него, но собаки его при нем не было; никакой раны, никакого знака насильственной смерти не заметно было на теле; но лицо было сине, и все жилы в страшном напряжении. Знали, что у него было много друзей и ни одного явного недруга. Врачи толковали то и другое; но народ объяснял дело гораздо проще: он говорил, что *покойника русалки защекотали.*

ПРИМЕЧАНИЯ

[1]*Горпинка,* уменьшительное имени *Горпина* (Агриппина). Это имя в малороссийском наречии гораздо ближе к римскому своему корню, нежели Аграфена или Груша.

[2]*Дрибушки* — мелкие косы; *скиндячки* — ленты, повязываемые на голове. (См. в «Северных цветах на 1828 год» примеч. к повести «Гайдамак»).

[3]*За гонор* по-польски значит *за честь.*

[4]*Сага* — залив реки. Слово малороссийское.

[5]Когда Малороссия находилась под властью поляков, тогда взаимная недоверчивость поляков и малороссиян, особливо в простом народе, была в самой сильной степени. Понятия религиозные подкрепляли сие неприязненное чувствование в тот век, не ознаменованный еще, подобно нынешнему, веротерпением. *Католик* было у малороссиян бранчивое слово, сделавшееся народным. И теперь еще употребляется оно в том же смысле необразованными простолюдинами в Малороссии.

[6]Киев, по баснословным народным преданиям, искони славился своими ведьмами и колдунами не только в Малороссии, но и по всей России.

[7]*Фенна* — Феона, по малороссийскому выговору.

[8]*Девятисмерт,* или сорокопуд, небольшая птичка, весьма обыкновенная в лесах Малороссии. О ней говорят, будто бы она сперва убивает во-

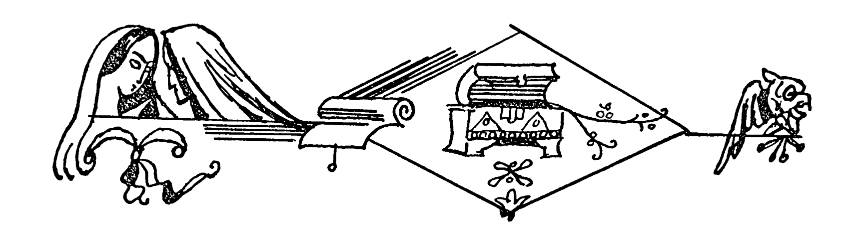
семь насекомых и съедает уже девятое; отсюда происходит имя ее — *девятисмерт*. Много есть и других суеверных рассказов об этой птице, которая занимает не последнее место в *баснословной зоологии* малороссиян.

[9] *Пан-отче* — звательный падеж сложного слова пан-отец, которое малороссияне из учтивости говорят старшим летами или достоинством. В собственном смысле оно соответствует русскому выражению: государь-батюшка.

[10]Простой народ в Малороссии думает, что русалки суть утопленницы и удавленницы, произвольно лишившие себя жизни. Одни говорят, что у русалок зеленые волосы, другие просто наряжают их в большие зеленые венки. Сочинитель принял последнее из сих поверий, а для отличия русалок одних из них покрыл венками из осоки, других — венками из древесных ветвей. Разумеется, что первые из них утопленницы, а вторые — удавленницы. Они, по мнению малороссиян, бегают по лесам на *зеленой* (т. е. Троицкой) *неделе*, аукают, качаются на деревьях, и если поймают живого человека, то щекочут его до смерти. Поэтому малороссияне боятся в продолжение сей недели откликаться на лесное ауканье.

[11]Луна, по малороссийскому поверью, есть *солнце утопленников*. Они выходят ночью из воды греться на лучах месяца, которым воображение малороссиян придало теплоту.

<1829>



КИЕВСКИЕ ВЕДЬМЫ

Молодой казак Киевского полка Федор Блискавка возвратился на свою родину из похода против утеснителей Малороссии, ляхов. Храбрый гетман войска малороссийского Тарас Трясила после знаменитой *Тарасовой ночи*, в которую он разбил высокомерного Конецпольского, выгнал ляхов из многих мест Малороссии, очистив оные и от коварных *подножков*[1] польских, жидов-предателей. Много их пало от руки ожесточенных казаков, которые, добивая их, напевали те же самые ругательства, каковыми незадолго пред тем жиды оскорбляли православных. Все было припомянуто: и наушничество жидов, и услужливость их полякам, и мытарство их, и содержание на аренде церквей божних, и продажа непомерною ценой святых пасох к светлому Христову воскресению. Само по себе разумеется, что имущество сих малодушных иноверцев было пощажено столь же мало, как и жизнь их. Казаки возвратились в домы свои, обременясь богатою добычей, которую считали весьма законною и которую летописец Малороссии оправдывает в душе своей, рассудив, сколь неправедно было стяжание выходцев иудейских. Это было справедливым возмездием за утеснения; и в сем случае казаки, можно сказать, забирали обратно свою собственность.

Те, которые знали Федора Блискавку как лихого казака, догадывались, что он пришел домой не с пустыми руками. И в самом деле, при каждой расплате с шинкаркой или с бандуристами он вытаскивал у себя из *кишени*[2]

---

[1] *Подножек* (пидножок) — раб, прислужник, припадающий к ногам. Гетман Брюховецкий писал к царю Алексею Михайловичу: «Вашего Царского Пресветлого Величества, Благодателя мого милостивого верний холоп и найнижший подножок Пресветлого Престола, Боярин и Гетман верного войска Вашего Царского Пресветлого Величества Запорозкого Ивашка Брюховецкий».

[2] *Кишень* — карман. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

целую горсть *дукатов*, а польскими *злотыми* только что не швырял по улицам. При взгляде на золото разгорались глаза у шинкарей и *крамарей*[1], а при взгляде на казака разгорались щеки у девиц и молодиц. И было отчего: Федора Блискавку недаром все знали лихим казаком. Высокий его рост с молодецкою осанкой, статное, крепкое сложение тела, черные усы, которые он гордо подкручивал, его молодость, красота и *завзятость*[2] хоть бы кому могли вскружить голову. Мудрено ли, что молодые киевлянки поглядывали на него с лукавою, приветливою усмешкой и что каждая из них рада была, когда он заводил с нею речь или позволял себе какую-нибудь незазорную вольность в обхождении?

Перекупки[3] на Печерске и на Подоле[4] знали его все, от первой до последней, и с довольными лицами перемигивались между собою, когда, бывало, он идет по *базару*. Они ждали этого как ворон крови, потому что Федор Блискавка из казацкого молодечества расталкивал у них лотки с *кнышами, сластенами* либо *черешнями*[5] и раскатывал на все стороны большие вороха арбузов и дынь, а после платил за все втрое.

— Что так давно не видать нашего *завзятого?* — говорила одна из подольских перекупок своей соседке.— Без него и продажа не в продажу: сидишь, сидишь, а ни десятой доли в целый день не выручишь того, чем от него поживишься за один миг.

— До того ли ему! — отвечала соседка.— Видишь, он увивается около Катруси Ланцюговны. С нею теперь спознался, так и на базарах не показывается.

— А чем Ланцюговна ему не невеста? — вмешалась в разговор их третья перекупка.— Дивчина как маков цвет; поглядеть — так волей и неволей скажешь: красавица! Волосы как смоль, черная бровь, черный глаз, и ростом и статью взяла; одна усмешка ее с ума сводит всех парубков. Да и мать ее — женщина не бедная; скупа, правда,

---

[1] *Крамарь* — мелочной торговец красным товаром. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

[2] *Завзятость* — удальство, молодечество. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

[3] *Перекупка* — рыночная торговка, продающая плоды, овощи и т. п. Перекупками называются они потому, что покупают сии произведения дешевою ценой у сельских жителей и продают дороже в городе. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

[4] *Печерск* и *Подол* — части города Киева. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

[5] *Кныши* — род саек; *сластены* — оладьи. *Черешни* — небольшие сливы, похожие на французские mirabelles и очень сладкие. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

старая карга! зато денег у нее столько, что хоть лопатой греби.

— Все это так,— подхватила первая,— только про старую Ланцюжиху недобрая слава идет. Все говорят — наше место свято! — будто она ведьма.

— Слыхала и я такие слухи, кумушка,— заметила вторая.— Сосед Панчоха сам однажды видел своими глазами, как старая Ланцюжиха вылетела из трубы и отправилась, видно, на шабаш...

— Да мало ли чего можно о ней рассказать! — перебила ее первая.— Вот у Петра Дзюбенка извела она корову, у Юрчевских отравила собак за то, что одна из них была *ярчук*[1] и узнавала ведьму по духу. А с Ничипором Проталием, поссорившись за огород, сделала то, что не приведи бог и слышать.

— Что, что такое? — вскричали с любопытством две другие перекупки.

— Ну, да уж что будет, то будет, а к слову пришлось рассказать. Старая Ланцюжиха испортила Ничипорову дочку так, что хоть брось. Теперь бедная Докийка то мяучит кошкой и царапается на стену, то лает собакой и кажет зубы, то стрекочет сорокой и прыгает на одной ножке...

— Полно вам щебетать, пустомели! — перервала их разговор одна старая перекупка с недобрым видом, поглядывая на всех такими глазами, с какими злая собака рычит на прохожих.— Толковали бы вы про себя, а не про других,— продолжала она отрывисто и сердито.— У вас все пожилые женщины с достатком — ведьмы; а на свои хвосты так вы не оглянетесь.

Все перекупки невольно вскрикнули при последних словах старухи, но мигом унялись, ибо не смели с нею ссориться: про нее тоже шла тишком молва, что и она принадлежала к *кагалу*[2] киевских ведьм.

Нашлись, однако же, добрые люди, которые хотели предостеречь Федора Блискавку от женитьбы на Катрусе Ланцюговне; но молодой казак смеялся им в глаза, отнюдь не думая отстать от Катруси. Да как было и верить чужим наговорам? Милая девушка смотрела на него так невинно, так добросердечно, улыбалась ему так умильно, что хотя бы целый Киев собрался на площади у Льва и присягнул в

---

[1] *Ярчук* — собака, родившаяся с шестью пальцами и, по малороссийскому поверью, имеющая природный дар узнавать ведьм по духу, даже кусать их. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

[2] *Кагал* — синагога или сборище. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

том, что мать ее точно ведьма,— и тогда бы Федор не поверил этому.

Он ввел молодую хозяйку в свой дом. Старая Ланцюжиха осталась в своей хате одна и отказалась от приглашения своего зятя перейти к нему на житье, дав ему такой ответ, что ей, по старым ее привычкам, нельзя было б ужиться с молодыми людьми. Федор Блискавка не мог нарадоваться, глядя на милую жену свою, не мог нахвалиться ею. И жаркие ласки, и пламенные поцелуи, и угодливость ее мужу своему, и досужество в домашнем быту — все было по сердцу нашему казаку. Странно казалось ему только то, что жена его среди самых сладостных излияний супружеской нежности вдруг иногда становилась грустна, тяжело вздыхала и даже слезы навертывались у ней на глазах; иногда же он подмечал такие взоры больших черных ее глаз, что у него невольно холод пробегал по жилам. Особливо замечал он это под исход месяца. Тогда жена его делалась мрачною, отвечала ему коротко и неохотно, и, казалось, какая-то тоска грызла ее за сердце. В это время все было не по ней: и ласки мужа, и приветы друзей его, и хозяйственные заботы; как будто божий мир становился ей тесен, как будто она рвалась куда-то, но с отвращением, с крайним насилием самой себе и словно по некоторому непреодолимому влечению. Порой заметно было, что она хотела в чем-то открыться мужу; но всякой раз тяжкая тайна залегала у ней в груди, теснила ее — и только смертная бледность, потоки слез и трепет всего ее тела открывали мужу ее, что тут было нечто непросто: более никакого признания не мог он от нее добиться. Катруся, вдруг овладев собою, оживлялась, начинала смеяться, играть как дитя и ласкать своего мужа больше прежнего; потом уверяла его, что это был болезненный припадок от порчи, брошенной на нее с малолетства дурным глазом какой-то злой старухи, но что это не бывает продолжительно. Федор верил ей, потому что любил жену свою и сверх того видал примеры подобной порчи или болезни.

Однако под исход месяца, с наступлением ночи всегда замечал он в жене своей необыкновенное беспокойство. Она, видимо, начинала чего-то бояться, поминутно вздрагивала и бледнела час от часу более. Хотел он дознаться причины тому, но это было сверх сил его: всякой раз, когда он с вечера подмечал в Катрусе какое-то душевное волнение, какую-то скрытую тревогу,— неразгадаемый, глубокий сон одолевал его, лишь только он припадал головою к подушкам. Сам ли он догадался или добрые люди надоуми-

ли, только однажды в такую ночь под исход месяца Федор, ложась в постелю, начал шарить рукой у себя под подушкой и нашел узелок каких-то трав. Едва он дотронулся до них рукою, вдруг почувствовал, что рука стала тяжелеть и кровь утихать в ней мало-помалу, как будто засыпая. Жена его на тот раз была занята хозяйственными хлопотами и не примечала за ним. Федор мигом отдернул форточку у окна и выбросил узелок. Дворная собака, лежавшая на *приспе*[1], вероятно, думала, что бросили ей кость или другую поживу; она встала, отряхнулась, с одного скачка очутилась над узелком и начала его обнюхивать; но только что понюхала, как зашаталась, упала и заснула крепким сном. «Эге! так вот от чего и я спал, дорогая моя женушка!» — подумал Федор. Сомнения его отчасти подтвердились; но чтобы совершенно убедиться в ужасной тайне и не навести подозрения жене своей, он притворился спящим и храпел так, как будто бы трое суток провел без сна. Катруся, возвратясь из клети, куда она выносила остатки ужина, подошла к своему мужу, положила руку на его грудь, поглядела ему в лицо и, тяжело вздохнув, отошла к печи. Федор Блискавка, не переставая храпеть изо всей силы, открыл до половины глаза и следил ими за своей женою. Он видел, как она развела в печи огонь, как поставила на уголья горшок с водою, как начала в него бросать какие-то снадобья, приговаривая вполголоса странные, дикие для слуха слова. Внимание Федора увеличивалось с каждою минутой: страх, гнев и любопытство боролись в нем; наконец последнее взяло верх. Притворяясь по-прежнему спящим, он высматривал, что будет далее.

Когда в горшке вода закипела белым ключом, то над ним как будто прошумела буря, как будто застучал крупный дождь, как будто прогремел сильный гром; наконец, раздалось из него пискливым и резким голосом, похожим на визг железа, чертящего по точилу, трижды слово: «Лети, лети, лети!» Тут Катруся поспешно натерлась какой-то мазью и улетела в трубу.

Дрожь проняла бедного казака, так что зуб на зуб не попадал. Теперь уже нет больше сомнения: жена его ведьма; он сам видел, как она снаряжалась, как отправилась на шабаш. На что решиться? В тогдашнем волнении чувств и тревоге душевной он ничего не мог придумать, даже недоставало у него ни на что смелости; лучше отложить до

[1] *Приспа* – завалина, земляная насыпь вокруг хаты. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

следующего раза, чтоб иметь время все обдумать, ко всему приготовиться и запастись отвагой. Так он и решился. Однако же бессонница его мучила, страх прогонял дремоту; ему все чудились какие-то отвратительные пугалища. Он ворочался на постеле, потом встал и ходил по хате; напрасно! сон бежал от него, в хате ему было душно. Он вышел на чистый воздух; тихая, прохладная ночь немного освежила его; месяц последним, бледным светом своим как будто прощался с землею до нового возрождения. При его чуть брезжущем свете Федор увидел спавшую собаку и подле ней заколдованный узелок. Чтоб избавиться от тяжкой бессонницы и скрыть от жены своей, что он проник в ее тайну, Федор поднял узелок двумя щепками; и вмиг собака встрепенулась, вскочила, потрясла головой и начала ласкаться к своему хозяину. Не теряя времени, молодой казак возвратился в хату, положил узелок под изголовье, прилег на него и заснул как убитый.

Когда он открыл глаза, то увидел, что Катруся лежала подле него. На лице ее не было заметно даже и следов вчерашнего исступления, ни в глазах ее той неистовой дикости, с которою она делала заклинания свои. Какая-то томная нега, какая-то тихая радость отражались в ее взорах и улыбке. Никогда еще не расточала она столько страстных поцелуев, столько детских ласк своему мужу, как в это утро. Словом: это была молодая, милая и любящая женщина, творение бесхитростное и младенчески-резвое, но отнюдь не та страшная чародейка, которую муж ее видел ночью. И казалось, это не было и не могло быть в ней притворством: она дышала только для любви, видела все счастие жизни только в милом друге своем. Уже казак начал колебаться мыслями: вправду ли случилось то, чему он был свидетелем? не сон ли такой привиделся ему ночью? не злой ли дух смущал его страшными грезами, чтобы отвратить его сердце от жены любимой?

Прошел и еще месяц. Катруся во все это время по-прежнему была домовитою хозяйкою, милою, веселою молодицей, ласковою, услужливою женой. Однако же Федор Блискавка обдумывал втайне, что́ должно ему было делать, и наконец надумался. Под исход месяца стал он прилежнее наблюдать за своей женою и заметил в ней те же самые признаки: и слезы, и тяжкие вздохи, и тайную тоску, и отвращение от всего, даже от ласк ее мужа, и порою дикий, неподвижный взор. Еще с вечера Федор объявил, что ему было душно в хате, и отворил оконце; когда же ложился в постелю, то, запустив руку под изголовье, выхватил узе-

лок и выбросил его на двор с такою же быстротою, с какою обыкновенно отбрасывал он горящий уголь, когда доставал его из печи, чтобы закурить трубку. Все это было исполнено мигом, так, что Катруся никак не могла сего заметить. Радуясь успеху, казак притворился спящим и захрапел, как и в первый раз. Жена таким же образом подошла к постели и поглядела ему в лицо, положила руку на его грудь, наклонилась, поцеловала мужа своего, и он почувствовал, что горячая слеза упала ему на щеку. Потом, с тяжким вздохом и отирая себе глаза рукавом тонкой сорочки, она принялась за богоотступное свое дело. Внимание казака, подкрепляемое твердою его решимостью и отвагой, на сей раз удвоилось. Он присматривался, где и какие снадобья брала жена его, вслушивался в чудные слова и затвердил их. Уже ничто не было ему страшно: ни пламенное, неистовое лицо и сверкающие глаза жены, ни рев бури, ни гром, ни резкий, отвратительный голос из горшка. И едва молодая ведьма исчезла в трубу, муж ее вскочил с постели, подбросил новых дров на потухавшие уголья, налил свежей воды в горшок и поставил его на огонь. Потом отыскал небольшой ларец, спрятанный под лавкою в подполье и закладенный каменьями, раскрыл его — и остолбенел от ужаса и омерзения. Там были человеческие кости и волосы, сушеные нетопыри и жабы, скидки змеиной кожи, волчьи зубы, чертовы пальцы[1], осиновые уголья, кости черной кошки, множество разных невиданных раковин, сушеных трав и кореньев и... всего нельзя припомнить. Победив свое отвращение, Федор схватил полную горсть сих колдовских припасов и бросил их в котел, приговаривая те слова, которые перенял у жены своей. Но когда котел начал кипеть, то Федор почувствовал, что лицо его кривлялось и подергивалось, как от судороги, глаза искосились, волосы поднялись дыбом, в груди как будто кто стучал молотком, и все кости его хрупали в суставах. После сего он пришел в какое-то исступление ума, ощутил в себе непомерную отвагу, нечто похожее на крайнюю степень опьянения; в глазах его попеременно мелькали яркие искры, светлые полосы, какие-то дивные, уродливые призраки; над ним и буря злилась, и дождь шумел, и гром гремел — но он уже ничего не боялся. И когда услышал зычный, резкий голос из горшка и слово: «Лети, лети, лети!», то, не

[1] *Чертов палец* — ископаемое, находимое весьма часто в Украине. Оно имеет вид конический и цветом похоже на нечистый янтарь. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

владея собою от бешенства, торопливо схватил коробочку с мазью, натер себе руки, ноги, лицо и грудь... и вмиг какая-то невидимая сила схватила его и бросила в трубу. Это быстрое движение заняло у него дух и отбило память. Когда же он очувствовался, то увидел себя под открытым небом, на Лысой горе, за Киевом...

Что там увидел наш удалой казак, того, верно, кроме его ни одному православному христианину не доводилось видеть; да и не приведи бог! И страх, и смех пронимали его попеременно: так ужасно, так уродливо было сборище на Лысой горе! По счастью, неподалеку от Федора Блискавки стоял огромный костер осиновых дров: он припал за этот костер и оттуда выглядывал, как мышь из норки своей выглядывает в хату, которая наполнена людьми и кошками.

На самой верхушке горы было гладкое место, черное, как уголь, и голое, как безволосая голова старого деда. От этого и гора прозвана была Лысою. Посреди площади стояли подмостки о семи ступенях, покрытые черным сукном. На них сидел пребольшой медведь с двойною обезьяньею мордой, козлиными рогами, змеиным хвостом, ежовою щетиной по всему телу, с руками остова и кошачьими когтями на пальцах. Вокруг него, поодаль от площадки кипел целый базар ведьм, колдунов, упырей, оборотней, леших, водяных, домовых и всяких чуд невиданных и неслыханных. Там великан-жид сидел на корточках перед цимбалами величиною с барку, на которых струны были не тоньше каната; жид колотил по ним большими граблями, потряхивая остроконечною своей бородою, хлопая глазами и кривляя свою рожу, и без того очень гадкую. Инде целая ватага чертенят, один другого гнуснее и неуклюжее, стучала в котлы, барабанила в бочонки, била в железные тарелки и горланила во весь рот. Тут вереницы старых, сморщенных как гриб ведьм водила *журавля*[1], приплясывая, стуча *гоцки*[2] сухими своими ногами, так что звон от костей раздавался кругом, и припевая таким голосом, что хоть уши зажми. Далее долговязые лешие пускались вприсядку с карликовыми домовыми. В ином месте беззубые, дряхлые ведьмы верхом на метлах, лопатах и ухватах чинно и важно, как знатные паньи, танцевали польской с седыми, безобразными колдунами, из которых иной от старости гнулся в дугу, у другого нос перегибался через

---

[1] *Журавель* — малороссийская пляска, род линного польского, только гораздо живее; танцуется попарно. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

[2] *Гоцки* — гоц-гоц! Чоканье ногой об ногу. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

губы и цеплялся за подбородок; у третьего по краям рта торчали остальные два клыка, у четвертого на лбу столько было морщин, сколько волн ходит по Днепру в бурную погоду. Молодые ведьмы с безумным, неистовым смехом и взвизгиваньем, как пьяные бабы на *веселье*[1], плясали *горлицу* и *метелицу*[2] с косматыми водяными, у которых образины на два пальца покрыты были тиной; резвые, шаловливые русалки носились в *дудочке*[3] с упырями, на которых и посмотреть было страшно. Крик, гам, топот, возня, пронзительный скрып и свисты адских гудков и *сопелок*[4], пенье и визг чертенят и ведьм — все это было буйно, дико, бешено; и со всем тем видно было, что сия страшная сволочь от души веселилась.

Федор Блискавка из своей засады смотрел на это, и жутко ему было, так что холод сжимал всю внутренность. Невдалеке от себя увидел он и тещу свою, Ланцюжиху, с одним заднепровским пасечником, о котором всегда шла недобрая молва, и старую Одарку Швойду, торговавшую *бубликами*[5] на Подольском базаре, с девяностолетним крамарем Артюхом Холозием, которого все почитали чуть не за святого: так этот окаянный ханжа умел прикидываться набожным и смиренником; и нищую калеку Мотрю, побиравшуюся по улицам киевским, где люди добрые принимали ее за юродивую и прозвали *Дзыгой*[6], а здесь она шла рука об руку с богатым скрягою, паном Крупкою, которого незадолго перед тем казаки выжили из Киева и которого сами земляки его, ляхи, ненавидели за лихоимство. И мало ли кого там видел Федор Блискавка из своих знакомых, даже таких людей, о которых прежде бы никак не поверил, что они служат нечистому, хоть бы отец родной уверял его в том под присягой. Вся эта шайка пожилых ведьм и колдунов пускалась в плясовую так задорно, что пыль вилась столбом и что самым завзятым казакам и самым лихим молодицам было бы на зависть. Немного в стороне оттуда увидел Федор и свою жену. Катруся отхватывала казачка с плечистым и круторогим лешим, который скалил зубы и подмигивал ей, а она усмехалась и вилась

---

[1] *Веселье* (висилье) — свадьба, свадебный пир. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

[2] *Горлица и метелица* — малороссийские пляски; танцуются кадрилью. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

[3] *Дудочка* — тоже пляска, живая и быстрая. По большей части две женщины танцуют ее с одним мужчиной. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

[4] *Сопелка* — дудка, свирель. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

[5] *Бублики* — калачи или крендели. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

[6] *Дзыга* — волчок или юла, игрушка. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

перед ним, как юла. Федор, в гневе и ревности, хотел было броситься на нее и на рогатого плясуна и порядком потузить обоих; но, подумав, удержался и сделал умно. Где бы ему было сладить с целым чертовским кагалом, который, верно, напал бы на него, и тогда поминай как звали.

Вдруг раздался как внезапный порыв бури густой, сиповатый рев черного медведя, сидевшего на подмостках,— и покрыл собою все: и звон гудков и цимбалов, и свист волынок и сопелок, и гарканье, хохот и говор веселившейся толпы. Все утихло: каждый из плясунов, подняв в эту минуту одну ногу, как будто прирос на другой к своему месту; те из них, которые подпрыгнули вверх, так и остались на воздухе; отворенные рты не успели сомкнуться, поднятые в пляске руки и вздернутые вверх плеча и головы не успели опуститься; грабли жида на цимбалах и смычки чертенят на гудках словно окаменели у струн. Черный медведь протянул костяную руку — и мигом все запели:

Высоки скоки
В сороки,
Низки поклоны
В вороны[1],—

подскокнули снова вверх и повалились на землю, головами к тому месту, где сидел медведь. «Ах ты, проклятое племя! — шептал про себя Федор Блискавка.— Оно же еще смеет и кощунствовать над обрядами православных и напевать честные *весельные* песни на своем мерзкостном шабаше перед этим уродом, в насмешку над добрыми людьми! Чтоб вы все провалились в тартарары, да и женушка моя с вами; чтоб вам всем по горячей *пекельной*[2] головне в глотку: тогда бы небось позабыли вы горланить и запели бы иную песню, чертова челядь!»

Черный медведь долго принюхивался во все стороны и наконец проревел, как из бочки: «Здесь есть чужой дух!» В минуту все всполошилось: нечистые духи, ведьмы, колдуны, упыри, русалки — все бросились искать с зверскими, кровавыми глазами, с пеною бешенства на губах. И Катруся — Катруся была из первых! Сердце замерло у Федора, холод пронимал его до костей. «Теперь-то,— думал казак,— настал мой смертный час!» Прижавшись вплоть к земле за дровами, он, ни жив ни мертв, выгляды-

---

[1] *Свадебная песня.*— Заметим, что здесь предлог *в* заменяет предлог *у* русского языка. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

[2] *Пекельный* — адский. *Пекло* — ад, от глагола: пеку, печь (по-малороссийски: *пекты*). *(Примеч. О. М. Сомова.)*

вал исподлобья. Вдруг видит: Катруся первая подбежала к тому месту, заглянула за костер, злобно сверкнула на мужа своим огненным взором, скрыпнула зубами... но в тот же миг сорвала с себя *намитку*, накинула на Федора, сунула под него лопату, провела пальцем черту по воздуху на Киев — и, прежде чем Федор опомнился, он уже лежал в своей хате на постеле.

Когда чувства его поуспокоились, он сел на постелю, как человек, едва выздоравливающий от горячки, в которой грезились ему страшные мечты. Скоро мысли его приняли течение более правильное: он припоминал себе и страхи, и смешное, отвратительное гаерство прошлой ночи, и жену свою, с ее любовью, с ее нежными ласками, с ее заботливостью о нем и о доме, с ее детскою игривостью... «И все это было только притворство! — думал он.— Все это нашептывала ей нечистая сила, чтобы лучше меня обмануть». То вдруг представлялась ему жена в минуту чародейских обрядов, то опять сверкала на него огненным взором и скрежетала зубами, как на Лысой горе... В задумчивости он и не приметил, что жена стояла подле него. Федор, взглянув на нее, вздрогнул, словно босою ногою наступил на змею. Катруся была бледна и томна, губы ее помертвели, глаза покраснели от слез, которые ручьями текли по ее лицу.

— Федор! — сказала она печально.— Зачем ты подсматривал, что́ я делала? зачем, не спросясь меня, пускался на Лысую гору? зачем не хотел довериться жене своей?.. Бог с тобою! ты сам растоптал наше счастие!..

— Прочь от меня, змея, злодейка, ведьма богомерзкая! — отвечал Федор с негодованием и отвращением.— Ты опять хочешь меня обойти бесовскою лестью?.. Так нет, не надейся!

— Послушай, Федор,— подхватила она, обвив его руками вокруг тела, припав головою к нему на грудь и умильно смотря ему в глаза.— Послушай! Не я виновата, мать моя всему виною: она неволей отвела меня на шабаш, неволей обрекла в ведьмы и вымучила из меня страшную клятву... Мне было тогда еще четырнадцать лет. И тогда я нехотя летала на шабаш, боясь матери: ведьмы и все их проклятые обряды и все их проклятые повадки были мне как острый нож, а от одной мысли про шабаш мутило у меня на душе. Суди же, каковы они были для меня, когда ты стал моим мужем — ты, кого люблю я, как душу, как свое спасенье на том свете... Не раз хотела я отшатнуться от шабаша, не бывать на нем; только под исход месяца

чем больше я о том думала, тем больше меня мучила тоска несказанная. Ты сам знаешь, каково мне тогда бывало... Не приведи бог и татарину того вытерпеть!.. И сколько я ни силилась одолеть тоску-злодейку, сколько ни отмаливалась — ничто не помогало! Все мне и днем, и ночью кто-то надувал в уши про шабаш, все мне так и мерещилось, чтоб быть там. А наступал срочный день — какая-то невидимая сила так и тянула меня туда назло моей воле. Когда же я прилетала на Лысую гору, там меня словно дурь охватывала: буйно бросалась я в толпу ведьм, колдунов и всей бесовщины, сама себя не помнила, что делала, и не могла не делать того, что другие... Как бога с небес, ждала я страстной недели: тогда кинулась бы я в ноги чернецам божьим и упросила бы их, чтобы заперли меня на все последние три дня в Пещерах, до самой воскресной заутрени, и отмолили бы от меня бесовское наваждение... Теперь это поздно! Ты, милый муж мой, сокол мой ясный! ты сам погубил и меня, и себя и навеки затворил от меня двери райские...

— Так живи же с своими *родичами*[1], лешими да русалками, коли запал тебе след туда, где веселятся души христианские!.. Сгинь отсюда! оставь меня...

— Не властна я тебя оставить! — перервала его Катруся, сжав его еще крепче в объятиях и, так сказать, приросши к нему.— Я тебе сказала, что на мне лежит страшная клятва... В силу этой клятвы кто бы ни был из близких нам: муж ли, брат ли, отец ли... кто бы ни был тот, кто подсмотрит наши обряды,— но мы должны... ох! тяжело сказать!.. должны высосать до капли кровь его...

— Пей же мою кровь!.. Мне тошно жить на свете! Что мне в жизни?.. Одна мне приглянулась, стала моей женою; любил я ее пуще красного дня, пуще радости, и та обманула меня и чуть не породнила с бесовщиной... Все мне постыло на этом свете... Пей же, соси мою кровь!

— И мне не жить после тебя на свете! Увидит то душа твоя. Грустно мне, тяжко мне, что злая доля развела нас и здесь, и там...

Катруся зарыдала и упала в ноги мужу.

— Об одном только прошу тебя,— продолжала она,— погляди на меня умильно, дай на тебя насмотреться, поцелуй меня впоследние и прижми к своему сердцу, как прижимал тогда, когда любил меня!

Добрый Федор был тронут слезными просьбами жены

---

[1] *Родич* — родня, родственник. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

своей. Он ласково взглянул на нее, обнял ее, и уста их слиплись в один долгий, жаркий поцелуй... В ту же минуту она рукою искала его сердца по биению... Вдруг какая-то острая, огненная искра проникла в сердце Федора; он почувствовал и боль, и приятное томление. Катруся припала к его сердцу, прильнула к нему губами; и между тем, как Федор истаивал в неге какого-то роскошного усыпления, Катруся, ласкаясь, спросила у него: «Сладко ли так засыпать?»

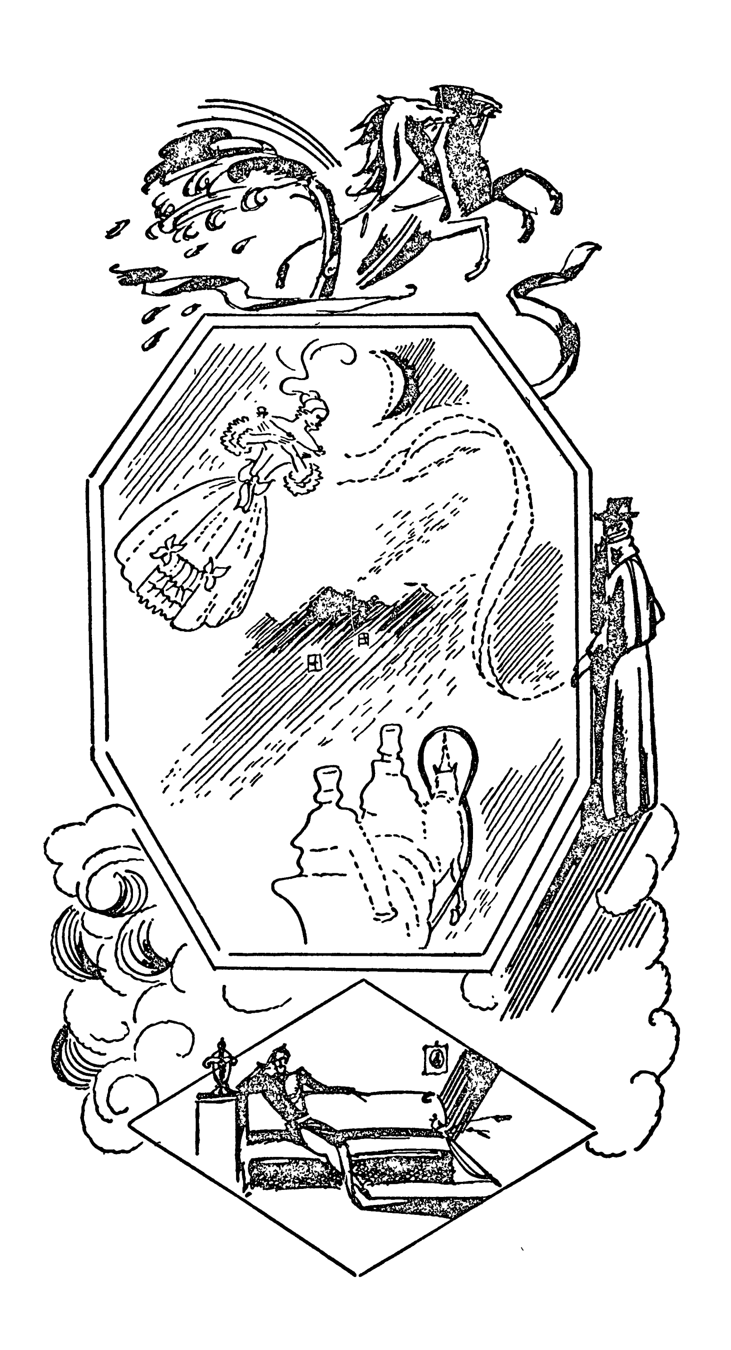
— Сладко!..— отвечал он чуть слышным лепетом — и уснул навеки.

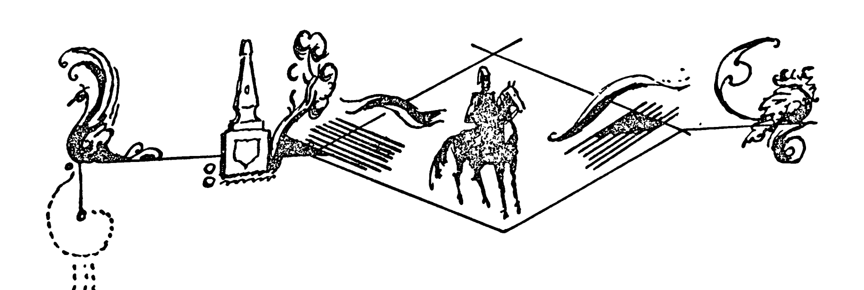
Тело казака похоронено было с честью усердными его товарищами. Ни жены, ни тещи его никто не видел на погребении; но в следующую ночь жители Киева сбежались на пожар: хата Федора Блискавки сгорела дотла. Тогда же видно было другое зарево от Лысой горы, и смельчаки, отважившиеся на другой день посмотреть вблизи, уверяли, что на горе уже не было огромного костра осиновых дров, а на месте его лежала только груда пеплу, и зловонный, серный дым стлался по окружности. Носилась молва, будто бы ведьмы сожгли на этом костре молодую свою сестру, Катрусю, за то, что она отступилась от кагала и хотела, принеся христианское покаяние, пойти в монастырь; и что будто бы мать ее, старая Ланцюжиха, первая подожгла костер. Как бы то ни было, только ни Катруси, ни Ланцюжихи не стало в Киеве. О последней говорили, что она оборотилась в волчицу и бегала за Днепром по бору.

Теперь Лысая гора есть только песчаный холм, от подошвы поросший кустарником. Видно, ведьмы ее покинули, и от того она просветлела.

<1833>


Александр Бестужев -
Марлинский







СТРАШНОЕ ГАДАНЬЕ

Рассказ

Посвящается
Петру Степановичу Лутковскому

Давно уже строптивые умы
Отринули возможность духа тьмы;
Но к чудному всегда наклонным сердцем,
Друзья мои, кто не был духоверцем?



...Я был тогда влюблен, влюблен до безумия. О, как обманывались те, которые, глядя на мою насмешливую улыбку, на мои рассеянные взоры, на мою небрежность речей в кругу красавиц, считали меня равнодушным и хладнокровным. Не ведали они, что глубокие чувства редко проявляются именно потому, что они глубоки; но если б они могли заглянуть в мою душу и, увидя, понять ее,— они бы ужаснулись! Все, о чем так любят болтать поэты, чем так легкомысленно играют женщины, в чем так стараются притвориться любовники, во мне кипело, как растопленная медь, над которою и самые пары, не находя истока, зажигались пламенем. Но мне всегда были смешны до жалости притворные вздыхатели со своими пряничными сердцами; мне были жалки до

презрения записные волокиты со своим зимним восторгом, своими заученными изъяснениями, и попасть в число их для меня казалось страшнее всего на свете.

Нет, не таков был я; в любви моей бывало много странного, чудесного, даже дикого; я могу быть не понят или непонятен, но смешон — никогда. Пылкая, могучая страсть катится как лава; она увлекает и жжет все встречное; разрушаясь сама, разрушает в пепел препоны и хоть на миг, но превращает в кипучий котел даже холодное море.

Так любил я... назовем ее хоть Полиною. Все, что женщина может внушить, все, что мужчина может почувствовать, было внушено и почувствовано. Она принадлежала другому, но это лишь возвысило цену ее взаимности, лишь более раздражило слепую страсть мою, взлелеянную надеждой. Сердце мое должно было расторгнуться, если б я замкнул его молчанием: я опрокинул его, как переполненный сосуд, перед любимою женщиною; я говорил пламенем, и моя речь нашла отзыв в ее сердце. До сих пор, когда я вспомню об уверении, что я любим, каждая жилка во мне трепещет, как струна, и если наслаждения земного блаженства могут быть выражены звуками, то, конечно, звуками подобными! Когда я прильнул в первый раз своими устами к руке ее,— душа моя исчезла в этом прикосновении! Мне чудилось, будто я претворился в молнию: так быстро, так воздушно, так пылко было чувство это, если это можно назвать чувством.

Но коротко было мое блаженство: Полина была столько же строга, как прелестна. Она любила меня, как никогда я еще не был любим дотоле, как никогда не буду любим вперед: нежно, страстно и безупречно... То, что было заветно мне, для нее стоило более слез, чем мне самому страданий. Она так доверчиво предалась защите моего великодушия, так благородно умоляла спасти самое себя от укора, что бесчестно было бы изменить доверию.

— Милый! мы далеки от порока,— говорила она,— но всегда ли далеки от слабости? Кто пытает часто силу, тот готовит себе падение; нам должно как можно реже видеться!

Скрепя сердце, я дал слово избегать всяких встреч с нею.

И вот протекло уже три недели, как я не видал Полины. Надобно вам сказать, что я служил еще в Северском конноегерском полку, и мы стояли тогда в Орловской гу-

бернии... позвольте умолчать об уезде. Эскадрон мой расположен был квартирами вблизи поместьев мужа Полины. О самых святках полк наш получил приказание выступить в Тульскую губернию, и я имел довольно твердости духа уйти не простясь. Признаюсь, что боязнь изменить тайне в присутствии других более, чем скромность, удержала меня. Чтоб заслужить ее уважение, надобно было отказаться от любви, и я выдержал опыт. Напрасно приглашали меня окрестные помещики на прощальные праздники; напрасно товарищи, у которых тоже, едва ль не у каждого, была сердечная связь, уговаривали возвратиться с перехода на бал,— я стоял крепко.

Накануне Нового года мы совершили третий переход и расположились на дневку. Один-одинехонек, в курной хате, лежал я на походной постели своей, с черной думой на уме, с тяжелой кручиной в сердце. Давно уж не улыбался я от души, даже в кругу друзей: их беседа стала мне несносна, их веселость возбуждала во мне желчь, их внимательность — досаду за безотвязность; стало быть, тем раздольнее было мне хмуриться наедине, потому что все товарищи разъехались по гостям; тем мрачнее было в душе моей: в нее не могла запасть тогда ни одна блестка наружной веселости, никакое случайное развлечение.

И вот прискакал ко мне ездовой от приятеля, с приглашением на вечер к прежнему его хозяину, князю Львинскому. Просят непременно: у них пир горой; красавиц — звезда при звезде, молодцов рой, и шампанского разливанное море. В приписке, будто мимоходом, извещал он, что там будет и Полина. Я вспыхнул... Ноги мои дрожали, сердце кипело. Долго ходил я по хате, долго лежал, словно в забытьи горячки; но быстрина крови не утихала, щеки пылали багровым заревом, отблеском душевного пожара; звучно билось ретивое в груди. Ехать или не ехать мне на этот вечер? Еще однажды увидеть ее, дыхнуть одним с нею воздухом, наслушаться ее голоса, молвить последнее *прости*! Кто бы устоял против таких искушений? Я кинулся в обшивни и поскакал назад, к селу князя Львинского. Было два часа за полдень, когда я поехал с места. Проскакав двадцать верст на своих, я взял потом со станции почтовую тройку и еще промчался двадцать две версты благополучно. С этой станции мне уже следовало своротить с большой дороги. Статный молодец на лихих конях взялся меня доставить в час за восемнадцать верст, в село княжое.

Я сел,— катай!

Уже было темно, когда мы выехали со двора, однако ж улица кипела народом. Молодые парни, в бархатных шапках, в синих кафтанах, расхаживали, взявшись за кушаки товарищей; девки в заячьих шубах, крытых яркою китайкою, ходили хороводами; везде слышались праздничные песни, огни мелькали во всех окнах, и зажженные лучины пылали у многих ворот. Молодец, извозчик мой, стоя в заголовке саней, гордо покрикивал: «Пади!» и, охорашиваясь, кланялся тем, которые узнавали его, очень доволен, слыша за собою: «Вон наш Алеха катит! Куда, сокол, собрался?» и тому подобное. Выбравшись из толпы, он обернулся ко мне с предуведомлением:

— Ну, барин, держись! — Заложил правую рукавицу под левую мышку, повел обнаженной рукой над тройкою, гаркнул — и кони взвились как вихрь! Дух занялся у меня от быстроты из поскока: они понесли нас.

Как верткий челнок на валах, кувыркались, валялись и прыгали сани в обе стороны; извозчик мой, упершись в валек ногою и мощно передергивая вожжами, долго боролся с запальчивою силою застоявшихся коней; но удила только подстрекали их ярость. Мотая головами, взбросив дымные ноздри на ветер, неслись они вперед, взвивая метель над санями. Подобные случаи столь обыкновенны для каждого из нас, что я, схватясь за облучок, преспокойно лежал внутри и, так сказать, любовался этой быстротой путешествия. Никто из иностранцев не может постичь дикого наслаждения — мчаться на бешеной тройке, подобно мысли, и в вихре полета вкушать новую негу самозабвения. Мечта уж переносила меня на бал. Боже мой, как испугаю и обрадую я Полину своим неожиданным появлением! Меня бранят, меня ласкают; мировая заключена, и я уж несусь с нею в танцах... И между тем свист воздуха казался мне музыкою, а мелькающие изгороди, леса — пестрыми толпами гостей в бешеном вальсе... Крик извозчика, просящего помощи, вызвал меня из очарования. Схватив две вожжи, я так скрутил голову коренной, что, упершись вдруг, она едва не выскочила из хомута. Топча и фыркая, остановились, наконец, измученные бегуны, и когда опало облако инея и ветерок разнес пар, клубящийся над конями:

— Где мы? — спросил я у ямщика, между тем как он перетягивал порванный чересседельник и оправлял сбрую.

Ямщик робко оглянулся кругом.

— Дай бог памяти, барин! — отвечал он.— Мы уж давно своротили с большой дороги, чтобы упарить по сугробу гнедышей, и я что-то не признаюсь к этой околице. Не ведь это Прошкино Репище, не ведь Андронова Пережога?

Я не подвигался вперед ни на полвершка от его топографических догадок; нетерпение приехать меня одолевало, и я с досадою бил нога об ногу, между тем как мой парень бегал отыскивать дорогу.

— Ну, что?

— Плохо, барин! — отвечал он.— В добрый час молвить, в худой помолчать, мы никак заехали к Черному озеру!

— Тем лучше, братец! Коли есть примета, выехать недолга песня; садись и дуй в хвост и в гриву!

— Какое лучше, барин; эта примета заведет невесть куда,— возразил ямщик.— Здесь мой дядя видел русалку: слышь ты, сидит на суку, да и покачивается, а сама волосы чешет, косица такая, что страсть; а собой такая смазливая — загляденье, да и только. И вся нагая, как моя ладонь.

— Что ж, поцеловал ли он красавицу? — спросил я.

— Христос с тобой, барин, что ты это шутишь? Подслушает она, так даст поминку, что до новых веников не забудешь. Дядя с перепугу не то чтобы зааминить али зачурать ее, даже ахнуть не успел, как она, завидя его, захохотала, ударила в ладоши, да и бульк в воду. С этого сглазу, барин, он бродил целый день вокруг да около, и когда воротился домой, едва языка допыталися: мычит по-звериному, да и только! А кум Тимоша Кулак ономесь повстречал тут оборотня; слышишь ты, скинулся он свиньей, да то и знай мечется под ноги! Хорошо, что Тимоша и сам в чертовщине силу знает: как поехал на ней чехардой, да и ухватил за уши, она и пошла его мыкать, а сама визжит благим матом; до самых петухов таскала, и уж на рассвете нашли его под съездом у Гаврюшки, у того, что дочь красовита. Да то ли здесь чудится!.. Серега косой как порасскажет...

— Побереги свои побасенки до другого случая,— возразил я; — мне, право, нет времени да нет и охоты пугаться!.. Если ты не хочешь, чтоб русалка защекотала тебя до смерти, или не хочешь ночевать с карасями под льдяным одеялом, то ищи скорей дороги.

Мы брели целиком, в сугробах выше колена. На беду нашу небо задернуто было пеленою, сквозь которую тихо

сеялся пушистый иней; не видя месяца, нельзя было узнать, где восток и где запад. Обманчивый отблеск, между перелесками, заманивал нас то вправо, то влево... Вот-вот, думаешь, видна дорога... Доходишь — это склон оврага или тень какого-нибудь дерева! Одни птичьи и заячьи следы плелись таинственными узлами по снегу. Уныло звучал на дуге колокольчик, двоя каждый тяжелый шаг, кони ступали, повесив головы; извозчик, бледный как полотно, бормотал молитвы, приговаривая, что нас обошел леший, что нам надобно выворотить шубы вверх шерстью и надеть наизнанку — все до креста. Я тонул в снегу и громко роптал на все и на всех, выходя из себя с досады, а время утекало,— и где конец этому проклятому пути?! Надобно быть в подобном положении, надобно быть влюблену и спешить на бал, чтобы вообразить весь гнев мой в то время... Это было бы очень смешно, если б не было очень опасно.

Однако ж досада не вывела нас на старую дорогу и не проторила новой; образ Полины, который танцевал передо мною, и чувство ревности, что она вертится теперь с каким-нибудь счастливцем, слушает его ласкательства, может быть, отвечает на них, нисколько не помогали мне в поисках. Одетый тяжелою медвежьею шубою, я не иначе мог идти, как нараспашку, и потому ветер проницал меня насквозь, оледеняя на теле капли пота. Ноги мои, обутые в легкие танцевальные сапоги, были промочены и проморожены до колен, и дело уж дошло до того, что надобно было позаботиться не о бале, а о жизни, чтоб не кончить ее в пустынном поле. Напрасно прислушивались мы: нигде отрадного огонька, нигде голоса человеческого, даже ни полета птицы, ни шелеста зверя. Только храпение наших коней, или бой копыта от нетерпения, или, изредка, бряканье колокольца, потрясаемого уздою, нарушали окрестное безмолвие. Угрюмо стояли кругом купы елей, как мертвецы, закутанные в снежные саваны, будто простирая к нам оледенелые руки; кусты, опушенные клоками инея, сплетали на бледной поверхности поля тени свои; утлые, обгорелые пни, вея седыми космами, принимали мечтательные образы; но все это не носило на себе следа ноги или руки человеческой... Тишь и пустыня окрест!

Молодой извозчик мой одет был вовсе не по-дорожному и, проницаемый не на шутку холодом, заплакал.

— Знать, согрешил я перед богом,— сказал он,— что наказан такой смертью; умрешь, как татарин, без испове-

ди! Тяжело расставаться с белым светом, только раздувши пену с медовой чаши; да и куда бы ни шло в посту, а то на праздниках. То-то взвоет белугой моя старуха! То-то наплачется моя Таня!

Я был тронут простыми жалобами доброго юноши; дорого бы я дал, чтобы так же заманчива, так же мила была мне жизнь, чтобы так же горячо веровал я в любовь и верность. Однако ж, чтоб разгулять одолевающий его сон, я велел ему снова пуститься в ход наудачу, сохраняя движением теплоту. Так шли мы еще полчаса, как вдруг парень мой вскрикнул с радостию:

— Вот он, вот он!

— Кто он? — спросил я, прыгая по глубокому снегу ближе.

Ямщик не отвечал мне; упав на колени, он с восторгом что-то рассматривал; это был след конский. Я уверен, что ни один бедняк не был столь рад находке мешка с золотом, как мой парень этому верному признаку и обету жизни. В самом деле, скоро мы выбрались на бойкую дрововозную дорогу; кони, будто чуя ночлег, радостно́ наострили уши и заржали; мы стремглав полетели по ней куда глаза глядят. Через четверть часа были уже в деревне, и как мой извозчик узнал ее, то привез прямо к избе зажиточного знакомого ему крестьянина.

Уверенность возвратила бодрость и силы иззябшему парню, и он не вошел в избу, покуда не размял беганьем на улице окоченевших членов, не оттер снегом рук и щек, даже покуда не выводил коней. У меня зашлись одни ноги, и потому, вытерши их в сенях докрасна суконкою, я через пять минут сидел уже под святыми, за набранным столом, усердно потчуемый радушным хозяином и попав вместо бала на сельские посиделки.

Сначала все встали; но, отдав мне чинный поклон, уселись по-прежнему и только порой, перемигиваясь и перешептываясь между собою, кажется, вели слово о нежданном госте. Ряды молодиц в низанных киках, в кокошниках и красных девушек в повязках разноцветных, с длинными косами, в которые вплетены были треугольные подкосники с подвесками или златошвейные ленты, сидели по лавкам очень тесно, чтоб не дать между собою места лукавому — разумеется, духу, а не человеку, потому что многие парни нашли средство втереться между. Молодцы в пестрядинных или ситцевых рубашках, с косыми галунными воротками и в суконных кафтанах увивались около или, собравшись в кучки, пересмехались, щелкали

орешки, и один из самых любезных, сдвинув набекрень шапку, бренчал на балалайке «Из-под дубу, из-под вязу». Седобородый отец хозяина лежал на печи, обратясь лицом к нам, и, качая головой, глядел на игры молодежи; для рам картины, с полатей выглядывали две или три живописные детские головки, которые, склонясь на руки и зевая, посматривали вниз. Гаданья на Новый год пошли обычной своей чередою. Петух, пущенный в круг, по обводу которого насыпаны были именные кучки овса и ячменя с зарытыми в них кольцами, удостоив из которой-нибудь клюнуть, возвещал неминуемую свадьбу для гадателя или загадчицы... Накрыв блюдом чашу, в которой лежали кусочки с наговорным хлебом, уголья, значение коих я никак не мог добиться, и перстни да кольца девушек, все принялись за подблюдные песни, эту лотерею судьбы и ее приговоров. Я грустно слушал звучные напевы, коим вторили в лад потрясаемые жеребьи в чаше.

Слава богу на небе,
Государю на сей земле!
Чтобы правда была
Краше солнца светла;
Золотая ж казна
Век полным-полна!
Чтобы коням его не изъезживаться,
Его платьям цветным не изнашиваться,
Его верным вельможам не стареться!
Уж мы хлебу поем,
Хлебу честь воздаем!
Большим-то рекам слава до моря,
Мелким речкам — до мельницы!
Старым людям на потешенье,
Добрым молодцам на услышанье.

Расцветали в небе две радуги,
У красной девицы две радости,
С милым другом совет,
И растворен подклет!

Щука шла из Новагорода,
Хвост несла из Бела озера;
У щуки головка серебряная,
У щуки спина жемчугом плетена,
А наместо глаз — дорогой алмаз!

Золотая парча развевается —
Кто-то в путь во дорогу собирается.

Всякому сулили они добро и славу, но, отогревшись, я не думал дослушивать бесконечных и неминуемых заветов подблюдных; сердце мое было далеко, и я сам бы

лётом полетел вслед за ним. Я стал подговаривать молодцов свезти меня к князю. К чести их, хотя к досаде своей, должно сказать, что никакая плата не выманила их от забав сердечных. Все говорили, что у них лошаденки плохие или измученные. У того не было санок, у другого подковы без шипов, у третьего болит рука.

Хозяин уверял, что он послал бы сына и без прогонов, да у него пара добрых коней повезла в город заседателя... Чарки частые, голова одна, и вот уж третий день, верно, праздничают в околице.

— Да изволишь знать, твоя милость,— примолвил один краснобай, встряхнув кудрями,— теперь уж ночь, а дело-то святочное. Уж нашто у нас храбрый народ девки: погадать ли о суженом — не боятся бегать за овины, в поле слушать колокольного свадебного звону, либо в старую баню, чтоб погладил домовой мохнатой лапою на богачество, да и то сегодня хвостики прижали... Ведь канун-то Нового года чертям сенокос.

— Полно тебе, Ванька, страхи-то рассказывать! — вскричало несколько тоненьких голосков.

— Чего полно? — продолжал Ванька.— Спроси-ка у Оришки: хорош ли чертов свадебный поезд, какой она вчерась видела, глядясь за овинами на месяц в зеркало? Едут, свищут, гаркают... словно живьем воочью совершаются. Она говорит, один бесенок оборотился горенским старостиным сыном Афонькой да одно знай пристает: сядь да садись в сани. Из круга, знать, выманивает. Хорошо, что у ней ум чуть не с косу, так отнекалась.

— Нет, барин,— примолвил другой,— хоть рассыпь серебра, вряд ли кто возьмется свезти тебя! Кругом озера колесить верст двадцать будет, а через лед ехать без беды беда; трещин и полыней тьма; пошутит лукавый, так пойдешь карманами ловить раков.

— И ведомо,— сказал третий.— Теперь чертям скоро заговенье: из когтей друг у друга добычу рвут.

— Полно брехать,— возразил краснобай.— Нашел заговенье. Черный ангел, или, по-книжному, так сказать, Ефиоп, завсегда у каждого человека за левым плечом стоит да не смигнувши сторожит, как бы натолкнуть на грех. Не слыхали вы разве, что было у Пятницы на Пустыне о прошлых святках?

— А что такое? — вскричали многие любопытные.— Расскажи, пожалуйста, Ванюша; только не умори с ужасти.

Рассказчик оглянулся на двери, на окно, на лица слушателей, крякнул протяжно, оправил рукою кудри и начал:

— Дело было, как у нас, на посиделках. Молодцы окручались в личины, и такие хари, что и днем глядеть, за печку спрячешься, не то чтобы ночью плясать с ними. Шубы навыворот, носищи семи пядей, рога словно у сидоровой козы, а в зубах по углю, так и зияют. Умудрились, что петух приехал верхом на раке, а смерть с косою на коне. Петрушка-чеботарь спину представлял, так он мне все и рассказывал.

Вот разыгрались они, словно ласточки перед погодою; одному парню лукавый, знать, и шепнул на ухо: «Семь-ка, я украду с покойника, что в часовне лежит, саван да венец, окручусь в них, набелюся известкою, да и приду мертвецом на поседки». На худое мы не ленивы: скорей, чем сгадал, он в часовню слетал,— ведь откуда, скажите на милость, отвага взялась. Чуть не до смерти перепугал он всех: старый за малого прячется... Однако ж когда он расхохотался своим голосом да стал креститься и божиться, что он живой человек, пошел смех пуще прежнего страху. Тары да бары да сладкие разговоры, ан и полночь на дворе, надо молодцу нести назад гробовые обновки; зовет не дозовется никого в товарищи; как опала у него хмелина в голове, опустились и крылья соколиные: одному идти — страх одолевает, а приятели отпираются. Покойник давно слыл колдуном, и никто не хотел, чтобы черти свернули голову на затылок, свои следы считать. Ты, дескать, брал на прокат саван, ты и отдавай его; нам что за стать в чужом пиру похмелье нести.

И вот, не прошло двух мигов... послышали, кто-то идет по скрипучему снегу... прямо к окну: стук, стук...

— С нами крестная сила! — вскричала хозяйка, устремив на окно испуганные очи.— Наше место свято! — повторила она, не могши отвратить взглядов от поразившего ее предмета.— Вон, вон, кто-то страшный глядит сюда!

Девки с криком прижались одна к другой; парни кинулись к окну, между тем как те из них, которые были поробче, с выпученными глазами и открытым ртом поглядывали в обе стороны, не зная, что делать. В самом деле, за морозными стеклами как будто мелькнуло чье-то лицо... но когда рама была отперта — на улице никого не было. Туман, врываясь в избу, ходил коромыслом, затемняя на время блеск лучины. Все понемногу успокоились.

— Это вам почудилось,— сказал рассказчик, оправляясь сам от испуга; его голос был прерывен и неровен.— Да вот, дослушайте бывальщину: она уж и вся-то недолга. Когда переполошенные в избе люди осмелились да спросили: «Кто стучит?» — пришлец отвечал: «Мертвец пришел за саваном». Услышав это, молодец, окрученный в него, снял с себя гробовую пелену да венец и выкинул их за окошко. «Не принимаю! — закричал колдун, скрипя зубами.— Пускай где взял, там и отдаст мне». И саван опять очутился посреди избы. «Ты, насмехаючись, звал меня на посиделки,— сказал мертвец страшным голосом,— я здесь! Чествуй же гостя и провожай его до дому, до последнего твоего и моего дому». Все, дрожа, молились всем святым, а бедняга виноватый ни жив ни мертв сидел, дожидаясь злой гибели. Мертвец между тем ходил кругом, вопя: «Отдайте мне его, не то и всем несдобровать». Сунулся было в окошко, да, на счастье, косяки были святой водой окроплены, так его словно огнем обдало; взвыл да назад кинулся. Вот грянул он в вороты, и дубовый запор, как соль, рассыпался... Начал всходить по съезду... Тяжко скрипели бревна под ногою оборотня; собака с визгом залезала в сенях под корыто, и все слышали, как упала рука его на щеколду. Напрасно читали ему навстречу молитву от наваждения, от призора; однако ничто не забрало... Дверь со стоном повернулась на пятах, и мертвец шасть в избу!

Дверь избы нашей, точно, растворилась при этом слове, будто кто-нибудь подслушивал, чтобы войти в это мгновение. Нельзя описать, с каким ужасом вскрикнули гости, повскакав с лавок и столпясь под образами. Многие девушки, закрыв лицо руками, упали за спины соседок, как будто избежали опасности, когда ее не видно. Глаза всех, устремленные к порогу, ждали встретить там по крайней мере остов, закутанный саваном, если не самого нечистого с рогами; и в самом деле, клубящийся в дверях морозный пар мог показаться адским серным дымом. Наконец пар расступился, и все увидели, что вошедший имел вид совершенно человеческий. Он приветливо поклонился всей беседе, хотя и не перекрестился перед иконами. То был стройный мужчина в распашной сибирке, под которою надет был бархатный камзол; такие же шаровары спускались на лаковые сапоги; цветной персидский платок два раза обвивал шею, и в руках его была бобровая шапка с козырьком, особого вида. Одним словом, костюм его доказывал, что он или приказчик, или поверен-

ный по откупам. Лицо его было правильно, но бледно как полотно, и черные потухшие глаза стояли неподвижно.

— Бог помочь! — сказал он, кланяясь.— Прошу беседу для меня не чиниться, и тебя, хозяин, обо мне не заботиться. Я завернул в вашу деревню на минуту: надо покормить иноходца на перепутье; у меня вблизи дельце есть.

Увидев меня в мундире, он раскланялся очень развязно, даже слишком развязно для своего состояния, и скромно спросил, не может ли чем послужить мне? Потом, с позволения, подсев ко мне ближе, завел речь о том и о сем, пятом и десятом. Рассказы его были очень забавны, замечания резки, шутки ядовиты; заметно было, что он терся долго между светскими людьми как посредник запрещенных забав или как их преследователь,— кто знает, может быть, как блудный купеческий сын, купивший своим имением жалкую опытность, проживший с золотом здоровье и добрые нравы. Слова его отзывались какою-то насмешливостью надо всем, что люди привыкли уважать, по крайней мере наружно. Не из ложного хвастовства и не из лицемерного смирения рассказывал он про свои порочные склонности и поступки; нет, это уже был закоснелый, холодный разврат. Злая усмешка презрения ко всему окружающему беспрестанно бродила у него на лице, и когда он наводил свои пронзающие очи на меня, невольный холод пробегал по коже.

— Не правда ли, сударь,— сказал он мне после некоторого молчания,— вы любуетесь невинностию и веселостью этих простяков, сравнивая скуку городских балов с крестьянскими посиделками? И, право, напрасно. Невинности давно уж нету в помине нигде. Горожане говорят, что она полевой цветок, крестьяне указывают на зеркальные стекла, будто она сидит за ними, в позолоченной клетке; между тем как она схоронена в староверских книгах, которым для того только верят, чтоб побранить наше время. А веселость, сударь? Я, пожалуй, оживлю вам для потехи эту обезьяну, называемую вами веселостью. Штоф сладкой водки парням, дюжину пряников молодцам и пары три аршин тесемок девушкам — вот мужицкий рай; на долго ли?

Он вышел и, возвратясь, принес все, о чем говорил, из санок. Как человек привычный к этому делу, он подсел в кружок и совершенно сельским наречием, с разными прибаутками, потчевал пряничными петушками, раздари-

вал самым пригоженьким ленты, пуговицы на сарафаны, сережки со стеклами и тому подобные безделки, наливал парням водку и даже уговорил некоторых молодиц прихлебнуть сладкой наливки. Беседа зашумела как улей, глаза засверкали у молодцов, вольные выражения срывались с губ, и, слушая россказни незнакомца, нашептываемые им на ухо, красные девушки смеялись и уж гораздо ласковее, хотя исподлобья, поглядывали на своих соседов. Чтобы довершить суматоху, он подошел к светцу, в котором воткнутая лучина роняла огарки свои в старую сковороду, стал поправлять ее и потушил, будто ненарочно. Минут десять возился он в темноте, вздувая огонь, и в это время звуки многих нескромных поцелуев раздавались кругом между всеобщим смехом. Когда вспыхнула опять лучина, все уже скромно сидели по местам; но незнакомец лукаво показал мне на румяные щеки красавиц. Скоро сказались тлетворные следствия его присутствия. Охмелевшие крестьяне стали спорить и ссориться между собою; крестьянки завистливыми глазами смотрели на подруг, которым достались лучшие безделки. Многие парни, в порыве ревности, упрекали своих любезных, что они чересчур ласково обходились с незнакомым гостем; некоторые мужья грозили уже своим половинам, что они докажут кулаком любовь свою за их перемиги с другими; даже ребятишки на полатях дрались за орехи.

Сложив руки на груди, стоял чудный незнакомец у стенки и с довольною, но ироническою улыбкою смотрел на следы своих проказ.

— Вот люди! — сказал он мне тихо... но в двух этих словах было многое. Я понял, что он хотел выразить: как в городах и селах, во всех состояниях и возрастах подобны пороки людские; они равняют бедных и богатых глупостию; различны погремушки, за которыми кидаются они, но ребячество одинаково. То по крайней мере высказывал насмешливый взор и тон речей; так по крайней мере мне казалось.

Но мне скоро наскучил разговор этого безнравственного существа, и песни, и сельские игры; мысли пошли опять привычною стезею. Опершись рукою о стол, хмурен и рассеян, отвечал я на вопросы, глядел на окружающее, и невольный ропот вырывался из сердца, будто пресыщенного полынью. Незнакомец, взглянув на свои часы, сказал мне:

— Уж скоро десять часов.

Я был очень рад тому; я жаждал тишины и уединения.

В это время один из молодцов, с рыжими усами и открытого лица, вероятно осмеленный даровым ерофеичем, подошел ко мне с поклоном.

— Что я тебя спрашаю, барин,— сказал он,— есть ли в тебе молодецкая отвага?

Я улыбнулся, взглянув на него: такой вопрос удивил меня.

— Когда бы кто-нибудь поумнее тебя сделал мне подобный вопрос,— отвечал я,— он бы унес ответ на боках своих.

— И, батюшка сударь,— возразил он,— будто я сомневаюсь, что ты с широкими своими плечами на дюжину пойдешь, не засуча рукавов; такая удаль в каждом русском молодце не диковинка. Дело не об людях, барин: я хотел бы знать, не боишься ли ты колдунов и чертовщины?

Смешно было бы разуверять его; напрасно уверять в моем неверии ко всему этому.

— Чертей я боюсь еще менее, чем людей! — был мой ответ.

— Честь и хвала тебе, барин! — сказал молодец.— Насилу нашел я товарища. И ты бы не ужастился увидеть нечистого носом к носу?

— Даже схватить его за нос, друг мой, если б ты мог вызвать его из этого рукомойника...

— Ну, барин,— промолвил он, понизив голос и склонясь над моим ухом,— если ты хочешь погадать о чем-нибудь житейском, если у тебя есть, как у меня, какая разлапушка, так, пожалуй, катнем; мы увидим тогда все, что случится с ними и с нами вперед. Чур, барин, только не робеть: на это гаданье надо сердце-тройчатку. Что ж, приказ или отказ?

Я было хотел отвечать этому долгополому гадателю, что он или дурак, или хвастун и что я, для его забавы или его простоты, вовсе не хочу сам делать глупостей; но в это мгновение повстречал насмешливый взгляд незнакомца, который будто говорил: «Ты хочешь, друг, прикрыть благоразумными словами глупую робость! Знаем мы вашу братью, вольномыслящих дворянчиков!» К этому взору он присоединил и увещание, хотя никак не мог слышать, что меня звали на гаданье.

— Вы, верно, не пойдете,— сказал он сомнительно.— Чему быть путному, даже забавному от таких людей!

— Напротив, пойду!..— возразил я сухо. Мне хотелось

поступить наперекор этому незнакомцу.— Мне давно хочется раскусить, как орех, свою будущую судьбу и познакомиться покороче с лукавым,— сказал я гадателю.— Какой же ворожбой вызовем мы его из ада?

— Теперь он рыщет по земле,— отвечал тот,— и ближе к нам, нежели кто думает; надо заставить его сделать по нашему веленью.

— Смотрите, чтоб он не заставил вас делать по своему хотенью,— произнес незнакомец важно.

— Мы будем гадать страшным гаданьем,— сказал мне на ухо парень,— закляв нечистого на воловьей коже. Меня уж раз носил он на ней по воздуху, и что видел я там, что слышал,— примолвил он, бледнея,— того... Да ты сам, барин, попытаешь все.

Я вспомнил, что в примечаниях к «Красавице озера» («Lady of the lake») Вальтер Скотт приводит письмо одного шотландского офицера, который гадал точно таким образом, и говорит с ужасом, что человеческий язык не может выразить тех страхов, которыми он обуян. Мне любопытно стало узнать, так ли же выполняются у нас обряды этого гаданья, остатка язычества на разных концах Европы.

— Идем же сейчас,— сказал я, опоясывая саблю свою и надевая просушенные сапоги.— Видно, мне сегодня судьба мыкаться конями и чертями! Посмотрим, кто из них довезет меня до цели!

Я переступил за порог, когда незнакомец, будто с видом участия, сказал мне:

— Напрасно, сударь, изволите идти: воображение — самый злой волшебник, и вам бог весть что может почудиться!

Я поблагодарил его за совет, примолвив, что иду для одной забавы, имею довольно ума, чтоб заметить обман, и слишком трезвую голову и слишком твердое сердце, чтоб ему поддаться.

— Пускай же сбудется чему должно! — произнес вслед мой незнакомец.

Проводник зашел в соседний дом.

— Вечор у нас приняли черного как смоль быка, без малейшей отметки,— сказал он, вытаскивая оттуда свежую шкуру,— и она-то будет нашим ковром-самолетом. Под мышкой нес он красного петуха, три ножа сверкали за поясом, а из-за пазухи выглядывала головка полуштофа, по его словам, какого-то зелья, собранного на Иванову ночь. Молодой месяц протек уже полнеба. Мы шли скоро по ули-

це, и провожатый заметил мне, что ни одна собака на нас не взлаяла; даже встречные кидались опрометью в подворотни и только, ворча, выглядывали оттуда. Мы прошли версты полторы; деревня от нас скрылась за холмом, и мы поворотили на кладбище.

Ветхая, подавленная снегом, бревенчатая церковь возникла посреди полурухнувшей ограды, и тень ее тянулась вдаль, словно путь за мир могильный. Ряды крестов, тленных памятников тлеющих под ними поселян, смиренно склонялись над пригорками, и несколько елей, скрипя, качали черные ветви свои, колеблемые ветром.

— Здесь! — сказал проводник мой, бросив шкуру вверх шерстью. Лицо его совсем изменилось: смертная бледность проступила на нем вместо жаркого румянца; место прежней говорливости заступила важная таинственность.— Здесь! — повторил он.— Это место дорого для *того,* кого станем вызывать мы: здесь, в разные времена, схоронены трое любимцев ада. В последний раз напоминаю, барин: если хочешь, можешь воротиться, а уж начавши коляду, не оглядывайся, что бы тебе ни казалось, как бы тебя ни кликали, и не твори креста, не читай молитвы... Нет ли у тебя ладанки на вороту?

Я отвечал, что у меня на груди есть маленький образ и крестик, родительское благословение.

— Сними его, барин, и повесь хоть на этой могилке: своя храбрость теперь нам одна оборона.

Я послушался почти нехотя. Странная вещь: мне стало будто страшнее, когда я удалил от себя моих пенатов от самого младенчества; мне показалось, что я остался вовсе один, без оружия и защиты. Между тем гадатель мой, произнося невнятные звуки, начал обводить круг около кожи. Начертив ножом дорожку, он окропил ее влагою из склянки и потом, задушив петуха, чтобы он не крикнул, отрубил ему голову и полил кровью в третий раз очарованный круг. Глядя на это, я спросил:

— Не будем ли варить в котле черную кошку, чтобы ведьмы, родня ее, дали выкупу?

— Нет! — сказал заклинатель, вонзая треугольником ножи,— черную кошку варят для привороту к себе красавиц. Штука в том, чтобы выбрать из косточек одну, которою если тронешь, на кого задумаешь, так по тебе с ума сойдет.

«Дорого бы заплатили за такую косточку в столицах,— подумал я,— тогда и ум, и любезность, и красота, самое счастье дураков спустили бы перед нею флаги».

— Да все равно,— продолжал он,— можно эту же силу достать в Иванов день. Посадить лягушку в дырявый бурак, наговорить, да и бросить в муравейник, так она человеческим голосом закричит; наутро, когда она будет съедена, останется в бураке только вилочка да крючок: этот крючок — неизменная уда на сердца; а коли больно наскучит, тронь вилочкой — как рукавицу долой, всю прежнюю любовь снимет.

«Что касается до забвения,— думал я,— для этого не нужно с нашими дамами чародейства».

— Пора! — произнес гадатель.— Смотри, барин: коли мила тебе душа, не оглядывайся. Любуйся на месяц и жди, что сбудется.

Завернувшись в медвежью шубу, я лег на роковой воловьей шкуре, оставив товарища чародействовать, сколько ему угодно. Невольно, однако ж, колесо мыслей опять и опять приносило мне вопрос: откуда в этом человеке такая уверенность? Он мог ясно видеть, что я вовсе не легковерен, следственно, если думает морочить меня, то через час, много два, открою вполне его обманы... Притом, какую выгоду найдет он в обмане? Ни ограбить, ни украсть у меня никто не посмеет... Впрочем, случается, что сокровенные силы природы даются иногда людям самым невежественным. Сколько есть целебных трав, магнетических средств в руках у простолюдинов... Неужели?.. Мне стало стыдно самого себя, что зерно сомнения запало в мою голову. Но когда человек допустит себе вопрос о каком-либо предмете, значит, верование его поколеблено, и кто знает, как далеки будут размахи этого маятника?.. Чтобы отвлечь себя от думы о мире духов, которые, может статься, окружают нас незримо и действуют на нас неощутимо, я прильнул очами к месяцу.

«Тихая сторона мечтаний! — думал я.— Неужели ты населена одними мечтаниями нашими? Для чего так любовно летят к тебе взоры и думы человеческие? Для чего так мило сердцу твое мерцанье, как дружеский привет иль ласка матери? Не родное ли ты светило земле? Не подруга ли ты судьбы ее обитателей, как ее спутница в странничестве эфирном? Прелестна ты, звезда покоя, но земля наша, обиталище бурь, еще прелестнее, и потому не верю я мысли поэтов, что туда суждено умчаться теням нашим, что оттого влечешь ты сердца и думы! Нет, ты могла быть колыбелью, отчизною нашего духа; там, может быть, расцвело его младенчество, и он любит летать из новой обители в знакомый, но забытый мир твой: но не тебе, тихая сторона,

быть приютом буйной молодости души человеческой! В полете к усовершенствованию ей доля — еще прекраснейшие миры и еще тягчайшие испытания, потому что дорогою ценой покупаются светлые мысли и тонкие чувствования!»

Душа моя зажглась прикосновением этой искры; образ Полины, облеченный всеми прелестями, приданными воображением, несся передо мною...

«О! Зачем мы живем не в век волшебств,— подумал я,— чтобы хоть ценой крови, ценою души купить временное всевластие,— ты была бы моя, Полина... моя!..»

Между тем товарищ мой, стоя сзади меня на коленях, произносил непонятные заклинания; но голос его затихал постепенно; он роптал уже подобно ручью, катящемуся под снежною глыбою...

— Идет, идет!..— воскликнул он, упав ниц. Его голосу отвечал вдали шум и топот, как будто вихрь гнал метель по насту, как будто удары молота гремели по камню... Заклинатель смолк, но шум, постепенно возрастая, налетал ближе... Невольным образом у меня занялся дух от боязненного ожидания, и холод пробежал по членам... Земля звучала и дрожала — я не вытерпел и оглянулся...

И что ж? Полштоф стоял пустой, и рядом с ним храпел мой пьяный духовидец, упав ничком! Я захохотал, и тем охотнее, что предо мной сдержал коня своего незнакомец, проезжая в санках мимо. Он охотно помог мне посмеяться такой встрече.

— Не говорил ли я вам, сударь, что напрасно изволите верить этому глупцу. Хорошо, что он недолго скучал вам, поторопившись нахрабрить себя сначала; мудрено ли, что таким гадателям с перепою видятся чудеса!

И между тем злые очи его проницали морозом сердце, и между тем коварная усмешка доказывала его радость, видя мое замешательство, застав, как оробелого ребенка, впотьмах и врасплох.

— Каким образом ты очутился здесь, друг мой? — спросил я неизбежного незнакомца, не очень довольный его уроком.

— Стоит обо мне вздумать, сударь, и я как лист перед травой...— отвечал он лукаво.— Я узнал от хозяина, что вам угодно было ехать на бал князя Львинского; узнал, что деревенские неучи отказались везти вас, и очень рад служить вам: я сам туда еду повидаться под шумок с одною

барскою барынею. Мой иноходец, могу похвалиться, бегает как черт от ладану, и через озеро не далее восьми верст!

Такое предложение не могло быть принято мною худо; я вспрыгнул от радости и кинулся обнимать незнакомца. Приехать хоть в полночь, хоть на миг... это прелесть, это занимательно!

— Ты разодолжил меня, друг мой! Я готов отдать тебе все наличные деньги! — вскричал я, садясь в саночки.

— Поберегите их у себя,— отвечал незнакомец, садясь со мною рядом.— Если вы употребите их лучше, нежели я, безрассудно было бы отдавать их, а если так же дурно, как я, то напрасно!

Вожжи натянулись, и как стрела, стальным луком ринутая, полетел иноходец по льду озера. Только звучали подрези, только свистел воздух, раздираемый быстрою иноходью. У меня занялся дух и замирало сердце, видя, как прыгали наши казанки через трещины, как вились и крутились они по закрайнам полыней. Между тем он рассказывал мне все тайные похождения окружного дворянства: тот волочился за предводительшей; та была у нашего майора в гостях под маскою; тот вместо волка наехал с собаками на след соседа и чуть не затравил зверька в спальне у жены своей. Полковник наш поделился столькими-то тысячами с губернатором, чтоб очистить квитанцию за постой... Прокурор получил недавно пирог с золотою начинкою, за то, чтоб замять дело помещика Ремницына, который засек своего человека, и проч. и проч.

— Удивляюсь, как много здесь сплетней,— сказал я,— дивлюсь еще более, как они могут быть тебе известны.

— Неужели вы думаете, сударь, что серебро здесь ходит в другом курсе или совесть судейская дороже, нежели в столицах? Неужели вы думаете, что огонь здесь не жжет, женщины не ветреничают и мужья не носят рогов? Слава богу, эта мода, я надеюсь, не устареет до конца света! Это правда, теперь больше говорят о честности в судах и больше выказывают скромности в обществах, но это для того только, чтоб набить цены. В больших городах легче скрыть все проказы; здесь, напротив, сударь, здесь нет ни модных магазинов, ни лож с решетками, ни наемных карет, ни посещений к бедным; кругом несметная, но сметливая дворня, и ребятишки на каждом шагу. Вышло из моды ходить за грибами, и еще не введены прогулки верхом, так бедняжкам нежным сердцам, чтобы свидеться,

надо ждать отъезжего поля, или престольного праздника у соседов, или бурной ночи, чтоб дождь и ветер смели следы отважного обожателя, который не боится ни зубов собак, ни языков соседок. Впрочем, сударь, вы это знаете не хуже моего. На бале будет звезда здешних красавиц, Полина Павловна.

— Мне все равно,— отвечал я хладнокровно.

— В самом деле? — произнес незнакомец, взглянув на меня насмешливо-приста""" — А я бы прозакладывал свою бобровую шапку и, к ней в придачу, свою голову; что вы для нее туда едете... В самом деле, вам бы давно пора осушить поцелуями ее слезы, как это было три недели тому назад, в пятом часу после обеда, когда вы стояли перед ней на коленях!

— Бес ты или человек?! — яростно вскричал я, схватив незнакомца за ворот.— Я заставлю тебя высказать. от кого научился ты этой клевете, заставлю век молчать о том, что знаешь.

Я был поражен и раздражен словами незнакомца. От кого мог он сведать подробности моей тайны? Никому и никогда не открывал я ее; никогда вино не исторгало у меня нескромности; даже подушка моя никогда не слыхала звука изменнического, и вдруг вещь, которая происходила в четырех стенах, между четырьмя глазами, во втором этаже и в комнате, в которой, конечно, никто не мог подсмотреть нас,— вещь эта стала известною такому бездельнику! Гнев мой не имел границ. Я был силен, я был рассержен, и незнакомец дрогнул, как трость в руке моей; я приподнял его с места. Но он оторвал прочь руку мою, будто маковку репейника, и оттолкнул, как семилетнего ребенка.

— Вы проиграете со мной в эту игру,— сказал он хладнокровно, однако ж решительно.— Угрозы для меня монета, которой я не знаю цены; да и к чему все это? Скрипучую дверь не заставишь молчать молотом, а маслом: притом же моя собственная выгода в скромности. Вот уж мы и у ворот княжеского дома; помните, несмотря на свою недоверчивость, что я вам на всякую удалую службу неизменное копье. Я жду вас для возврата за этим углом; желаю удачи!

Я не успел еще образумиться, как санки наши шаркнули к подъезду и незнакомец, высадив меня, пропал из виду. Вхожу,— все шумит и блещет: сельский бал, что называется, в самом *развале;* плясуны вертелись, как по обещанию, дамы, несмотря на полночь, были очень бодры.

Любопытные облепили меня, чуть завидев, и полились вопросы и восклицания ливмя. Рассказываю вкратце свое похождение, извиняюсь перед хозяевами, прикладываюсь к перчаткам почетных старух, пожимаю руки друзьям, бросаю мимоходом по лестному словцу дамам и быстро пробегаю комнаты одну за другою, ища Полины. Я нашел ее вдали от толпы, одинокую, бледную, с поникшею головою, будто цветочный венок подавлял ее как свинец. Она радостно вскрикнула, увидев меня, огневой румянец вспыхнул на лице; хотела встать, но силы ее оставили, и она снова опустилась в кресла, закрыв опахалом очи, будто ослепленные внезапным блеском.

Укротив, сколько мог, волнение, я сел подле нее. Я прямо и откровенно просил у ней прощенья в том, что не мог выдержать тяжкого испытания, и, разлучась, может быть навек, прежде чем брошусь в глухую, холодную пустыню света, хотел еще однажды согреть душу ее взором,— или нет: не для любви — для науки разлюбить ее приехал я, из желания найти в ней какой-нибудь недостаток, из жажды поссориться с нею, быть огорченным ее упреками, раздраженным ее холодностию, для того, чтобы дать ей самой повод хотя в чем-нибудь обвинять меня, чтобы нам легче было расстаться, если она имеет жестокость называть виною неодолимое влечение любви, помня только заветы самолюбца-рассудка и не внимая внушениям сердца!.. Она прервала меня.

— Я бы должна была упрекать тебя,— сказала она,— но я так рада, так счастлива, тебя увидев, что готова благодарить за неисполненное обещание. Я оправдываюсь, я утешаюсь тем, что и ты, твердый мужчина, доступен слабости; и неужели ты думаешь, что если б даже я была довольно благоразумна и могла бы на тебя сердиться, я стала бы отравлять укоризнами последние минуты свидания?.. Друг мой, ты все еще веришь менее моей любви, чем благоразумию, в котором я имею столько нужды; пусть эти радостные слезы разуверят тебя в противном!

Если б было возможно, я бы упал к ногам ее, целовал бы следы ее, я бы... я был вне себя от восхищения!.. Не помню, что я говорил и что слышал, но я был так весел, так счастлив!.. Рука об руку мы вмешались в круг танцующих.

Не умею описать, что со мною сталось, когда, обвивая тонкий стан ее рукою, трепетною от наслаждения, я пожимал другой ее прелестную ручку; казалось, кожа

перчаток приняла жизнь, передавая биение каждой фибры... казалось, весь состав Полины прыщет искрами! Когда помчались мы в бешеном вальсе, ее летающие, душистые локоны касались иногда губ моих; я вдыхал ароматный пламень ее дыхания; мои блуждающие взгляды проницали сквозь дымку,— я видел, как бурно вздымались и опадали белоснежные полушары, волнуемые моими вздохами, видел, как пылали щеки ее моим жаром, видел — нет, я ничего не видал... пол исчезал под ногами; казалось, я лечу, лечу, лечу по воздуху, с сладостным замиранием сердца! Впервые забыл я приличия света и самого себя. Сидя подле Полины в кругу котильона, я мечтал, что нас только двое в пространстве; все прочее представлялось мне слитно, как облака, раздуваемые ветром; ум мой крутился в пламенном вихре.

Язык, этот высокий дар небес, был последним средством между нами для размена чувствований; каждый волосок говорил мне и на мне о любви; я был так счастлив и так несчастлив вместе. Сердце разрывалось от полноты; но мне чего-то недоставало... Я умолял ее позволить мне произнести в последний раз *люблю* на свободе, запечатлеть поцелуем разлуку вечную... Это слово поколебало ее твердость! Тот не любил, кто не знал слабостей... Роковое согласие сорвалось с ее языка.

Только при конце танца заметил я мужа Полины, который, прислонясь к противоположной стене, ревниво замечал все наши разговоры. Это был злой, низкой души человек; я не любил его всегда как человека, но теперь как мужа Полины, я готов был ненавидеть его, уничтожить его. Малейшее столкновение с ним могло быть роковым для обоих,— я это чувствовал и удалился. Полчаса, которые протекли между обетом и сроком, показались мне бесконечными. Через длинную галерею стоял небольшой домашний театр княжего дома, в котором по вечеру играли; в нем-то было назначено свиданье. Я бродил по пустой его зале, между опрокинутых скамей. Лунный свет, падая сквозь окна, рисовал по стенам зыбкие цветы и деревья, отраженные морозными кристаллами стекол. Сцена чернелася, как вертеп, и на ней в беспорядке сдвинутые кулисы стояли, будто притаившиеся великаны; все это, однако же, заняло меня одну минуту. Если бы я был и в самом деле трус перед бестелесными существами, то, конечно, не в такое время нашла бы робость уголок в груди: я был весь ожидание, весь пламя. Ударило два часа за полночь, и зыблющийся колокол затих, ропща, будто

страж, неохотно пробужденный; звук его потряс меня до дна души... Я дрожал, как в лихорадке, а голова горела,— я изнемогал, я таял. Каждый скрип, каждый щелк кидал меня в пот и холод... И, наконец, желанный миг настал: с легким шорохом отворились двери; как тень дыма, мелькнула в нее Полина... еще шаг, и она лежала на груди моей!! Безмолвие, запечатленное долгим поцелуем разлуки, длилось, длилось... наконец Полина прервала его.

— Забудь,— сказала она,— что я существую, что я любила, что я люблю тебя, забудь все и прости!

— Тебя забыть! — воскликнул я.— И ты хочешь, чтобы я разбил последнее звено утешения в чугунной цепи жизни, которую отныне я осужден влачить, подобно колоднику; чтобы я вырвал из сердца, сгладил с памяти мысль о тебе? Нет, этого никогда не будет! Любовь была мне жизнью и кончится только с жизнию!

И между тем я сжимал ее в своих объятиях, между тем адский огонь пробегал по моим жилам... Тщетно она вырывалась, просила, умоляла; я говорил:

— Еще, еще один миг счастья, и я кинусь в гроб будущего!

— Еще раз прости,— наконец произнесла она твердо.— Для тебя я забыла долг, тебе пожертвовала домашним покоем, для тебя презрела теперь двусмысленные взоры подруг, насмешки мужчин и угрозы мужа; неужели ты хочешь лишить меня последнего наружного блага — доброго имени?.. Не знаю, отчего так замирает у меня сердце и невольный трепет пролетает по мне; это страшное предчувствие!.. Но прости.. уж время!

— Уж поздно! — произнес голос в дверях, растворившихся быстро.

Я обомлел за Полину, я кинулся навстречу пришедшему, и рука моя уперлась в грудь его. Это был незнакомец!

— Бегите! — сказал он, запыхавшись.— Бегите! Вас ищут. Ах, сударыня, какого шуму вы наделали своею неосторожностью! — промолвил он, заметив Полину.— Ваш муж беснуется от ревности, рвет и мечет все, гоняясь за вами... Он близко.

— Он убьет меня! — вскричала Полина, упав ко мне на руки.

— Убить не убьет, сударыня, а, пожалуй, прибьет; от него все станется; а что огласит это на весь свет, в том нечего сомневаться. И то уж все заметили, что вы вместе

исчезли, и, узнав о том, я кинулся предупредить встречу.

— Что мне делать? — произнесла Полина, ломая руки, и таким голосом, что он пронзил мне душу: укор, раскаяние и отчаяние отзывались в нем.

Я решился.

— Полина! — отвечал я.— Жребий брошен: свет для тебя заперт; отныне я должен быть для тебя всем, как ты была и будешь для меня; отныне любовь твоя не будет знать раздела; ты не будешь принадлежать двоим, не принадлежа никому. Под чужим небом найдем мы приют от преследований и предрассудков людских, а примерная жизнь искупит преступление. Полина! время дорого...

— Вечность дороже! — возразила она, склонив голову на сжатые руки.

— Идут, идут! — вскричал незнакомец, возвращаясь от двери.— Мои сани стоят у заднего подъезда; если вы не хотите погибнуть бесполезно, то ступайте за мною!

Он обоих нас схватил за руки... Шаги многих особ звучали по коридору, крик раздавался в пустой зале.

— Я твоя! — шепнула мне Полина, и мы скоро побежали через сцену, по узенькой лесенке, вниз, к небольшой калитке.

Незнакомец вел нас как домашний; иноходец заржал, увидев седоков. Я завернул в шубу свою, оставленную на санях, едва дышащую Полину, впрыгнул в сани, и когда долетел до нас треск выломленных в театре дверей, мы уже неслись во всю прыть, через село, вкруг плетней, вправо, влево, под гору,— и вот лед озера звучно затрещал от подков и подрезей. Мороз был жестокий, но кровь моя ходила огневым потоком. Небо яснело, но мрачно было в душе моей. Полина лежала тиха, недвижна, безмолвна. Напрасно расточал я убеждения, напрасно утешал ее словами, что сама судьба соединила нас, что если б она осталась с мужем, то вся жизнь ее была бы сцепление укоризн и обид!

— Я все бы снесла,— возразила она,— и снесла терпеливо, потому что была еще невинна, если не перед светом, то перед богом, но теперь я беглянка, я заслужила свой позор! Этого чувства не могу я затаить от самой себя, хотя бы вдали, на чужбине, я возродилась граждански, в новом кругу знакомых. Все, все можешь ты обновить для меня, все, кроме преступного сердца!

Мы мчались. Душа моя была раздавлена печалью.

«Так вот то столь желанное счастье, которого и в самых пылких мечтах не полагал я возможным,— думал я,— так вот те очаровательные слова *я твоя,* которых звук мечтался мне голосом неба! Я слышал их, я владею Полиною, и я так глубоко несчастлив, несчастнее чем когда-нибудь!»

Но если наши лица выражали тоску душевную, лицо незнакомца, сидящего на беседке, обращалось на нас радостнее обыкновенного. Коварно улыбался он, будто радуясь чужой беде, и страшно глядели его тусклые очи. Какое-то невольное чувство отвращения удаляло меня от этого человека, который так нечаянно навязался мне со своими роковыми услугами. Если б я верил чародейству, я бы сказал, что какое-то неизъяснимое обаяние таилось в его взорах, что это был сам лукавый,— столь злобная веселость о падении ближнего, столь холодная, бесчувственная насмешка были видны в чертах его бледного лица! Недалеко было до другого берега озера; все молчали, луна задернулась радужною дымкою.

Вдруг потянул ветерок, и на нем послышали мы за собой топот погони.

— Скорей, ради бога, скорей! — вскричал я проводнику, укоротившему бег своего иноходца.

Он вздрогнул и сердито отвечал мне:

— Это имя, сударь, надобно бы вам было вспомнить ранее или совсем не упоминать его.

— Погоняй! — возразил я.— Не тебе давать мне уроки.

— Доброе слово надо принять от самого черта,— отвечал он, как нарочно сдерживая своего иноходца.— Притом, сударь, в писании сказано: «Блажен, кто и скоты милует!» Надобно пожалеть и этого зверька. Я получу свою уплату за прокат: вы будете владеть прекрасною барышнею; а что выиграет он за пот свой? Обыкновенную дачу овса? Он ведь не употребляет шампанского, и простонародный желудок его не варит и не ценит дорогих яств, за которые двуногие не жалеют ни души, ни тела. За что же, скажите, он надорвет себя?

— Пошел, если не хочешь, чтобы я изорвал тебя самого! — вскричал я, хватаясь за саблю.— Я скоро облегчу сани от лишнего груза, а свет от подобного тебе бездельника!

— Не горячитесь сударь,— хладнокровно возразил мне незнакомец.— Страсть ослепляет вас, и вы становитесь несправедливы, потому что нетерпеливы. Не шутя

уверяю вас, что иноходец выбился из сил. Посмотрите, как валит с него пар и клубится пена, как он храпит и шатается; такой тяжести не возил он сроду. Неужели считаете вы за ничто троих седоков... и тяжкий грех в прибавку? — промолвил он, обнажая злою усмешкою зубы.

Что мне было делать? Я чувствовал, что находился во власти этого безнравственного злодея. Между тем мы подвигались вперед мелкою рысцою. Полина оставалась как в забытьи: ни мои ласки, ни близкая опасность не извлекали ее из этого отчаянного бесчувствия. Наконец при тусклом свете месяца мы завидели ездока, скачущего во весь опор за нами; он понуждал коня криком и ударами. Встреча была неизбежна... И он, точно, настиг нас, когда мы стали подниматься на крутой въезд берега, обогнув обледенелую прорубь. Уже он был близко, уж едва не схватывал нас, когда храпящая лошадь его, вскочив наверх, споткнулась и пала, придавив под собою всадника. Долго бился он под нею и, наконец, выскочил из-под недвижного трупа и с бешенством кинулся к нам; это был муж Полины.

Я сказал, что я уже ненавидел этого человека, сделавшего несчастною жену свою, но я преодолел себя: я отвечал на его упреки учтиво, но твердо; на его брань кротко, но смело и решительно сказал ему, что он, во что бы ни стало, не будет владеть Полиною; что шум только огласит этот несчастный случай и он потеряет многое, не возвратив ничего; что если он хочет благородного удовлетворения, я готов завтра поменяться пулями!

— Вот мое удовлетворение, низкий обольститель! — вскричал муж ее и занес дерзкую руку...

И теперь, когда я вспомню об этой роковой минуте, кровь моя вспыхивает как порох. Кто из нас не был напитан с младенчества понятиями о неприкосновенности дворянина, о чести человека благорожденного, о достоинстве человека? Много-много протекло с тех пор времени по голове моей; оно охладило ее, ретивое бьется тише, но до сих пор, со всеми философическими правилами, со всею опытностью моею, не ручаясь за себя, и прикосновение ко мне перстом взорвало бы на воздух и меня и обидчика. Вообразите ж, что сталось тогда со мною, заносчивым и вспыльчивым юношею! В глазах у меня померкло, когда удар миновал мое лицо: он не миновал моей чести! Как лютый зверь кинулся я с саблею на безоружного врага, и клинок мой погрузился трижды в его череп, прежде чем он успел упасть на землю. Один страшный вздох,

один краткий, но пронзительный крик, одно клокотание крови из ран — вот все, что осталось от его жизни в одно мгновение! Бездушный труп упал на склон берега и покатился вниз на лед.

Еще несытый местью, в порыве исступления сбежал я по кровавому следу на озеро, и, опершись на саблю, склонясь над телом убитого, я жадно прислушивался к журчанию крови, которое мнилось мне признаком жизни.

Испытали ли вы жажду крови? Дай бог, чтобы никогда не касалась она сердцам вашим; но, по несчастию, я знал ее во многих и сам изведал на себе. Природа наказала меня неистовыми страстями, которых не могли обуздать ни воспитание, ни навык; огненная кровь текла в жилах моих. Долго, неимоверно долго мог я хранить хладную умеренность в речах и поступках при обиде, но зато она исчезала мгновенно, и бешенство овладевало мною. Особенно вид пролитой крови, вместо того, чтобы угасить ярость, был маслом в огне, и я, с какою-то тигровою жадностию, готов был источить ее из врага каплей по капле, подобен тигру, вкусившему ненавистного напитка. Эта жажда была страшно утолена убийством. Я уверился, что враг мой не дышит.

— Мертв! — произнес голос над ухом моим. Я поднял голову: это был неизбежный незнакомец с неизменною усмешкою на лице.— Мертв! — повторил он.— Пускай же мертвые не мешают живым,— и толкнул ногой окровавленный труп в полынью.

Тонкая ледяная кора, подернувшая воду, звучно разбилась; струя плеснула на закраину, и убитый тихо пошел ко дну.

— Вот что называется: и концы в воду,— сказал со смехом проводник мой. Я вздрогнул невольно; его адский смех звучит еще доселе в ушах моих. Но я, вперив очи на зеркальную поверхность полыньи, в которой, при бледном луче луны, мне чудился еще лик врага, долго стоял неподвижен. Между тем незнакомец, захватывая горстями снег с закраин льда, засыпал им кровавую стезю, по которой скатился труп с берега, и приволок загнанную лошадь на место схватки.

— Что ты делаешь? — спросил я его, выходя из оцепенения.

— Хороню свой клад,— отвечал он значительно.— Пусть, сударь, думают, что хотят, а уличить вас будет трудно: господин этот мог упасть с лошади, убиться и утонуть в проруби. Придет весна, снег стает...

— И кровь убитого улетит на небо с парами! — возразил я мрачно.— Едем!

— До бога высоко, до царя далеко,— произнес незнакомец, будто вызывая на бой земное и небесное правосудие.— Однако ж ехать точно пора. Вам надобно до суматохи добраться в деревню, оттуда скакать домой на отдохнувшей теперь тройке и потом стараться уйти за границу. Белый свет широк!

Я вспомнил о Полине и бросился к саням; она стояла подле них на коленях, со стиснутыми руками, и, казалось, молилась. Бледна и холодна как мрамор была она; дикие глаза ее стояли; на все вопросы мои отвечала она тихо:

— Кровь! На тебе кровь!

Сердце мое растрогалось... но медлить было бы гибельно. Я снова завернул ее в шубу свою, как сонное дитя, и сани полетели.

Один я бы мог вынести бремя зол, на меня ниспавшее. Проникнутый светскою нравственностию, или, лучше сказать, безнравственностию, еще горячий местью, еще волнуем бурными страстями, я был недоступен тогда истинному раскаянию. Убить человека, столь сильно меня обидевшего, казалось мне предосудительным только потому, что он был безоружен; увезти чужую жену считал я, в отношении к себе, только шалостью, но я чувствовал, как важно было все это в отношении к ней, и вид женщины, которую любил я выше жизни, которую погубил своею любовью, потому что она пожертвовала для меня всем, всем, что приятно сердцу и свято душе,— знакомством, родством, отечеством, доброю славою, даже покоем совести и самим разумом... И чем мог я вознаградить ее в будущем за потерянное? Могла ли она забыть, чему была виною? Могла ли заснуть сном безмятежным в объятиях, дымящихся убийством, найти сладость в поцелуе, оставляющем след крови на устах,— и чьей крови? Того, с кем была она связана священными узами брака! Под каким благотворным небом, на какой земле гостеприимной найдет сердце преступное покой? Может быть, я бы нашел забвение всего в глубине взаимности; но могла ли слабая женщина отринуть или заглушить совесть? Нет, нет! Мое счастие исчезло навсегда, и сама любовь к ней стала отныне огнем адским.

Воздух свистел мимо ушей.

— Куда ты везешь меня? — спросил я проводника.

— Откуда взял — на кладбище! — возразил он злобно.

Сани влетели в ограду; мы неслись, задевая за кресты, с могилы на могилу и, наконец, стали у бычачьей шкуры, на которой совершал я гаданье: только там не было уже прежнего товарища; все было пусто и мертво кругом, я вздрогнул против воли.

— Что это значит? — гневно вскричал я. — Твои шутки не у места. Вот золото за проклятые труды твои; но вези меня в деревню, в дом.

— Я уж получил свою плату, — отвечал он злобно, — и дом твой здесь, здесь твоя брачная постеля!

С этими словами он сдернул воловью кожу: она была растянута над свежевырытою могилою, на краю которой стояли сани.

— За такую красотку не жаль души, — промолвил он и толкнул шаткие сани... Мы полетели вглубь стремглав.

Я ударился головою о край могилы и обеспамятел; будто сквозь смутный сон, мне чудилось только, что я лечу ниже и ниже, что страшный хохот в глубине отвечал стону Полины, которая, падая, хваталась за меня, восклицая: «Пусть хоть в аду не разлучают нас!» И, наконец, я упал на дно... Вслед за мной падали глыбы земли и снегу, заваливая, задушая нас; сердце мое замлело, в ушах гремело и звучало, ужасающие свисты и завывания мне слышались; что-то тяжкое, косматое, давило грудь, врывалось в губы, и я не мог двинуть разбитых членов, не мог поднять руки, чтобы перекреститься... Я кончался, но с неизъяснимым мучением души и тела. Судорожным последним движением я сбросил с себя тяготеющее меня бремя: это была медвежья шуба...

Где я? Что со мной? Холодный пот катился по лицу, все жилки трепетали от ужаса и усилия. Озираюсь, припоминаю минувшее... И медленно возвращаются ко мне чувства. Так, я на кладбище!.. Кругом склоняются кресты; надо мной потухающий месяц; подо мной роковая воловья шкура. Товарищ гаданья лежал ниц в глубоком усыплении... Мало-помалу я уверился, что все виденное мною был только сон, страшный, зловещий сон!

«Так это сон?» — говорите вы почти с неудовольствием. Други, други! неужели вы так развращены, что жалеете, для чего все это не сбылось на самом деле? Благодарите лучше бога, как возблагодарил его я, за сохранение меня от преступления. Сон? Но что же иное все былое наше, как

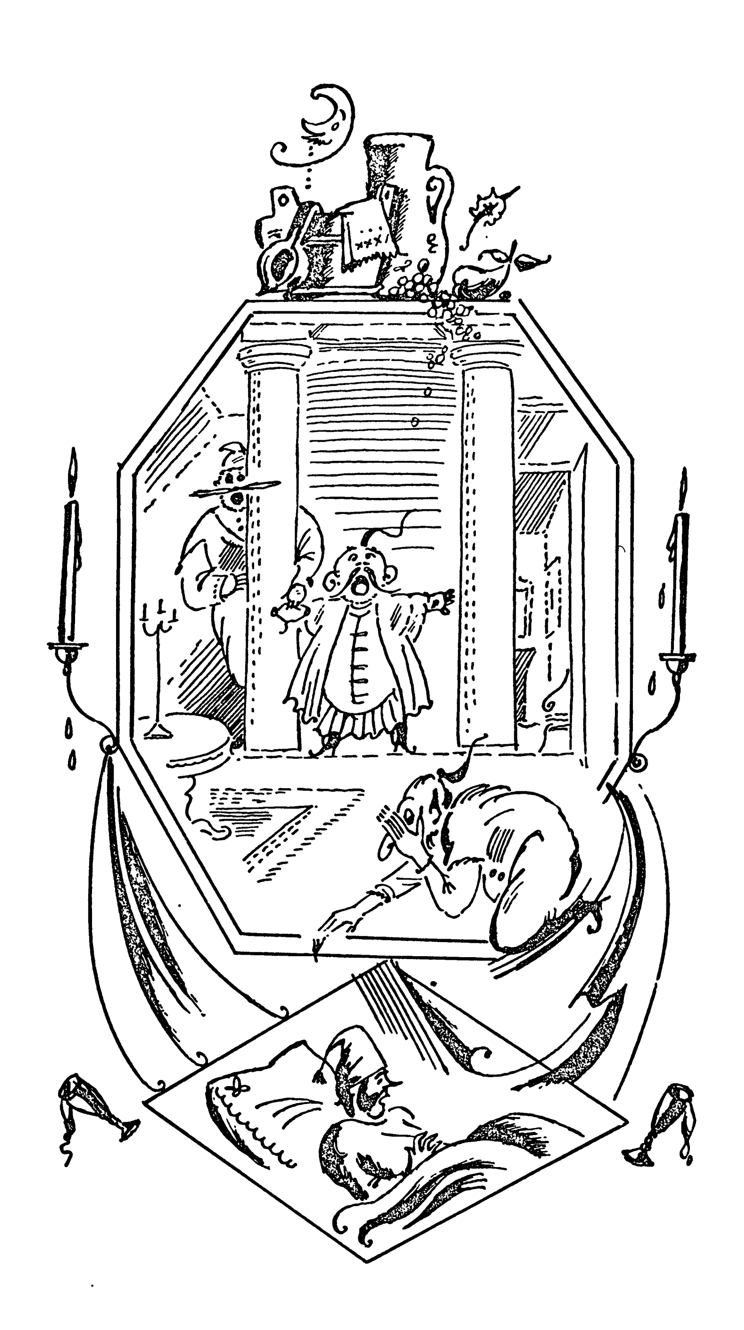
не смутный сон? И ежели вы не пережили со мной этой ночи, если не чувствовали, что я чувствовал так живо, если не испытали мною испытанного в мечте,— это вина моего рассказа. Все это для меня существовало, страшно существовало, как наяву, как на деле. Это гаданье открыло мне глаза, ослепленные страстью; обманутый муж, обольщенная супруга, разорванное, опозоренное супружество и, почему знать, может, кровавая месть мне или от меня — вот следствия безумной любви моей!!

Я дал слово не видеть более Полины и сдержал его.

1830



Михаил Загоскин





НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

— Отец мой был человек старого века,— начал так Антон Федорович Кольчугин,— хотя, благодаря, во-первых, бога, а во-вторых, родителей, достаток у него был дворянский, и он мог бы жить не хуже своих соседей, то есть — выстроить хоромы саженях на пятнадцати, завести псовую охоту, роговую музыку, оранжереи и всякие другие барские затеи; но он во всю жизнь ни разу и не подумал об этом; жил себе в маленьком домике, держал не больше десяти слуг, охотился иногда с ястребами и под веселой час так-то, бывало, тешится, слушая Ваньку-гуслиста, который,— не тем будь помянут,— попивал, а лихо, разбойник, играл на гуслях; бывало, как хватит «Заря утрення взошла» или «На бережку у ставка́» — так заслушаешься! Но если батюшка мой не щеголял ни домом, ни услугою, то зато крепко держался пословицы: «Не красна изба углами, а

красна пирогами». И в старину, чай, такие хлебосолы бывали в диковинку! Дом покойного батюшки выстроен был на самой большой дороге; вот если кто-нибудь днем или вечером остановится кормить на селе, то и бегут ему сказать; и коли проезжие хоть мало-мальски не совсем простые люди, дворяне, купцы или даже мещане, так милости просим на барский двор; закобенились — так околицу на запор, и хоть себе голосом вой, а ни на одном дворе ни клока сена, ни зерна овса не продадут. Что и говорить: любил пображничать покойник! Бывало, как залучит к себе гостей, так пойдет такая попойка, что лишь только держись: море разливанное; чего хочешь, того просишь. Всяких чужеземных напитков сортов до десяти в подвале не переводилось, а уж об наливках и говорить нечего!

Однажды зимою, ровно через шесть месяцев после кончины моей матушки сидел он один-одинехонек в своем любимом покое с лежанкою. Меня с ним не было: я уж третий год был на службе царской и дрался в то время со шведами. Дело шло к ночи; на дворе была метелица, холод страшный, и часу в десятом так заколодило, что от мороза все стены в доме трещали. В такую погоду гостей не дождешься. Что делать? Покойный батюшка, чтоб провести время до ужина,— а он никогда не изволил ужинать прежде одиннадцатого часу, принялся за Четьи-Минею. Развернул наудачу и попал на житие преподобного Исакия, затворника печерского. Когда он дочел до того места, где сказано, что бесы, явившись к святому угоднику под видом ангелов, обманули его и, восклицая: «Наш еси, Исакий!», заставили его насильно плясать вместе с собою, то покойный батюшка почувствовал в душе своей сомнение, соблазнился и, закрыв книгу, начал умствовать и рассуждать с самим собою. Но чем более он думал, тем более казалось ему невероподобным таковое попущение божие. Вот в самое-то его раздумье нашла на него дремота, глаза стали слипаться, голова отяжелела, и он мне сказывал, что не помнит сам, как прилег на канапе и заснул крепким сном. Вдруг в ушах у него что-то зазвенело, он очнулся, слышит — бьют часы в его спальне ровно десять часов. Лишь только он было приподнялся, чтоб велеть подавать себе ужинать, как вошел в комнату любимый его слуга Андрей и поставил на стол две зажженные свечи.

— Что ты, братец? — спросил батюшка.

— Пришел, сударь, доложить вам,— отвечал слуга,—

что на селе остановились приказный из города да козаки, которые едут с Дону.

— Ну так что ж? — прервал батюшка.— Беги скорей на село, проси их ко мне, да не слушай никаких отговорок.

— Я уж их звал, сударь, и они сейчас будут,— пробормотал сквозь зубы Андрей.

— Так скажи, чтоб прибавили что-нибудь к ужину,— продолжал батюшка,— и вели принесть из подвала штоф запеканки, две бутылки вишневки, две рябиновки и полдюжины виноградного. Ступай!

Слуга отправился. Минут через пять вошли в комнату три козака и один пожилой человек в долгополом сюртуке.

— Милости просим, дорогие гости! — сказал батюшка, идя к ним навстречу.

Зная, что набожные козаки всегда помолятся прежде святым иконам, а потом уж кланяются хозяину, он примолвил, указывая на образ спасителя, который трудно было рассмотреть в темном углу: «Вот здесь!» — но, к удивлению его, козаки не только не перекрестились, но даже и не поглядели на образ. Приказный сделал то же самое. «Не фигура,— подумал батюшка,— что это крапивное семя не знает бога; но ведь козаки — народ благочестивый!.. Видно, они с дороги-то вовсе ошалели!» Меж тем нежданные гости раскланялись с хозяином; козаки очень вежливо поблагодарили его за гостеприимство, а приказный, сгибаясь перед ним в кольцо, отпустил такую рацею, что покойный батюшка, хотя был человек речистый и за словом в карман не ходил, а вовсе стал в тупик и вместо ответа на его кудрявое приветствие закричал: «Гей, малый! запеканки!»

Вошел опять Андрей, поставил на стол тарелку закуски, штоф водки и дедовские серебряные чары по доброму стакану.

— Ну-ка, любезные! — сказал батюшка, наливая их вровень с краями.— Поотогрейте свои душеньки; чай, вы порядком надроглись. Прошу покорно!

Гости чин чином поклонились хозяину, выпили по чарке и, не дожидаясь вторичного приглашения, хватили по другой, хлебнули по третьей; глядь-поглядь, ан в штофе хоть прогуливайся — ни капельки! «Ай да питу́хи! — подумал батюшка.— Ну!!! нечего сказать, молодцы! Да и рожи-то у них какие!»

В самом деле, нельзя было назвать этих нечаянных

гостей красавцами. У одного козака голова была больше туловища; у другого толстое брюхо почти волочилось по земле; у третьего глаза были зеленые, а нос крючком, как у филина; и у всех волосы рыжие, а щеки как раскаленные кирпичи, когда их обжигают на заводе. Но всех куриознее показался ему приказный в долгополом сюртуке: такой исковерканной и срамной рожи он сродясь не видывал! Его лысая и круглая как биллиардный шар голова втиснута была промежду двух узких плеч, из которых одно было выше другого; широкий подбородок как набитый пухом ошейник обхватывал нижнюю часть его лица; давно не бритая борода торчала щетиною вокруг синеватых губ, которые чуть-чуть не ходились на затылке; толстый, вздернутый кверху нос был так красен, что в потемках можно было принять его за головню; а маленькие, прищуренные глаза вертелись и сверкали, как глаза дикой кошки, когда она подкрадывается ночью к какому-нибудь зверьку или к сонной пташечке. Он беспрестанно ухмылялся, «но эта улыбка,— говаривал не раз покойный мой батюшка,— ни дать ни взять походила на то, как собака оскаливает зубы, когда увидить чужого или захочет у другой собаки отнять кость».

Вот как гости, опорожнив штоф запеканки, остались без дела, то батюшка, желая занять их чем-нибудь до ужина, начал с ними разговаривать.

— Ну что, приятели,— спросил он козаков,— что у вас на Дону поделывается?

— Да ничего! — отвечал козак с толстым брюхом.— Все по-прежнему: пьем, гуляем, веселимся, песенки попеваем.

— Попевайте, любезные,— продолжал батюшка,— попевайте, только бога не забывайте.

Козаки захохотали, а приказный оскалил зубы, как голодный волк, и сказал:

— Что об этом говорить, сударь! Ведь это круговая порука: мы его не помним, так пускай и он нас забудет; было бы винцо да денежки, а все остальное трынь-трава!

Батюшка нахмурился; он любил пожить, попить, пображничать; но был человек благочестивый и бога помнил. Помолчав несколько времени, батюшка спросил подьячего, из какого он суда?

— Из уголовной палаты, сударь,— отвечал с низким поклоном приказный.

— Ну что поделывает ваш председатель? — продол-

жал батюшка. А надобно вам сказать, господа, что этот председатель уголовной палаты был сущий разбойник.

— Что поделывает? — повторил приказный.— Да то же, что и прежде, сударь: служит верой и правдою...

— Да, да! верой и правдою! — подхватили в один голос все козаки.

— А разве вы его знаете? — спросил батюшка.

— Как же! — отвечал козак с совиным носом.— Мы все его приятели и ждем не дождемся радости, когда его высокородие к нам в гости пожалует.

— Да разве он хотел у вас побывать?

— И не хочет, да будет,— перервал козак с большой головою.— Не так ли, товарищи?

Все гости опять засмеялись, а подьячий, прищурив свои кошачьи глаза, прибавил с лукавой усмешкою:

— Конечно, приехать-то приедет, а нечего сказать, тяжел на подъем! Месяц тому назад совсем было уж в повозку садился, да раздумал.

— Как так? — вскричал батюшка.— Да месяц тому назад он при смерти был болен.

— Вот то-то и есть, сударь! По этому-то самому резонту он было совсем и собрался в дорогу.

— А, понимаю! — прервал батюшка.— Верно, доктора советовали ему ехать туда, где потеплее?

— Разумеется! — подхватили с громким хохотом козаки.— Ведь у нас за теплом дело не станет: грейся, сколь хочешь.

Этот беспрестанный и беспутный хохот гостей, их отвратительные хари, а пуще всего двусмысленные речи, в которых было что-то нечистое и лукавое, весьма не понравились батюшке; но делать было нечего: зазвал гостей, так угощай! Желая как можно скорее отвязаться от таких собеседников, он закричал, чтоб подавали ужинать. Не прошло получаса, как стол уже был накрыт, кушанье поставлено и бутылки с наливкою и виноградным вином внесены в комнату: а все хлопотал и суетился один Андрей. Несколько раз батюшка хотел спросить его, куда подевались другие люди; но всякий раз, как нарочно, кто-нибудь из гостей развлекал его своими разговорами, которые час от часу становились забавнее. Козаки рассказывали ему про свое удальство и молодечество; а приказный про плутни своих товарищей и казусные дела уголовной палаты. Мало-помалу они успели так занять батюшку, что он, садясь с ними за стол, позабыл даже помолиться богу. За ужином батюшка ничего не кушал; но, не желая от-

ставать от гостей, он выпил четыре бутылки вина и две бутылки наливки — это еще не диковинка: покойный мой батюшка пить был здоров и от полдюжины бутылок не свалился бы со стула! Да только вот что было чудно: казалось, гости пили вдвое против него, а из приготовленных шести бутылок вина и четырех наливки только шесть стояло пустых на столе, то есть именно то самое число бутылок, которое выпил один покойник батюшка; он видел, что гости наливали себе полные стаканы, а бутылка всегда доходила до него почти непочатая. Кажется, было чему подивиться; и он точно этому удивлялся — только на другой день, а за ужином все это казалось ему весьма обыкновенным. Я уже вам докладывал, что мой батюшка здоров был пить; но четыре бутылки сантуринского и почти штоф крепкой наливки хоть кого подрумянят. Вот к концу ужина он так распотешился, что даже безобразные лица гостей стали казаться ему миловидными, и он раза два принимался обнимать приказного и перецеловал всех козаков. Час от часу речи их становились беспутнее и наглее; они рассказывали про разные любовные похождения, подшучивали над духовными людьми и даже — страшно вымолвить! — забыв, что они сидят за столом, как сущие еретики и богоотступники, принялись попевать срамные песни и приплясывать, сидя на своих стульях. Во всякое другое время батюшка не потерпел бы такого бесчинства в своем доме; а тут, словно обмороченный, начал сам им подлаживать, затянул: *удалая голова, не ходи мимо сада,* и вошел в такой задор, что хоть сей час вприсядку. Меж тем козаки, наскучив орать во все горло, принялись делать разные штуки: один заговорил брюхом, другой проглотил большое блюдо с хлебенным, а третий ухватил себя за нос, сорвал голову с плеч и начал ею играть, как мячиком. Что ж вы думаете, батюшка испугался? Нет, все это казалось ему очень забавным, и он так и валялся со смеху.

— Эге! — вскричал подьячий.— Да вон там на последнем окне стоит, никак, запасная бутылочка с наливкою: нельзя ли ее прикомандировать сюда? Да не вставай, хозяин; я и так ее достану,— примолвил он, вытягивая руку через всю комнату.

— Ого! какая у тебя ручища-то, приятель! — закричал с громким хохотом батюшка.— Аршин в пять! Недаром же говорят, что у приказных руки длинны...

— Да зато память коротка,— прервал один из козаков.

— А вот увидите! — продолжал подьячий, поставив бутылку посреди стола.— Небось вы забыли, чье надо пить здоровье, а я так помню; начнем с младших! Ну-ка, братцы, хватим по чарке за всех приказных пройдох, за канцелярских молодцев, за удалых подьячих с приписью! чтоб им весь век чернила пить, а бумагой закусывать; чтоб они почаще умирали, да пореже каялись!..

— Что ты, что ты? — проговорил батюшка, задыхаясь со смеху.— Да этак у нас все суды опустеют.

— И, хозяин, о чем хлопочешь! — продолжал приказный, наливая стаканы.— Было бы только болото, а черти заведутся. Ну-ка, за мной — ура!

— Выпили? — закричал козак с крючковатым носом.— Так хлебнем же теперь по одной за здоровье нашего старшого. Кто станет с нами пить, тот наш; а кто наш, тот его!

— А как зовут вашего старшину? — спросил батюшка, принимаясь за стакан.

— Что тебе до его имени! — сказал козак с большой головою.— Говори только за нами: да здравствует тот, кто из рабов хотел сделаться господином и хоть сидел высоко, а упал глубоко, да не тужит.

— Ну кто же он такой?

— Кто наш отец и командир? — продолжал козак.— Мало ли что о нем толкуют! Говорят, что он любит мрак и называет его светом: так что ж? Для умного человека и потемки свет. Рассказывают также, будто бы он жалует Содом, Гомор и всякую беспорядицу для того, дескать, чтоб в мутной воде рыбу ловить; да это все бабьи сплетни. Наш господин барин предобрый; ему служить легко: садись за стол не крестясь, ложись спать не помолясь; пей, веселись, забавляйся, да не верь тому, что печатают под титлами — вот и вся служба. Ну что? ведь не житье, а масленица,— не правда ли?

Как ни был хмелен батюшка, однако ж призадумался.

— Я что-то в толк не беру,— сказал он.

— А вот как выпьешь, так поймешь,— прервал подьячий.— Ну, братцы, разом! Да здравствует наш отец и командир!

Все гости, кроме батюшки, осушили свои стаканы.

— Ба, ба, ба! хозяин! — закричал подьячий.— Да что ж ты не пьешь?

— Нет, любезный! — отвечал батюшка.— Я и так уж пил довольно. Не хочу!

— Да что с тобой сделалось? — спросил толстый козак.— О чем ты задумался? Эй, товарищи! надо развеселить хозяина. Не поплясать ли нам?

— А что, в самом деле! — подхватил приказный.— Мы посидели довольно,— не худо промяться, а то ведь этак, пожалуй, и ноги затекут.

— Плясать так плясать! — закричали все гости.

— Так постойте же, любезные! — сказал батюшка, вставая.— Я велю позвать моего гуслиста.

— Зачем? — прервал подьячий.— У нас и своя музыка найдется. Гей, вы — начинай!

Вдруг за печкою поднялась ужасная возня, запищали гудки, рожки и всякие другие инструменты; загремели бубны и тарелки; потом послышались человеческие голоса; целый хор песельников засвистал, загаркал, да как хватит плясовую — и пошла потеха!

— Ну-ка, хозяин,— проговорил козак с красноватым носом, уставив на батюшку свои зеленые глаза,— посмотрим твоей удали!

— Нет! — сказал батюшка, начиная понимать как будто бы сквозь сон, что дело становится неладно.— Забавляйтесь себе сколько угодно, а я плясать не стану.

— Не станешь? — заревел толстый козак.— А вот увидим!

Все гости вскочили с своих мест.

Покойного батюшку начала бить лихорадка,— да и было от чего: вместо четырех хотя и не красивых, но обыкновенных людей стояли вокруг него четыре пугала такого огромного роста, что когда они вытягивались, то от их голов трещал потолок в комнате. Лица их не переменились, но только сделались еще безобразнее.

— Не станешь!— повторил, ухмыляясь насмешливо, подьячий.— Полно ломаться-то, приятель! И почище тебя с нами плясывали, да еще посторонние; а ведь ты наш.

— Как ваш? — сказал батюшка.

— А чей же? Ты человек грамотный, так, верно, читал, что двум господам служить не можно; а ведь ты служишь нашему.

— Да о каком ты говоришь господине? — спросил батюшка, дрожа как осиновый лист.

— О каком? — прервал большеголовый козак.— Вестимо, о том, о котором я тебе говорил за ужином. Ну вот тот, которого слуги ложатся спать не молясь, садятся за стол

не перекрестясь, пьют, веселятся да не верят тому, что печатают под титлами.

— Да что ж он мне за господин? — промолвил батюшка, все еще не понимая порядком, о чем идет дело.

— Эге, приятель! — подхватил подьячий.— Да ты, никак, стал отнекиваться и чинить запирательство? Нет, любезнейший, от нас не отвертишься! Коли ты исполняешь волю нашего господина, так как же ты ему не слуга? А вспомни-ка хорошенько: молился ли ты сегодня, когда прилег соснуть? Перекрестился ли, садясь ужинать? Не пил ли ты, не веселился ли с нами вдоволь? А часа полтора тому назад, когда ты прочел вон в этой книге слова: «Наш еси, Исакий, да воспляшет с нами!» Что? разве ты этому поверил?

Вся кровь застыла в жилах у батюшки. Вдруг как будто бы сняли с глаз его повязку, хмель соскочил, и все сделалось для него ясным.

— Господи боже мой!..— проговорил он, стараясь оградить себя крестным знамением, да не тут-то было!

Рука не подымалась, пальцы не складывались, но зато уж ноги так и пошли писать! Сначала он один отхватывал голубца с вывертами да вычурами такими, что и сказать нельзя; а там гости подцепили его, да и ну над ним потешаться. Покойник, рассказывая мне об этом, всегда дивился, как у него душа в теле осталась. Он помнил только одно, как комната наполнилась огнем и дымом, как его перебрасывали из рук в руки, играли им в свайку, спускали как волчок, как он кувыркался по воздуху, бился о потолок, вертелся юлою на маковке и как наконец, протанцевав на голове козачка, он совсем обеспамятел.

Когда батюшка очнулся, то увидел, что лежит на канапе и что вокруг его стоят и суетятся его слуги.

— Ну что? — прошептал он торопливо и поглядывая вокруг себя, как полоумный.— Ушли ли они?

— Кто, сударь? — спросил один из лакеев.

— Кто! — повторил батюшка с невольным содроганием.— Кто!.. Ну вот эти козаки и приказный...

— Какие, сударь, козаки и приказный? — прервал буфетчик Фома.— Да сегодня никаких гостей не было, и вы не изволили ужинать. Уж я дожидался, дожидался; и как вошел к вам в комнату, так увидел, что вы лежите на полу, все в поту, изорванные, растрепанные и такие бледные, как будто бы,— не при вас будь слово сказано,— коверкала вас какая-нибудь черная немочь.

— Так у меня сегодня гостей не было? — сказал батюшка, приподымаясь с трудом на ноги.

— Не было, сударь.

— Да неужели я видел все это во сне?.. Да нет! быть не может! — продолжал батюшка, охая и похватывая себя за бока.— А кости-то почему у меня все так перемяты?.. А эти две свечи?.. Кто их на стол поставил?

— Не знаю,— отвечал буфетчик,— видно, вы сами изволили их зажечь, да не помните спросонья.

— Ты врешь! — закричал батюшка.— Я помню, их принес Андрей; он и на стол накрывал и кушанье подавал.

Все люди посмотрели друг на друга с приметным ужасом. Васька-гуслист хотел было что-то сказать, но заикнулся и не выговорил ни слова.

— Ну что ж вы, дурачье, рты-то разинули? — продолжал батюшка.— Говорят вам, что у меня были гости и что Андрей служил за столом.

— Помилуйте, сударь! — сказал буфетчик Фома.— Иль вы изволили забыть, то Андрей около недели лежит больной в горячке.

— Так, видно, ему сделалось лучше. Он ровно в десять часов был здесь. Да что тут толковать! Позовите ко мне Андрея! Где он?

— Вы изволите спрашивать, где Андрей? — проговорил наконец Ванька-гуслист.

— Ну да! где он?

— В избе, сударь; лежит на столе.

— Что ты говоришь? — вскричал батюшка.— Андрей Степанов?..

— Приказал вам долго жить,— перервал дворецкий, входя в комнату.

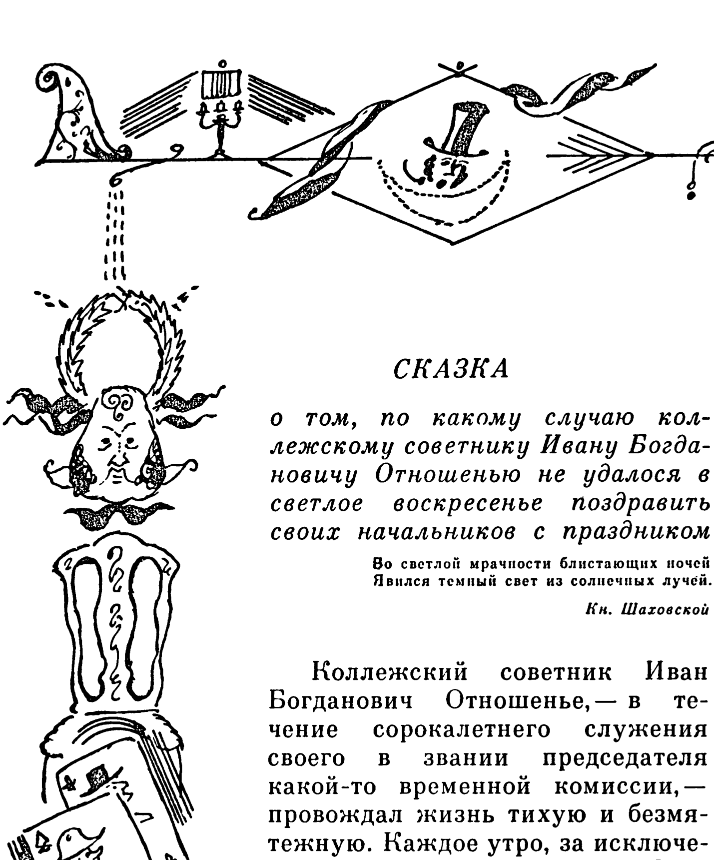
— Он умер!..

— Да, сударь! Ровно в десять часов.

<*1834*>


Владимир Одоевский





СКАЗКА

о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалося в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником

Во светлой мрачности блистающих ночей
Явился темный свет из солнечных лучей.

Кн. Шаховской

Коллежский советник Иван Богданович Отношенье, — в течение сорокалетнего служения своего в звании председателя какой-то временной комиссии, — провождал жизнь тихую и безмятежную. Каждое утро, за исключением праздников, он вставал в 8 часов; в 9 отправлялся в комиссию, где хладнокровно, — не трогаясь ни сердцем, ни с места, не сердясь и не ломая головы понапрасну, — очищал нумера, подписывал отношения, помечал входящие. В сем занятии проходило утро. Подчиненные подражали во всем своему начальнику: спокойно, бесстрастно писали, переписывали бумаги, и составляли им реестры и алфавиты, не обращая внимания ни на дела, ни на просителей. Войдя в комиссию Ивана Богдановича, можно было подумать, что вы вошли в трапезу молчальни-

ков,— таково было ее безмолвие. Какая-то тень жизни появлялась в ней к концу года, пред составлением годовых отчетов; тогда заметно было во всех чиновниках особенного рода движение, а на лице Ивана Богдановича даже беспокойство; но когда по составлении отчета Иван Богданович подводил итог, тогда его лицо прояснялось и он,— ударив по столу рукою и сильно вздохнув, как после тяжкой работы,— восклицал: «Ну, слава богу! в нынешнем году у нас бумаг вдвое более против прошлогоднего!» — и радость разливалась по целой комиссии, и назавтра снова с тем же спокойствием чиновники принимались за обыкновенную свою работу; подобная же аккуратность замечалась и во всех действиях Ивана Богдановича: никто ранее его не являлся поздравлять начальников с праздником, днем имении или рожденья; в Новый год ничье имя выше его не стояло на визитных реестрах; мудрено ли, что за все это он пользовался репутациею основательного, делового человека и аккуратного чиновника. Но Иван Богданович позволял себе и маленькие наслаждения: в будни едва било 3 часа, как Иван Богданович вскакивал с своего места,— хотя бы ему оставалось поставить одну точку к недоконченной бумаге,— брал шляпу, кланялся своим подчиненным и, проходя мимо их, говорил любимым чиновникам — двум начальникам отделений и одному столоначальнику: «Ну... сегодня... знаешь?» Любимые чиновники понимали значение этих таинственных слов и после обеда являлись в дом Ивана Богдановича на партию бостона; и аккуратным поведением начальника было произведено столь благодетельное влияние на его подчиненных, что для них поутру явиться в канцелярию, а вечером играть в бостон казалось необходимою принадлежностию службы. В праздники они не ходили в комиссию и не играли в бостон, потому что в праздничный день Иван Богданович имел обыкновение после обеда,— хорошенько расправив свой Аннинский крест,— выходить один или с дамами на Невский проспект; или заходить в кабинет восковых фигур, или в зверинец, а иногда и в театр, когда давали веселую пьесу и плясали по-цыгански. В сем безмятежном счастии протекло, как сказал я, более сорока лет, и во все это время ни образ жизни, ни даже черты лица Ивана Богдановича нимало не изменились; только он стал против прежнего немного поплотнее.

Однажды случись в комиссии какое-то экстренное дело, и, вообразите себе, в самую страстную субботу; с раннего утра собрались в канцелярию все чиновники, и Иван

Богданович с ними; писали, писали, трудились, трудились и только к четырем часам успели окончить экстренное дело. Устал Иван Богданович после девятичасовой работы; почти обеспамятел от радости, что сбыл ее с рук и, проходя мимо своих любимых чиновников, не утерпел, проговорил: «Ну... сегодня... знаешь?» Чиновники нимало не удивились сему приглашению и почли его естественным следствием их утреннего занятия, так твердо был внушен им канцелярский порядок; они явились в урочное время, разложились карточные столы, поставились свечи, и комнаты огласились веселыми словами: шесть в сюрах, один на червях, мизер уверт и проч. т. п.

Но эти слова достигли до почтенной матушки Ивана Богдановича, очень набожной старушки, которая имела обыкновенье по целым дням не говорить ни слова, не вставать с места и прилежно заниматься вывязыванием на длинных спицах фуфаек, колпаков и других произведений изящного искусства. На этот раз отворились запекшиеся уста ее, и она прерывающимся от непривычки голосом произнесла:

— Иван Богданович! А! Иван Богданович! что ты... это?.. ведь это... это... это... не водится... в такой день... в карты... Иван Богданович!.. а!.. Иван Богданович! что ты... что ты... в эдакой день... скоро заутреня... что ты...

Я и забыл сказать, что Иван Богданович, тихий и смиренный в продолжение целого дня, делался львом за картами; зеленый стол производил на него какое-то очарование, как Сивиллин треножник; духовное начало деятельности, разлитое природою по всем своим произведениям; потребность раздражения; то таинственное чувство, которое заставляет иных совершать преступления, других изнурять свою душу мучительною любовию, третьих прибегать к опиуму,— в организме Ивана Богдановича образовалась под видом страсти к бостону; минуты за бостоном были *сильными минутами* в жизни Ивана Богдановича; в эти минуты сосредоточивалась вся его душевная деятельность, быстрее бился пульс, кровь скорее обращалась в жилах, глаза горели, и весь он был в каком-то самозабвении.

После этого не мудрено, если Иван Богданович почти не слыхал или не хотел слушать слов старушки: к тому же в эту минуту у него на руках были десять в сюрах,— неслыханное дело в четвертом бостоне!

Закрыв десятую взятку, Иван Богданович отдохнул от сильного напряжения и проговорил:

— Не беспокойтесь, матушка, еще до заутрени далеко; мы люди деловые, нам нельзя разбирать времени, нам и бог простит — мы же тотчас и кончим.

Между тем на зеленом столе ремиз цепляется за ремизом; пулька растет горою; проходят игры небывалые, такие игры, о которых долго сохраняется память в изустных преданиях бостонской летописи; игра была во всем пылу, во всей красе, во всем интересе, когда раздался первый выстрел из пушки; игроки не слыхали его; они не видали и нового появления матушки Ивана Богдановича, которая, истощив все свое красноречие, молча покачала головою и наконец ушла из дома, чтобы приискать себе в церкви место попокойнее.

Вот другой выстрел — а они все играют: ремиз цепляется за ремизом, пулька растет, и приходят игры небывалые.

Вот и третий, игроки вздрогнули, хотят приподняться — но не тут-то было: они приросли к стульям; их руки сами собою берут карты, тасуют, раздают; их язык сам собою произносит заветные слова бостона; двери комнаты сами собою прихлопнулись.

Вот на улице звон колокольный, все в движении, говорят прохожие, стучат экипажи, а игроки все играют, и ремиз цепляется за ремизом.

«Пора б кончить!» — хотел было сказать один из гостей, но язык его не послушался, как-то странно перевернутый и, сбитый с толку, произнес:

— Ах! что может сравниться с удовольствием играть в бостон в страстную субботу.

«Конечно! — хотел отвечать ему другой,— да что подумают о нас домашние?» — но и его язык также не послушался, а произнес:

— Пусть домашние говорят что хотят, нам здесь гораздо веселее.

С удивлением слушают они друг друга, хотят противоречить, но голова их сама нагибается в знак согласия.

Вот отошла заутреня, отошла и обедня; добрые люди, а с ним матушка Ивана Богдановича, в веселых мечтах сладко разговеться залегли в постелю; другие примеривают мундир, справляются с адрес-календарем, выправляют визитные реестры. Вот уже рассвело, на улицах чокаются, из карет выглядывает золотое шитье, треугольные шляпы торчат на фризовых и камлотных шинелях, курьеры навеселе шатаются от дверей к дверям, суют

карточки в руки швейцаров и половину сеют на улице, мальчики играют в биток и катают яйца.

Но в комнате игроков все еще ночь; все еще горят свечи; игроков мучит и совесть, и голод, и сон, и усталость, и жажда; судорожно изгибаются они на стульях, стараясь от них оторваться, но тщетно; усталые руки тасуют карты, язык выговаривает «шесть» и «восемь», ремиз цепляется за ремизом, пулька растет, приходят игры небывалые.

Наконец догадался один из игроков и, собрав силы, задул свечки: в одно мгновение они загорелись черным пламенем; во все стороны разлились темные лучи, и белая тень от игроков протянулась по полу; карты выскочили у них из рук: дамы столкнули игроков со стульев, сели на их место, схватили их, перетасовали,— и составилась целая масть Иванов Богдановичей, целая масть начальников отделения, целая масть столоначальников, и началась игра, игра адская, которая никогда не приходила в голову сочинителя «Открытых таинств картежной игры».

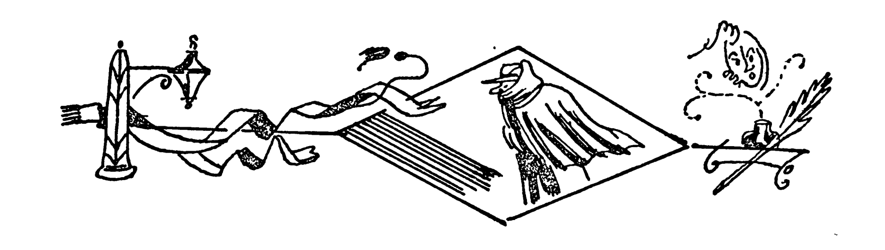
Между тем короли уселись на креслах, тузы на диванах, валеты снимали со свечей, десятки, словно толстые откупщики, гордо расхаживали по комнате, двойки и тройки почтительно прижимались к стенкам.

Не знаю, долго ли дамы хлопали об стол несчастных Иванов Богдановичей, загибали на них углы, гнули их в пароль, в досаде кусали зубами и бросали на пол...

Когда матушка Ивана Богдановича, тщетно ожидавшая его к обеду, узнала, что он никуда не выезжал, и вошла к нему в комнату, он и его товарищи, усталые, измученные, спали мертвым сном: кто на столе, кто под столом, кто на стуле...

И по канцелярии долго дивились: отчего Ивану Богдановичу не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником?

<1833>



СКАЗКА
о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем

Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех.

Гоголь, в «Вечерах на хуторе»

По торговым селам Реженского уезда было сделано от земского суда следующее объявление:

«От Реженского земского суда объявляется, что в ведомстве его, на выгонной земле деревни Морковкиной-Наташиной тож, 21-го минувшего ноября найдено неизвестно чье мертвое мужеска пола тело, одетое в серый суконный ветхий шинель; в нитяном кушаке, жилете суконном красного и отчасти зеленого цвета, в рубашке красной пестрядинной; на голове картуз из старых пестрядинных тряпиц с кожаным козырьком: от роду покойному около 43 лет, росту 2 арш. 10 вершков, волосом светлорус, лицом бел, гладколиц, глаза серые, бороду бреет, подбородок с проседью, нос велик и несколько на сторону, телосложения слабого. По чему сим объявляется: не окажется ли оному телу бывших родственников или владельца оного тела; таковые благоволили бы уведомить от себя в село Морковкино-Наташино тож, где и следствие об оном, неизвестно кому принадлежащем, теле производится; а если таковых не найдется, то и о том благоволили бы уведомить в оное же село Морковкино».

Три недели прошло в ожидании владельцев мертвого тела; никто не являлся, и наконец заседатель с уездным лекарем отправились к помещику села Морковкина в гости; в выморочной избе отвели квартиру приказному Севастьянычу, также прикомандированному на следствие. В той же избе, в заклети, находилось мертвое тело, которое назавтра суд собирался вскрыть и похоронить обыкновенным порядком. Ласковый помещик, для утешения Севастья-

ныча в его уединении, прислал ему с барского двора гуся с подливой да штоф домашней желудочной настойки.

Уже смерклось. Севастьяныч, как человек аккуратный, вместо того чтоб, по обыкновению своих собратий, взобраться на полати возле только что истопленной печи,— рассудил за благо заняться приготовлением бумаг к завтрашнему заседанию, по тому более уважению, что хотя от гуся осталися одни кости, но только четверть штофа была опорожнена; он предварительно поправил светильню в железном ночнике, нарочито для подобных случаев хранимом старостою села Морковкина,— и потом из кожаного мешка вытащил старую замасленную тетрадку. Севастьяныч не мог смотреть на нее без умиления: то были выписки из различных указов, касающихся до земских дел, доставшиеся ему по наследству от батюшки, блаженной памяти подьячего с приписью, в городе Реженске за ябеды, лихоимство и непристойное поведение отставленного от должности, с таковым, впрочем, пояснением, чтобы его впредь никуда не определять и просьб от него не принимать,— за что он и пользовался уважением всего уезда. Севастьяныч невольно вспоминал, что эта тетрадка была единственный кодекс, которым руководствовался Реженский земский суд в своих действиях; что один Севастьяныч мог быть истолкователем таинственных символов этой Сивиллиной книги; что посредством ее магической силы он держал в повиновении и исправника и заседателей и заставлял всех жителей околодка прибегать к себе за советами и наставлениями; почему он и берег ее как зеницу ока, никому не показывал и вынимал из-под спуда только в случае крайней надобности; с усмешкою он останавливался на тех страницах, где частию рукою его покойного батюшки и частию его собственною были то замараны, то вновь написаны разные незначащие частицы как-то: *не, а,* и проч., и естественным образом Севастьянычу приходило на ум: как глупы люди и как умны он и его батюшка.

Между тем он опорожнил вторую четверть штофа и принялся за работу; но пока привычная рука его быстро выгибала крючки на бумаге, его самолюбие, возбужденное видом тетрадки, работало: он вспоминал, сколько раз он перевозил мертвые тела на границу соседнего уезда и тем избавлял своего исправника от излишних хлопот; да и вообще: составить ли определение, справки ли навести, подвести ли законы, войти ли в сношение с просителями, рапортовать ли начальству о невозможности исполнить

его предписания,— везде и на все Севастьяныч; с улыбкою вспоминал он об изобретенном им средстве: всякий повальный обыск обращать в любую сторону; он вспомнил, как еще недавно таким невинным способом он спас одного своего благоприятеля, этот благоприятель сделал какое-то дельце, за которое мог бы легко совершить некоторое не совсем приятное путешествие; учинен допрос, наряжен повальный обыск,— но при сем случае Севастьяныч надоумил спросить прежде всех одного грамотного молодца с руки его благоприятелю; по словам грамотного молодца написали бумагу, которую грамотный молодец, перекрестяся, подписал, а сам Севастьяныч приступил к одному обывателю, к другому, к третьему с вопросом: «И ты тоже, и ты тоже?» — да так скоро начал перебирать их, что, пока обыватели еще чесали за ухом и кланялись, приготовляясь к ответу,— он успел их переспросить всех до последнего, и грамотный молодец снова, за неумением грамоты своих товарищей, подписал, перекрестяся, их *единогласное* показание. С не меньшим удовольствием вспоминал Севастьяныч, как при случившемся значительном начете на исправника он успел вплести в это дело человек до пятнадцати, начет разложить на всю братию, а потом всех и подвести под милостивый манифест.— Словом, Севастьяныч видел, что во всех знаменитых делах Реженского земского суда он был единственным виновником, единственным выдумщиком и единственным исполнителем; что без него бы погиб заседатель, погиб исправник, погиб и уездный судья, и уездный предводитель; что им одним держится древняя слава Реженского уезда,— и невольно по душе Севастьяныча пробежало сладкое ощущение собственного достоинства. Правда, издали — как будто из облаков — мелькали ему в глаза сердитые глаза губернатора, допрашивающее лицо секретаря уголовной палаты; но он посмотрел на занесенные метелью окошки; подумал о трех стах верстах, отделяющих его от сего ужасного призрака; для увеличения бодрости выпил третью четверть штофа — и мысли его сделались гораздо веселее: ему представился его веселый реженский домик, нажитый своим умком; бутыли с наливкою на окошке между двумя бальзаминными горшками; шкап с посудою и между нею в средине на почетном месте хрустальная на фарфоровом блюдце перешница: вот идет его полная белолицая Лукерья Петровна, в руках у ней сдобный крупитчатый каравай; вот телка, откормленная к святкам, смотрит на Севастьяныча; большой чайник с самоваром ему кланяется и по-

двигается к нему; вот теплая лежанка, а возле лежанки перина с камчатным одеялом, а под периною свернутый лоскут пестрядки, а в пестрядке белая холстинка, и в холстинке кожаный книжник, а в книжнике серенькие бумажки; — тут воображение перенесло Севастьяныча в лета его юности, ему представилось его бедное житье-бытье в батюшкином доме; как часто он голодал от матушкиной скупости; как его отдали к дьячку учиться грамоте, — он от души хохотал, вспоминая, как однажды с товарищами забрался к своему учителю в сад за яблоками и напугал дьячка, который принял его за настоящего вора; как за то был высечен и в отмщение оскоромил своего учителя в самую страстную пятницу; потом представлялось ему: как наконец он обогнал всех своих сверстников и достиг до того, что читал апостол в приходской церкви. начиная самым густым басом и кончая самым тоненьким голоском, на удивление всему городу; как исправник, заметив, что в ребенке будет прок, приписал его к земскому суду; как он начал входить в ум; оженился с своею дражайшею Лукерьей Петровной; получил чин губернского регистратора, в коем и до днесь пребывает да добра наживает; сердце его растаяло от умиления, и он на радости опорожнил и последнюю четверть обворожительного напитка. Тут пришло Севастьянычу в голову, что он не только что в приказе, но хват на все руки: как заслушиваются его, когда он под вечерок в веселый час примется рассказывать о Бове Королевиче, о похождениях Ваньки Каина, о путешествии купца Коробейникова в Иерусалим — неумолкаемые гусли, да и только! — и Севастьяныч начал мечтать: куда бы хорошо было, если бы у него была сила Бовы Королевича и он бы смог кого за руку — у того рука прочь, кого за голову — у того голова прочь; потом захотелось ему посмотреть, что за Кипрский такой остров есть, который, как описывает Коробейников, изобилен деревянным маслом и греческим мылом, где люди ездят на ослах и на верблюдах, и он стал смеяться над тамошними обывателями, которые не могут догадаться запрячь их в сани; тут начались в голове его рассуждения: он нашел, что или в книгах неправду пишут, или вообще греки должны быть народ очень глупый, потому что он сам расспрашивал у греков, приезжавших на реженскую ярмарку с мылом и пряниками и которые, кажется, должны были знать, что в их земле делается, — зачем они взяли город Трою — как именно пишет Коробейников, — а Царьград уступили туркам! и никакого толка от этого

народа не мог добиться: что за Троя такая, греки не могли ему рассказать, говоря, что, вероятно, выстроили и взяли этот город в их отсутствие;— пока он занимался этим важным вопросом, пред глазами его проходили: и арабские разбойники; и Гнилое море; и процессия погребения кота; и палаты царя Фараона, внутри все вызолоченные; и птица Строфокамил, вышиною с человека, с утиною головою, с камнем в копыте...

Его размышления были прерваны следующими словами, которые кто-то проговорил подле него:

— Батюшка, Иван Севастьяныч! я к вам с покорнейшею просьбою.

Эти слова напомнили Севастьянычу его ролю приказного, и он, по обыкновению, принялся писать гораздо скорее, наклонив голову как можно ниже и, не сворачивая глаз с бумаги, отвечал протяжным голосом:

— Что вам угодно?

— Вы от суда вызываете владельцев поднятого в Морковкине мертвого тела?

— Та-ак-с.

— Так изволите видеть — это тело мое.

— Та-ак-с.

— Так нельзя ли мне сделать милость, поскорее его выдать?

— Та-ак-с.

— А уж на благодарность мою надейтесь...

— Та-ак-с.— Что же покойник-та, крепостной, что ли, ваш был?..

— Нет, Иван Севастьяныч, какой крепостной, это тело мое, собственное мое...

— Та-ак-с.

— Вы можете себе вообразить, каково мне без тела... сделайте одолжение, помогите поскорее.

— Все можно-с, да трудновато немного скоро-то это сделать,— ведь оно не блин, кругом пальца не обвернешь; справки надобно навести... Кабы подмазать немного...

— Да уж в этом не сомневайтесь,— выдайте лишь только мое тело, так я и пятидесяти рублей не пожалею...

При сих словах Севастьяныч поднял голову, но, не видя никого, сказал:

— Да войдите сюда, что на морозе стоять.

— Да я здесь, Иван Севастьяныч, возле вас стою.

Севастьяныч поправил лампадку, протер глаза, но, не видя ничего, пробормотал:

— Тьфу, к черту! — да что я, ослеп, что ли? Я вас не вижу, сударь.

— Ничего нет мудреного! как же вам меня видеть? я — без тела!

— Я, право, в толк не возьму вашей речи, дайте хоть взглянуть на себя.

— Извольте, я могу вам показаться на минуту... только мне это очень трудно...

И при этих словах в темном углу стало показываться какое-то лицо без образа: то явится, то опять пропадет, словно молодой человек, в первый раз приехавший на бал,— хочется ему подойти к дамам и боится, выставит лицо из толпы и опять спрячется...

— Извините-с,— между тем говорил голос,— сделайте милость, извините, вы не можете себе вообразить, как трудно без тела показываться!.. сделайте милость, отдайте мне его поскорее,— говорят вам, что пятидесяти рублей не пожалею.

— Рад вам служить, сударь, но, право, в толк не возьму ваших речей... есть у вас просьба?..

— Помилуйте, какая просьба? как мне было без тела ее написать? уж сделайте милость, вы сами потрудитесь.

— Легко сказать, сударь, потрудиться, говорят вам, что я тут ни черта не понимаю...

— Уж пишите только,— я вам буду сказывать.

Севастьяныч вынул лист гербовой бумаги.

— Скажите, сделайте милость: есть ли у вас по крайней мере чин, имя и отчество?

— Как же?.. Меня зовут Цвеерлей-Джон-Луи.

— Чин ваш, сударь?

— Иностранец.

И Севастьяныч написал на гербовом листе крупными словами:

«В Реженский земский суд от иностранного недоросля из дворян Савелия Жалуева объяснение».

— Что ж далее?

— Извольте только писать, я уж вам буду сказывать; пишите: имею я...

— Недвижимое имение, что ли? — спросил Севастьяныч.

— Нет-с: имею я несчастную слабость...

— К крепким напиткам, что ли? о, это весьма непохвально...

— Нет-с: имею я несчастную слабость выходить из моего тела...

— Кой черт! — вскричал Севастьяныч, кинув перо,— да вы меня морочите, сударь!

— Уверяю вас, что говорю сущую правду, пишите, только знайте: пятьдесят рублей вам за одну просьбу, да пятьдесят еще, когда выхлопочете дело...

И Севастьяныч снова принялся за перо.

«Сего 20 октября ехал я в кибитке, по своей надобности, по реженскому тракту, на одной подводе, и как на дворе было холодно, и дороги Реженского уезда особенно дурны...»

— Нет, уж на этом извините,— возразил Севастьяныч,— этого написать никак нельзя, это личности, а личности в просьбах помещать указами запрещено...

— По мне, пожалуй; ну, так просто: на дворе было так холодно, что я боялся заморозить свою душу, да и вообще мне так захотелось скорее приехать на ночлег... что я не утерпел... и по своей обыкновенной привычке выскочил из моего тела...

— Помилуйте! — вскричал Севастьяныч.

— Ничего, ничего, продолжайте; что ж делать, если такая у меня привычка... ведь в ней ничего нет противозаконного, не правда ли?

— Та-ак-с,— ответил Севастьяныч,— что ж далее?

— Извольте писать: выскочил из моего тела, уклал его хорошенько во внутренности кибитки... чтобы оно не выпало, связал у него руки вожжами и отправился на станцию в той надежде, что лошадь сама прибежит на знакомый двор...

— Должно признаться,— заметил Севастьяныч,— что вы в сем случае поступили очень неосмотрительно.

— Приехавши на станцию, я влез на печку отогреть душу, и когда, по расчислению моему, лошадь должна была возвратиться на постоялый двор... я вышел ее проведать, но, однако же, во всю ту ночь ни лошадь, ни тело не возвращались. На другой день утром я поспешил на то место, где оставил кибитку... но уже и там ее не было... полагаю, что бездыханное мое тело от ухабов выпало из кибитки и было поднято проезжим исправником, а лошадь уплелась за обозами... После трехнедельного тщетного искания я, уведомившись ныне о объявлении Реженского земского суда, коим вызываются владельцы найденного тела, покорнейше прошу оное мое тело мне выдать, яко законному своему владельцу... к чему присовокупляю покорнейшую просьбу, дабы благоволил вышеписаный суд сделать распоряжение оное тело мое предварительно опустить в хо-

лодную воду, чтобы оно отошло; если же от случившегося падения есть в том часто упоминаемом теле какой-либо изъян или оное от мороза где-либо попортилось, то оное чрез уездного лекаря приказать поправить на мой кошт и о всем том учинить как законы повелевают, в чем и подписуюсь.

— Ну, извольте же подписывать,— сказал Севастьяныч, окончив бумагу.

— Подписывать! легко сказать! говорят вам, что у меня теперь со мною рук нету — они остались при теле; подпишите вы за меня, что за неимением рук...

— Нет! извините,— возразил Севастьяныч,— этакой и формы нет, а просьб, писанных не по форме, указами принимать запрещено; если вам угодно: за неумением грамоты...

— Как заблагорассудите! по мне все равно.

И Севастьяныч подписал: «К сему объяснению за неумением грамоты, по собственной просьбе просителя, губернский регистратор Иван Севастьянов сын Благосердов руку приложил».

— Чувствительнейше вам обязан, почтеннейший Иван Севастьянович! Ну, теперь вы похлопочите, чтоб это дело поскорее решили; не можете себе вообразить, как неловко быть без тела!.. а я сбегаю покуда повидаться с женою, будьте уверены, что я уже вас не обижу.

— Постойте, постойте, ваше благородие! — вскричал Севастьяныч,— в просьбе противоречие. Как же вы без рук уклались или уклали в кибитке свое тело? Тьфу, к черту, ничего не понимаю.

Но ответа не было. Севастьяныч прочел еще раз просьбу, начал над нею думать, думал, думал...

Когда он проснулся, ночник погас и утренний свет пробился сквозь обтянутое пузырем окошко. С досадою он взглянул на пустой штоф, пред ним стоявший; эта досада выбила у него из головы ночное происшествие, он забрал свои бумаги не посмотря и отправился на барский двор в надежде там опохмелиться.

Заседатель, выпив рюмку водки, принялся разбирать Севастьянычевы бумаги и напал на просьбу иностранного недоросля из дворян.

— Ну, брат Севастьяныч,— вскричал, прочитав ее,— ты вчера на сон грядущий порядком подтянул; экую околесную нагородил! Послушайте-ка, Андрей Игнатьевич,— прибавил он, обращаясь к уездному лекарю,— вот нам какого просителя Севастьяныч предоставил.— И он прочел

уездному лекарю курьезную просьбу от слова до слова, помирая со смеху.

— Пойдемте-ка, господа,— сказал он наконец,— вскроем это болтливое тело, да если оно не отзовется, так и похороним его подобру-поздорову, в город пора.

Эти слова напомнили Севастьянычу ночное происшествие, и как оно ни странно ему казалось, но он вспомнил о пятидесяти рублях, обещанных ему просителем, если он выхлопочет ему тело, и серьезно стал требовать от заседателя и лекаря, чтоб тело не вскрывать, потому что этим можно его перепортить, так что оно уже никуда не будет годиться, а просьбу записать во входящий обыкновенным порядком.

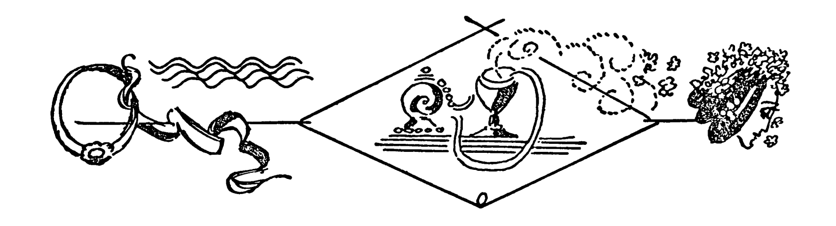
Само собою разумеется, что на это требование Севастьянычу отвечали советами протрезвиться, тело вскрыли, ничего в нем не нашли и похоронили.

После сего происшествия мертвецова просьба стала ходить по рукам; везде ее списывали, дополняли, украшали, читали, и долго реженские старушки крестились от ужаса, ее слушая.

Предание не сохранило окончания сего необыкновенного происшествия: в одном соседнем уезде рассказывали, что в то самое время, когда лекарь дотронулся до тела своим бистурием, владелец вскочил в тело, тело поднялось, побежало и что за ним Севастьяныч долго гнался по деревне, крича изо всех сил: «Лови, лови покойника!»

В другом же уезде утверждают, что владелец и до сих пор каждое утро и вечер приходит к Севастьянычу, говоря: «Батюшка Иван Севастьяныч, что ж мое тело? когда вы мне его выдадите?» — и что Севастьяныч, не теряя бодрости, отвечает: «А вот собираются справки». Тому прошло уже лет двадцать.

<1833>



СИЛЬФИДА

(Из записок благоразумного человека)

Посв. Анас. Серг. П-вой

Поэта мы увенчаем цветами и выведем его вон из города.

Платон

Три столба у царства: поэт, меч и закон.

Предания северных бардов

Поэты будут употребляться лишь в назначенные дни для сочинения гимнов общественным постановлениям.

Одна из промышленных компаний XVIII века.

!?!?

XIX век

Письмо I

Наконец я в деревне покойного дядюшки. Пишу к тебе, сидя в огромных дедовских креслах, у окошка; правда, перед глазами у меня вид не очень великолепный: огород, две-три яблони, четвероугольный пруд, голое поле — и только; видно, дядюшка был не большой хозяин; любопытно знать, что же он делал, проживая здесь в продолжение пятнадцати лет безвыездно. Неужели он, как один из моих соседей, встанет поутру рано, часов в пять, напьется чаю и сядет раскладывать гранпасьянс вплоть до обеда; отобедает, ляжет отдохнуть и опять за гранпасьянс вплоть до ночи; так проходят 365 дней. Не понимаю. Спрашивал я у людей, чем занимался дядюшка? Они мне отвечали: «Да *так-с*». Мне этот ответ чрезвычайно нравится. Такая жизнь имеет что-то поэтическое, и я надеюсь вскоре последовать примеру дядюшки; право, умный был человек покойник!

В самом деле, я здесь по крайней мере хладнокровнее, нежели в городе, и доктора́ очень умно сделали, отправив меня сюда: они, вероятно, сделали это для того, чтоб сбыть

меня с рук; но, кажется, я их обману: сплин мой, подивись, почти прошел; напрасно думают, что рассеянная жизнь может лечить больных в моем роде; неправда: светская жизнь бесит, книги также бесят, а здесь, вообрази себе мое счастие,— я почти никого не вижу, и со мной нет ни одной книги! этого счастия описать нельзя — надобно испытать его. Когда книга лежит на столе, то невольно протягиваешь к ней руку, раскрываешь, читаешь: начало тебя заманивает, обещает золотые горы,— подвигаешься дальше, и видишь одни мыльные пузыри, ощущаешь то ужасное чувство, которое испытали все ученые от начала веков до нынешнего года включительно: искать и не находить! Это чувство мучило меня с тех пор, как я начал себя помнить, и я ему приписываю те минуты сплина, которые докторам угодно приписывать желчи.

Однако ж не думай, чтоб я жил совершенно отшельником: по древнему обычаю, я, как новый помещик, сделал визиты всем моим соседям, которых, к счастию, немного; говорил с ними об охоте, которой терпеть не могу, о земледелии, которого не понимаю, и об их родных, о которых сроду не слыхивал. Но все эти господа так радушны, так гостеприимны, так чистосердечны, что я их от души полюбил; ты не можешь себе представить, как меня прельщает их полное равнодушное невежество обо всем, что происходит вне их уезда; с каким наслаждением я слушаю их невероятные суждения о единственном нумере «Московских ведомостей», получаемом на целый уезд; в этом нумере, для предосторожности обвернутом в обойную бумагу, читается по очереди все, от привода лошадей в столицу до ученых известий включительно; первые, разумеется, читаются с любопытством, а последние для смеха,— который я разделяю с ними от чистого сердца, хотя по другой причине; за то пользуюсь всеобщим уважением. Прежде они меня боялись и думали, что я, как приезжий из столицы, буду им читать лекции о химии или плодопеременном хозяйстве; но когда я им высказал, что, по моему мнению, лучше ничего не знать, нежели знать столько, сколько знают наши ученые, что ничто столько не противно счастию человека, как много знать, и что невежество никогда еще не мешало пищеварению, тогда они ясно увидели, что я добрый малый и прекраснейший человек, и стали мне рассказывать свои разные шутки над теми умниками, которые назло рассудку заводят в своих деревнях картофель, молотильни, крупчатки и другие разные вычурные новости; умора, да и только! —

И поделом этим умникам — об чем они хлопочут? Которые побойчее, те из моих новых друзей рассуждают и о политике; всего больше их тревожит турецкий султан по старой памяти, и очень их занимает распря у Тигил-Бузи с Гафис-Бузи; также не могут они добраться, отчего Карла X начали называть Дон-Карлосом... Счастливые люди! Мы спасаемся от омерзения, которое наводит на душу политика, искусственным образом,— т. е. отказываемся читать газеты, а они самым естественным — т. е. читают и не понимают...

Истинно, смотря на них, я более и более уверяюсь, что истинное счастие может состоять только в том, чтоб все знать или ничего не знать, и как первое до сих пор человеку невозможно, то должно избрать последнее. Я эту мысль в разных видах проповедую моим соседям: она им очень по сердцу; а меня очень забавляет то умиление, с которым они меня слушают. Одного они не понимают во мне: как я, будучи *прекраснейшим* человеком, не пью пунша и не держу у себя псовой охоты: но надеюсь, что они к этому привыкнут и мне удастся, хотя в нашем уезде, убить это негодное просвещение, которое только выводит человека из терпения и противится его внутреннему, естественному влечению: сидеть склавши руки... Но к черту философия! она умеет вмешаться в мысли самого животного человека... Кстати о животных: у иных из моих соседей есть прехорошенькие дочки, которых, однако ж, нельзя сравнить с цветами, а разве с огородной зеленью,— тучные, полные, здоровые — и слова от них не добьешься. У одного из ближайших моих соседей, очень богатого человека, есть дочь, которую, кажется, зовут Катенькой и которую можно бы почесть исключением из общего правила, если б она также не имела привычки прижимать язычок к зубам и краснеть при каждом слове, которое ей скажешь. Я бился с нею около получаса и до сих пор не могу решить, есть ли ум под этою прекрасною оболочкою, а эта оболочка в самом деле прекрасна. В ее полузаспанных глазках, в этом носике, вздернутом кверху, есть что-то такое милое, такое ребяческое, что невольно хочется расцеловать ее. Мне очень *желательно*, как здесь говорят, заставить заговорить эту куколку, и я приготовляюсь в будущее свидание начать разговор хоть словами несравненного Ивана Федоровича Шпоньки: *«летом-с бывает очень много мух»*[1], и посмотрю, не выйдет ли из

[1] *Гоголь. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

этого разговора нечто продолжительнее беседы Ивана Федоровича с его невестою.

Прощай. Пиши ко мне чаще; но от меня ожидай писем редко; мне очень весело читать твои письма, но едва ли не столь же весело не отвечать на них.

Письмо II

(Два месяца спустя после первого)

Говори теперь о твердости духа человеческого! Давно ли я радовался, что со мною нет ни одной книги; но не прошел месяц, как мне взгрустнулось по книгам. Началось тем, что соседи мои надоели мне до смерти; правду ты мне писал, что я напрасно сообщаю им мои иронические замечания об ученых и что мои слова, возвышая их глупое самолюбие, еще больше сбивают их с толка. Да! я уверился, мой друг: невежество не спасенье. Я скоро здесь нашел все те же страсти, которые меня пугали между людьми так называемыми образованными, то же честолюбие, то же тщеславие, та же зависть, то же корыстолюбие, та же злоба, та же лесть, та же низость, только с тою разницею, что все эти страсти здесь сильнее, откровеннее, подлее,— а между тем предметы мельче. Скажу более: человека образованного развлекает самая его образованность, и душа его по крайней мере не каждую минуту своего существования находится в полном унижении; музыка, картина, выдумка роскоши — все это отнимает у него время на низости... Но моих друзей страшно узнать поближе; эгоизм проникает, так сказать, весь состав их; обмануть в покупке, выиграть неправое дело, взять взятку — считается не втихомолку, но прямо, открыто, делом умного человека; ласкательство к человеку, из которого можно извлечь пользу,— долгом благовоспитанного человека; долголетняя злоба и мщение — естественным делом; пьянство, карточная игра, разврат, какой никогда в голову не войдет человеку образованному,— невинным, позволенным отдыхом. И между тем они несчастливы, жалуются и проклинают жизнь свою.— Как и быть иначе! Вся эта безнравственность, все это полное забвение человеческого достоинства переходит от деда к отцу, от отца к сыну в виде отеческих наставлений и примера и заражает целые поколения. Я понял, наблюдая вблизи этих господ, отчего безнравственность так тесно соединена с невежеством, а невежество с несчастием: христианство недаром призывает человека к забве-

нию здешней жизни; чем более человек обращает внимания на свои вещественные потребности, чем выше ценит все домашние дела, домашние огорчения, речи людей, их обращение в отношении к нему, мелочные наслаждения — словом, всю мелочь жизни,— тем он несчастливее; эти мелочи становятся для него целию бытия; для них он заботится, сердится, употребляет все минуты дня, жертвует всею святынею души, и так как эти мелочи бесчисленны, душа его подвергается бесчисленным раздражениям; характер портится; все высшие, отвлеченные, успокаивающие понятия забываются; терпимость, эта высшая из добродетелей, исчезает,— и человек невольно становится зол, вспыльчив, злопамятен, нетерпящ; внутренность души его становится адом. Примеры этого мы видим ежедневно: человек всегда беспокойный, не нарушили ль в отношении к нему уважения или приличий; хозяйка дома, вся погруженная в смотрение за хозяйством; ростовщик, беспрестанно занятый учетом процентов; чиновник, в канцелярском педантизме забывающий истинное назначение службы; человек, в низких расчетах забывающий свое достоинство,— посмотрите на этих людей в их домашнем кругу, в сношении с подчиненными — они ужасны: жизнь их есть беспрерывная забота, никогда не достигающая своей цели, ибо они столько пекутся о средствах для жизни, что жить не успевают! Вследствие этих печальных наблюдений над моими деревенскими друзьями я заперся и не велел никого из них пускать к себе. Оставшись один, я побродил по комнате, посмотрел несколько раз на свой четвероугольный пруд, попробовал было срисовать его; но ты знаешь, что карандаш мне никогда не давался: трудился, трудился — вышла гадость; принялся было за стихи — вышел, по обыкновению, скучный спор между мыслями, стопами и рифмами; я даже было запел, хотя никогда не мог наладить u ditanti palpiti[1] — и наконец, увы! призвал старого управителя покойного моего дядюшки и невольно спросил у него: «Да неужели у дядюшки не было никакой библиотеки?» Седой старичок низко мне поклонился и отвечал: «Нет, батюшка; такой у нас никогда не бывало».— «Да что же такое,— спросил я,— в этих запечатанных шкапах, которые я видел на мезонине?» — «Там, батюшка, лежат книги; по смерти дядюшки вашего тетушка изволила запечатать эти шкапы и отнюдь не приказывала никому трогать».— «Открой их».

[1] *Буквально:* с волнением, с трепетом *(ит.)*.

Мы взошли на мезонин; управитель отдернул едва державшиеся восковые печати — шкап открыт, и что я увидел? Дядюшка, чего я до сих пор не подозревал, был большим мистиком. Шкапы были наполнены сочинениями Парацельсия, графа Габалиса, Арнольда Виллановы, Раймонда Луллия и других алхимиков и кабалистов. Я даже заметил в шкапу остатки некоторых химических снарядов. Покойный старик, верно, искал философского камня... проказник! и как он умел сохранять это в секрете!

Нечего было делать; я принялся за те книги, которые нашлись, и теперь, вообрази себе меня, человека в XIX-м веке, сидящего над огромными фолиантами и со всеусердием читающего рассуждение: о первой материи, о всеобщем электре, о душе солнца, о северной влажности, о звездных духах и о прочем тому подобном. Смешно, и скучно, и любопытно. За этими хлопотами я почти позабыл о моей соседке, хотя ее батюшка (один порядочный, хотя и скучный, человек из всего уезда) часто у меня бывает и очень за мною ухаживает; все, что я ни слышу об ней, все показывает, что она, как называли в старину, предостойная девица, т. е. имеет большое приданое; между тем я слышал стороною, что она делает много добра, например выдает замуж бедных девушек, дает им денег на свадьбу и часто усмиряет гнев своего отца, очень вспыльчивого человека; все окрестные жители называют ее ангелом — это не по-здешнему. Впрочем, эти девушки всегда имеют большую склонность выдавать замуж, если не себя, так других. Отчего бы это?..

Письмо III

(Два месяца спустя)

Ты, я чаю, думаешь, что я не только влюбился, но даже женился,— ты ошибаешься. Я занят совсем другим делом; я пью — и знаешь ли что? чего не выдумает безделье! я пью — воду... Не смейся: надобно знать, какую воду. Роясь в библиотеке моего дядюшки, я нашел рукописную книгу, в которой содержались разные рецепты для вызывания элементарных духов. Многие из них были смешны до крайности; тут требовалась печенка из белой вороны, то стеклянная соль, то алмазное дерево, и по большой части все составы были таковы, что их не отыщешь ни в одной аптеке. Между прочими рецептами я нашел следующий: «Элементарные духи,— говорит автор,— очень любят людей, и довольно со стороны человека малейшего

усилия, чтоб войти в сношение с ними; так, например, для того чтоб видеть духов, носящихся в воздухе, достаточно собрать солнечные лучи в стеклянный сосуд с водою и пить ее каждый день. Этим таинственным средством дух солнца будет мало-помалу входить в человека, и глаза его откроются для нового мира. Кто же решится обручиться с ними посредством одного из благородных металлов, тот постигнет самый язык стихийных духов, их образ жизни, и его существование соединится с существованием избранного им духа, который даст ему познание о таких таинствах природы... но более мы говорить не смеем... Sapienti sat...[1] здесь и без того много, много уже сказано для просветления ума твоего, любезный читатель», — и проч. и проч. Этот способ показался мне столько простым, что я вознамерился испытать его, хоть для того, чтобы иметь право похвастаться, что я на себе испытал кабалистическое таинство. Я вспомнил было ундину, которая так утешала меня в ребячестве; но, не желая иметь дела с ее дядюшкою, я пожелал видеть сильфиду; с этою мыслию — чего не делает безделье? — бросил бирюзовый перстень в хрустальную вазу с водою, выставил эту воду на солнце, к вечеру, ложась спать, ее выпиваю, и до сих пор я нахожу, что по крайней мере это очень здорово; еще никакой элементарной силы я не вижу, а только сон мой сделался спокойнее.

Знаешь ли, что я не перестаю читать моих кабалистов и алхимиков, и знаешь ли, что я еще скажу тебе: эти книги для меня весьма занимательны. Как милы, как чистосердечны их сочинители: «Наше дело, — говорят они, — очень просто: женщина, не оставляя своего веретена, может совершить его, — умей только понимать нас». — «Я видел, — говорит один, — при мне это было, когда Парацельсий превратил одиннадцать фунтов свинца в золото». — «Я сам, — говорит другой, — я сам умею извлекать из природы первоначальную материю, и сам посредством ее могу легко превращать все металлы один в другой по произволению». — «Прошлого года, — говорит третий, — я сделал из глины очень хороший яхонт» и проч. У всякого после этого откровенного признания следует краткая, но исполненная жизни молитва. Для меня необыкновенно трогательно это зрелище: человек говорит с презрением о том, что они называют ученостию профанов, т. е. нас; с гордою самоуверенностию достигает или думает

[1] *Для понимающего достаточно (лат.).*

достигнуть до последних пределов человеческой силы — и на сей высокой точке смиряется, произнося благородную, простосердечную молитву всевышнему. Невольно веришь знанию такого человека; один невежда может быть атеистом, как один атеист невеждою. Мы, гордые промышленники XIX-го века, мы напрасно пренебрегаем этими книгами и даже не хотим знать о них. Посреди разных глупостей, показывающих младенчество физики, я нашел много мыслей глубоких; многие из этих мыслей могли казаться ложными в XVIII-м веке, но теперь большая часть из них находит себе подтверждение в новых открытиях: с ними то же случилось, что с драконом, которого тридцать лет тому почитали существом баснословным и которого теперь отыскали налицо, между допотопными животными. Скажи, должны ли мы теперь сомневаться в возможности превращать свинец в золото с тех пор, как мы нашли способ творить воду, которую так долго почитали первоначальною стихиею? Какой химик откажется от опыта разрушить алмаз и снова восстановить его в первобытном виде? А чем мысль делать золото смешнее мысли делать алмазы? Словом, смейся надо мною как хочешь, но я тебе повторяю, что эти позабытые люди достойны нашего внимания; если нельзя во всем им верить, то, с другой стороны, нельзя сомневаться, что их сочинения не намекают о таких знаниях, которые теперь потерялись и которые бы не худо снова найти; в этом ты уверишься, когда я тебе пришлю выписку из библиотеки моего дядюшки.

Письмо IV

В последнем моем письме я забыл тебе написать именно то, для чего я начал его. Дело в том, что я нахожусь, мой друг, в странном положении и прошу у тебя совета; я писал к тебе уже несколько раз о Катеньке, дочери моего соседа; мне наконец удалось заставить говорить ее, и я узнал, что она не только имеет природный ум и чистое сердце, но еще совсем неожиданное качество: а именно — она влюблена в меня по уши. Вчера приехал ко мне отец ее и рассказал мне то, о чем я слышал только мельком, препоручая все мои дела управителю; у нас производится тяжба об нескольких тысячах десятинах леса, которые составляют главный доход моих крестьян; эта тяжба длится уже более тридцати лет, и если она кончится не в мою

пользу, то мои крестьяне будут совершенно разорены. Ты видишь, что это дело очень важное. Сосед мой рассказал мне его с величайшими подробностями и кончил предложением помириться; а чтоб этот мир был прочнее, то он дал мне очень тонко почувствовать, что ему бы очень хотелось иметь во мне зятя. Это была совершенно водевильная сцена, но она заставила меня задуматься. Что, в самом деле? молодость моя уже прошла, великим человеком мне не бывать, все мне надоело; Катя девушка премилая, послушлива, неговорливая; женившись на ней, я кончу глупую тяжбу и сделаю хоть одно доброе дело в жизни: упрочу благосостояние людей, мне подвластных; одним словом, мне очень хочется жениться на Кате, зажить степенным помещиком, поручить жене управление всеми делами, а самому по целым дням молчать и курить трубку. Ведь это рай, не правда ли?.. Все это вступление к тому, что, как бы сказать тебе, что я уже решился жениться, но еще не говорил об этом отцу Кати, и не буду говорить, пока не дождусь от тебя ответа на следующие вопросы: как ты думаешь, гожусь ли я быть женатым человеком? спасет ли меня от сплина жена, которая, не забудь, имеет привычку по целым дням не говорить ни слова и, следственно, не имеет никакого средства надоесть мне? одним словом, должно ли еще мне подождать, пока из меня выйдет что-нибудь новое, неожиданное, оригинальное, или просто, как говорится, я уже кончил свой карьер, и мне остается заботиться только о том, чтоб из моей особы можно было сделать как можно больше спермацета? Ожидаю от тебя ответа с нетерпением.

Письмо V

Благодарю тебя, мой друг, за твою решительность, твои советы и за благословение; едва я получил твое письмо, как поскакал к отцу моей Кати и сделал формальное предложение. Ежели б ты видел, как Катя обрадовалась, покраснела; она даже мне проговорила следующую фразу, в которой вылилась вся чистая и невинная душа ее: «Я не знаю,— сказала она мне,— удастся ли мне это, но я постараюсь сделать вас столько счастливым, как я сама буду счастлива». Эти слова очень просты, но если б ты слышал, с каким выражением они были сказаны; ты знаешь, что часто в одном слове больше скрывается чувства, нежели в длинной речи; в Катиных словах я видел целый мир мыслей: они должны были ей дорого стоить,

и я умел оценить всю силу, которую дала ей любовь, чтоб превозмочь девическую робость. Действия человека важны по сравнению с его силами, а я до сих пор думал, что превозмочь робость было свыше сил Кати... После этого, ты можешь себе представить, что мы обнялись, поцеловались, старик расплакался, и по окончании поста мы веселым пирком да и за свадебку. Приезжай ко мне непременно, брось все свои дела — я хочу, чтоб ты был свидетелем моего, как говорят, счастия; приезжай хоть для курьеза, посмотреть на жениха с невестою, каких ты, верно, никогда не видывал: сидят друг против друга, смотрят обоими глазами, оба молчат и оба очень довольны.

Письмо VI

(Несколько недель спустя)

Не знаю, как начать мне мое письмо; ты меня почтешь сумасшедшим; ты будешь смеяться, бранить меня... Все позволяю; позволяю даже мне не верить; но я не могу сомневаться в том, что я видел и что вижу всякий день собственными глазами. Нет! не все вздор в рецептах моего дядюшки. Действительно, это остаток от древних таинств, которые доныне существуют в природе, и мы многого еще не знаем, многое забыли и много истин почитаем за бредни. Вот что со мной случилось: читай и удивляйся! Мои разговоры с Катею, как ты легко можешь себе представить, не заставили меня забыть о моей вазе с солнечною водою; ты знаешь, любознательность, или, просто сказать, любопытство есть основная моя стихия, которая мешается во все мои дела, их перемешивает и мне жить мешает; мне от нее ввек не отделаться; все что-то манит, все что-то ждет вдали, душа рвется, страждет — и что же?.. Но обратимся к делу. Вчера вечером, подошед к вазе, я заметил в моем перстне какое-то движение. Сначала я подумал, что это был оптический обман и, чтоб удостовериться, взял вазу в руки; но едва я сделал малейшее движение, как мой перстень рассыпался на мелкие голубые и золотые искры, они потянулись по воде тонкими нитями и скоро совсем исчезли, лишь вода сделалась вся золотою с голубыми отливами. Я поставил вазу на прежнее место, и снова мой перстень слился на дне ее. Признаюсь тебе, невольная дрожь пробежала у меня по телу; я призвал человека и спросил его, не замечает ли он чего в моей вазе; он отвечал, что нет. Тогда я понял, что это странное явление было видимо только для одного меня.

Чтоб не подать повода человеку смеяться надо мною, я отпустил его, заметив, что мне вода показалась нечистою. Оставшись один, я долго повторял свой опыт, размышляя над этим странным явлением. — Я несколько раз переливал воду из одной вазы в другую: всякий раз то же явление повторялось с удивительною точностию — и между тем оно неизъяснимо никакими физическими законами. Неужли в самом деле это правда? Неужли мне суждено быть свидетелем этого странного таинства? Оно мне кажется столько важно, что я намерен его исследовать до конца. Я больше прежнего принялся за мои книги, и теперь, когда самый опыт совершился пред моими глазами, все более и более мне делается понятным сношение человека с другим, недоступным миром. Что будет далее!..

Письмо VII

Нет, мой друг, ты ошибся и я тоже. Я предопределен быть свидетелем великого таинства природы и возвестить его людям, напомнить им о той чудесной силе, которая находится в их власти и о которой они забыли; напомнить им, что мы окружены другими мирами, до сих пор им неизвестными. И как просты все действия природы! Какие простые средства употребляет она для произведения таких дел, которые изумляют и ужасают человека! Слушай и удивляйся.

Вчера, погруженный в рассматривание моего чудесного перстня, я заметил в нем снова какое-то движение: смотрю — поверх воды струятся голубые волны, и в них отражаются радужные опаловые лучи; бирюза превратилась в опал, и от него поднималось в воду как будто солнечное сияние; вся вода была в волнении; били вверх золотые ключи и рассыпались голубыми искрами. Тут было соединение всех возможных красок, которые то сливались бесчисленными оттенками, то ярко отделялись. Наконец радужное сияние исчезло, и бледный зеленоватый цвет заступил его место; по зеленоватым волнам потянулись розовые нити, долго переплетались между собою и слились на дне сосуда в прекрасную, пышную розу — и все утихло: вода сделалась чиста, лишь лепестки роскошного цветка тихо колебались. Так уже прошло несколько дней; с тех пор каждый день рано поутру я встаю, подхожу к моей таинственной розе и ожидаю нового чуда; но тщетно — роза цветет спокойно и лишь наполняет всю мою комнату невыразимым благоуханием.

Я невольно вспомнил читанное мною в одной кабалистической книге о том, что стихийные духи проходят все царства природы прежде, нежели достигнут своего настоящего образа! Чудно! чудно!

(Чрез несколько дней)

Сегодня я подошел к моей розе и в средине ее заметил что-то новое... Чтоб лучше рассмотреть ее, я поднял вазу и снова решился перелить ее в другую; но едва я привел ее в движение, как опять от розы потянулись зеленые и розовые нити и полосатою струею перелились вместе с водою, и снова на дне вазы явился мой прекрасный цветок; все успокоилось, но в средине его что-то мелькало: листы растворились мало-помалу, и — я не верил глазам моим! — между оранжевыми тычинками покоилось, — поверишь ли мне? — покоилось существо удивительное, невыразимое, неимоверное — словом, женщина, едва приметная глазу! Как описать мне тебе восторг, смешанный с ужасом, который я почувствовал в эту минуту! — Эта женщина была не младенец; представь себе миньятюрный портрет прекрасной женщины в полном цвете лет, и ты получишь слабое понятие о том чуде, которое было перед моими глазами; небрежно покоилась она на своем мягком ложе, и ее русые кудри, колеблясь от трепетания воды, то раскрывали, то скрывали от глаз моих ее девственные прелести. Она, казалось, была погружена в глубокий сон, и я, жадно вперив в нее глаза, удерживал дыхание, чтоб не прервать ее сладкого спокойствия.

О, теперь я верю кабалистам; я удивляюсь даже, как прежде я смотрел на них с насмешкою недоверчивости. Нет, если существует истина на сем свете, то она существует только в их творениях! Я теперь только заметил, что они не так, как наши обыкновенные ученые: они не спорят между собою, не противоречат друг другу; все говорят про одно и то же таинство; различны лишь их выражения, но они понятны для того, кто вникнул в таинственный смысл их... Прощай. Решившись исследовать до конца все таинства природы, я прерываю сношения с людьми; другой, новый, таинственный мир для меня открывается; я лишь для потомства сохраню историю моих открытий. Так, мой друг, я предназначен к великому в этой жизни!..

ПИСЬМО ГАВРИЛА СОФРОНОВИЧА РЕЖЕНСКОГО К ИЗДАТЕЛЮ

Милостивый государь!

Извините меня, что хотя я лично не имею чести быть с вами знакомым, но, по сведению о тесной вашей дружбе с Михаилом Платоновичем, решаюсь беспокоить вас письмом моим. Вам, конечно, небезызвестно, что у меня с покойным его дядюшкою, по коем он ныне находится законным наследником, имелась тяжба о значительном количестве строевого и дровяного леса. Почувствовав склонность к старшей дочери моей Катерине Гавриловне, ваш приятель предложил мне себя в зятья, на что я, как вам известно, изъявил свое согласие; впоследствии чего, надеясь на обоюдную пользу, я остановил ход сего дела; но ныне нахожусь в крайнем недоумении. Вскоре после обручения, когда и повестки были ко всем знакомым разосланы, и приданое дочери моей окончательно приготовлено, и все бумаги нужные к сему очищены, Михаил Платонович вдруг прекратил ко мне свои посещения. Полагая сему причиною случившееся нездоровье, я посылал к нему человека, а наконец и сам, несмотря на свою дряхлость, к нему отправился. Неприлично, да и обидно мне показалось напоминать ему о том, что он забыл свою невесту; а он хоть бы извинился! только что рассказывал мне о каком-то важном деле, им предпринятом, которое ему должно кончить до свадьбы и которое в продолжение некоторого времени требует его неусыпного внимания и надзора. Я полагал, что он хочет завести поташный завод, о котором он прежде поговаривал; думал я, что он хочет удивить меня и припасти для меня свадебный подарок, показав на опыте, что он может заниматься чем-нибудь дельным, по причине того, что я его часто журил за его пустодомство; однако же я никаких приготовлений для такого завода не заметил и ныне не вижу. Я положил было посмотреть, что дальше будет, как вчера, к величайшему моему удивлению, узнал, что он заперся и никого к себе не пускает, даже кушанье ему подают в окошко. Тут мне пришла, милостивый государь, престранная мысль в голову. Покойный дядя его жил в этом же доме и слыл в нашем уезде чернокнижником; я, сударь, сам некогда учился в университете, хотя немного поотстал, но чернокнижию не верю; однако же мало ли что может причиниться человеку, особливо такому философу, как ваш приятель! Что же наиболее уверяет меня в том, что с

Михаилом Платоновичем случилось что-то недоброе,— это слух, дошедший до меня стороною, будто бы он сидит по целым дням и смотрит на графин с водою. В таковых обстоятельствах, милостивый государь, обращаюсь к вам с покорнейшею просьбою — немедленно поспешить вашим сюда приездом для вразумления Михаила Платоновича, по вашему к нему участию, дабы и я мог знать, чего мне держаться: снова ли начать тяжбу, или покончить решенное дело; ибо сам я, после нанесенной мне вашим приятелем обиды, к нему в дом не поеду, хотя Катя и с горькими слезами меня о том упрашивает.

В надежде скорого свидания с вами, честь имею быть, и проч.

РАССКАЗ

Получив это письмо, я счел долгом прежде всего обратиться к знакомому мне доктору, очень опытному и ученому человеку. Я показал ему письма моего приятеля, рассказал его положение и спросил его, понимает ли он что-нибудь во всем этом?.. «Все это очень понятно,— сказал мне доктор,— и совсем не ново для медика... Ваш приятель просто с ума сошел...» — «Но перечтите его письма,— возразил я,— есть ли в них малейший признак сумасшествия? отложите в сторону странный предмет их, и они покажутся хладнокровным описанием физического явления...»

«Все это понятно...— повторил медик.— Вы знаете, что мы различаем разные роды сумасшествий — vesaniae[1]. К первому роду относятся все виды бешенства — это не касается до вашего приятеля; второй род содержит в себе: во-первых, расположение к призракам — hallucinationes[2]; во-вторых, уверенность в сообщении с духами — demomania[3]. Очень понятно, что ваш приятель, от природы склонный к ипохондрии, в деревне, один, без всяких рассеянностей, углубился в чтение всякого вздора; это чтение подействовало на его мозговые нервы; нервы...»

Долго еще объяснял мне доктор, каким образом человек может быть в полном разуме и между тем сумасшедшим, видеть то, чего он не видит, слышать, чего не слышит. К чрезвычайному сожалению, я не могу сообщить этих

---

[1] *Безумия (лат.).*
[2] *Галлюцинации (лат.).*
[3] *Демономания (лат.).*

объяснений читателю, потому что я в них ничего не понял; но, убежденный доводами доктора, я решился пригласить его ехать со мною в деревню моего приятеля.

Михайло Платонович лежал в постели, худой, бледный; в продолжение нескольких дней он уже не принимал никакой пищи. Когда мы подошли, он не узнал нас, хотя глаза его были открыты; в них горел какой-то дикий огонь; на все наши слова он не отвечал нам ни слова... На столе лежали исписанные листы бумаги — я мог разобрать в них лишь некоторые строки, вот они:

ОТРЫВКИ ИЗ ЖУРНАЛА МИХАИЛА ПЛАТОНОВИЧА

— Кто ты?

— У меня нет имени — оно мне не нужно...

— Откуда ты?

— Я твоя — вот все, что я знаю; тебе я принадлежу, и никому другому... но зачем ты здесь? как здесь душно и холодно! У нас веет солнце, звучат цветы, благоухают звуки... за мной... за мной!.. как тяжела твоя одежда — сбрось, сбрось ее... а еще далеко, далеко до нашего мира... но я не оставлю тебя! — Как все мертво в твоем жилище... все живое покрыто хладною оболочкой: сорви, сорви ее!

...Так здесь ваше знание?.. Здесь ваше искусство?.. вы отделяете время от времени и пространство от пространства, желание от надежды, мысль от ее исполнения, и вы не умираете от скуки? — За мной, за мной! скорее, скорее...

...Ты ли это, гордый Рим, столица веков и народов? Как растянулась повилика по твоим развалинам... Но развалины шевелятся, из зеленого дерна подымаются обнаженные столпы, вытягиваются в стройный порядок, — чрез них свод отважно перегнулся, отряхая вечный прах свой, помост стелется игривым мозаиком, — на помосте толпятся живые люди, сильные звуки древнего языка сливаются с говором волн, — оратор в белой одежде с венцом на главе подымает руки... И все исчезло: пышные здания клонятся к земле, столпы сгибаются, своды врываются в землю — повилика снова вьется по развалинам — все умолкло, — колокол призывает к молитве, храм отворен, слышны звуки мусикийского орудия — тысячи созвучных переливов волнуются под моими пальцами, мысль стремится за мыслию, они улетают одна за другою как сновидения... если бы схватить, остановить

их? — И покорное орудие снова вторит, как верное эхо, все минутные, невозвратимые движения души... Храм опустел, лунный блеск ложится на бесчисленные статуи; они сходят с мест своих, проходят мимо меня, полные жизни; их речи древни и новы, важна их улыбка и значителен взор; но снова они оперлись на свои пьедесталы, и снова лунный блеск ложится на статуи... Уж поздно... нас ждет веселый, тихий приют; в окошках мелькает Тибр; за ним Капитолий вечного града... Очаровательная картина! она слилась в тесную раму нашего камелька... да! там другой Рим, другой Тибр, другой Капитолий. Как весело трещит огонек... Обними меня, прелестная дева... В жемчужном кубке кипит искрометная влага... пей... пей... Там хлопьями валится снег и заметает дорогу — здесь меня греют твои объятия...

Мчитесь, мчитесь, быстрые кони, по хрупкому снегу, взвивайте столбом ледяной прах: в каждой пылинке блистает солнце — розы вспыхнули на лице прелестной — она прильнула ко мне душистыми губками... Где ты нашла это художество поцелуя? все горит в тебе и кипячею влагою обдает каждый нерв в моем теле... Мчитесь, мчитесь, быстрые кони, по хрупкому снегу... Что? не крик ли битвы? не новая ли вражда между небом и землею?.. Нет, то брат предал брата, то невинная дева во власти преступления... и солнце светит, и воздух прохладен? Нет! потряслася земля, солнце померкло, буря опустилась с небес, спасла жертву и омыла преступного,— и снова солнце светит, и воздух тих и прохладен, лобызает брат брата, и сила преклоняется пред невинностию... За мной, за мной... Есть другой мир, новый мир... Смотри: кристалл растворился — там внутри его новое солнце... Там совершается великая тайна кристаллов; поднимаем завесу... толпы жителей прозрачного мира празднуют жизнь свою радужными цветами; здесь воздух, солнце, жизнь — вечный свет: они черпают в мире растений благоуханные смолы, обделывают их в блестящие радуги и скрепляют огненною стихией... За мной, за мной! мы еще на первой ступени... По бесчисленным сводам струятся ручьи: быстро бьют они вверх и быстро спускаются в землю; над ними живая призма преломляет лучи солнца; лучи солнца вьются по жилам, и фонтан выносит на воздух их радужные искры; они то сыплются по лепесткам цветов, то длинною лентою вьются по узорчатой сети; жизненные духи, прикованные к вечно кипящим кубам, претворяют живую влагу в душистый пар, он облаками стелется по сводам и крупным

дождем падает в таинственный сосуд растительной жизни... Здесь, в самом святилище, зародыш жизни борется с зародышем смерти, каменеют живые соки, застывают в металлических жилах, и мертвые стихии преобразуются началом духа... За мной! за мной!.. На возвышенном троне восседает мысль человека, от всего мира тянутся к ней золотые цепи,— духи природы преклоняются в прах перед нею,— на востоке восходит свет жизни,— на западе, в лучах вечерней зари, толпятся сны и по произволу мысли то сливаются в одну гармоническую форму, то рассыпаются летучими облаками... У подножия престола *она* сжала меня в своих объятиях... мы миновали землю!..

Смотри — там в безбрежной пучине носится ваша пылинка: там проклятия человека, там рыдания матери, там говор житейской нужды, там насмешка злых, там страдания поэта — здесь все сливается в сладостную гармонию, здесь ваша пылинка не страждущий мир, но стройное орудие, которого гармонические звуки тихо колеблют волны эфира.

Простись с поэтическим *земным* миром! И у вас есть поэзия на земле! оборванный венец вашего блаженства! Бедные люди! странные люди! в вашей смрадной пучине вы нашли, что даже страдание есть счастие! Вы страданию даете поэтический отблеск! Вы гордитесь вашим страданием; вы хотите, чтоб жители другого мира завидовали вашей жизни! В нашем мире нет страдания: оно удел лишь несовершенного мира,— создание существа несовершенного! — Вольно́ человеку преклоняться пред ним, вольно́ ему отбросить его, как истлевшую одежду на плечах путника, завидевшего родину . . . .

Неужели ты думаешь, что я не знала тебя? Я с самого младенчества соприсутствовала тебе в дыхании ветерка, в лучах весеннего солнца, в каплях благовонной росы, в неземных мечтаниях поэта! Когда в человеке возрождается гордость его силы, когда тяжкое презрение падает с очей его на скудельные образы подлунного мира, когда душа его, отряхая прах смертных терзаний, с насмешкою попирает трепещущую пред ним природу,— тогда мы носимся над вами, тогда мы ждем минуты, чтоб вынести вас из грубых оков вещества — тогда вы достойны нашего лика!.. Смотри, есть ли страдание в моем поцелуе: в нем нет времени — он продолжится в вечность: и каждый миг для нас — новое наслаждение!.. О, не измени мне! не измени себе! берегись соблазнов твоей грубой, презренной природы!

Смотри — там, вдали, на вашей земле поэт преклоняется пред грудкою камней, обросших бесчувственным организмом растительной силы. «Природа!» — восклицает он в восторге, — величественная природа, что выше тебя в этом мире? что мысль человека пред тобою?» А слепая, безжизненная природа смеется над ним и в минуту полного ликования человеческой мысли скатывает ледяную лавину и уничтожает и человека, и мысль человека! Лишь в душе души высоки вершины! лишь в душе души бездны глубоки! В их глубину не дерзает мертвая природа; в их глубине независимый, крепкий мир человека; смотри, *здесь* жизнь поэта — святыня! *здесь* поэзии — истина! *здесь* договаривается все недосказанное поэтом; здесь его земные страдания превращаются в неизмеримый ряд наслаждений...

О, люби меня! Я никогда не увяну: вечно свежая, девственная грудь моя будет биться на твоей груди! Вечное наслаждение будет для тебя ново и полно — и в моих объятиях невозможное желание будет вечно возможной существенностию!

. . . .

Этот младенец — это дитя наше! он не ждет попечений отца, он не будит ложных сомнений, он заранее исполнил твои надежды; он юн и возмужал, он улыбается и не рыдает — для него нет возможных страданий, если только ты не вспомнишь о своей грубой, презренной юдоли... Нет, ты не убьешь нас одним желанием!

Но дальше, дальше — есть еще другой, высший мир, там самая мысль сливается с желанием.— За мной! за мной!..

Дальше почти невозможно было ничего разобрать; то были несвязные, разнородные слова: «любовь... растение... электричество... человек... дух...» Наконец, последние строки были написаны какими-то странными неизвестными мне буквами и прерывались на каждой странице...

Запрятав подальше все эти бредни, мы приступили к делу и начали с того, что посадили нашего мечтателя в бульонную ванну: больной затрясся всем телом. «Добрый знак!» — воскликнул доктор. В глазах больного выражалось какое-то престранное чувство — как будто раскаяние, просьба, мученье разлуки; слезы его катились градом... Я обращал на это выражение лица

внимание доктора... Доктор отвечал: facies hippocratica![1]

Чрез час еще бульонная ванна — и ложка микстуры; за нею порядочно мы побились: больной долго терзался и упорствовал, но наконец проглотил. «Победа наша!» — вскричал доктор.

Доктор уверял, что надобно всеми силами стараться вывести нашего больного из его оцепенения и раздражить его *чувственность*. Так мы и сделали: сперва ванна, потом ложка аппетитной микстуры, потом ложка бульона, и благодаря нашим благоразумным попечениям больной стал видимо оправляться; наконец показался и аппетит — он уже начал кушать без нашего пособия...

Я старался ни о чем прежнем не напоминать моему приятелю, а обращать его внимание на вещи основательные и полезные, как-то: о состоянии его имения, о выгодах завести в нем поташный завод, а крестьян с оброка перевести на барщину... Но мой приятель слушал меня как во сне, ни в чем мне не противоречил, во всем мне беспрекословно повиновался, пил, ел, когда ему подавали, хотя ни в чем не принимал никакого участия.

Чего не могли сделать все микстуры доктора, то произвели мои беседы о нашей разгульной молодости и в особенности несколько бутылок отличного лафита, который я догадался привезти с собою. Это средство вместе с чудесным окровавленным ростбифом совершенно поставило на ноги моего приятеля, так, что я даже осмелился завести речь о его невесте. Он выслушал меня со вниманием и во всем со мною согласился; я, как человек аккуратный, не замедлил воспользоваться его хорошим расположением, поскакал к будущему тестю, все обделал, спорное дело порешил, рядную написал, одел моего чудака в его старый мундир, обвенчал — и, пожелав ему счастия, отправился обратно к себе домой, где меня ожидало дело в гражданской палате, и, признаюсь, поехал весьма довольный собою и своим успехом. В Москве все родные, разумеется, осыпали меня своими ласками и благодарностию.

Устроив мои дела, я чрез несколько месяцев рассудил, однако же, за благо навестить молодых, тем более что я от молодого не получал никакого известия.

Застал я его поутру: он сидел в халате, с трубкой в зубах; жена разливала чай; в окошко светило солнышко и выглядывала преогромная спелая груша; он мне будто обрадовался, но вообще был неговорлив...

---

[1] *Предсмертная маска (лат.).*

Я выбрал минуту, когда жена вышла из комнаты, и сказал, покачав головою:

— Ну что, несчастлив ты, брат?

Что же вы думаете? он разговорился? Да! Только что он напутал!

— Счастлив! — повторил он с усмешкою,— знаешь ли ты, что ты сказал этим словом? Ты внутренно похвалил себя и подумал: «Какой я благоразумный человек! я вылечил этого сумасшедшего, женил его, и он теперь, по моей милости, счастлив... счастлив!» Тебе пришли на мысль все похвалы моих тетушек, дядюшек, всех этих так называемых благоразумных людей — и твое самолюбие гордится и чванится... не так ли?

— Если бы и так...— сказал я.

— Так довольствуйся же этими похвалами и благодарностию, а моей не жди. Да! Катя меня любит, именно наше устроено, доходы сбираются исправно,— словом, ты дал мне счастье, но не мое: ты ошибся нумером. Вы, господа благоразумные люди, похожи на столяра, которому велели сделать ящик на дорогие физические инструменты: он нехорошо смерил, инструменты в него не входят, как быть? а ящик готов и выполирован прекрасно. Ремесленник обточил инструменты, где выгнул, где спрямил,— они вошли в ящик и улеглись спокойно, любо посмотреть на него, да только одна беда: инструменты испорчены.— Господа! не инструменты для ящика, а ящик для инструментов! Делайте ящик по инструментам, а не инструменты по ящику.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ты очень рад, что ты, как говоришь, меня вылечил, то есть загрубил мои чувства, покрыл их какою-то непроницаемою покрышкою, сделал их неприступными для всякого другого мира, кроме твоего ящика... Прекрасно! инструмент улегся, но он испорчен; он был приготовлен для другого назначения... Теперь, когда среди ежедневной жизни я чувствую, что мои брюшные полости раздвигаются час от часу более и голова погружается в животный сон, я с отчаянием вспоминаю то время, когда, по твоему мнению, я находился в сумасшествии, когда прелестное существо слетало ко мне из невидимого мира, когда оно открывало мне таинства, которых теперь я и выразить не умею, но которые были мне понятны... где это счастие? — возврати мне его!

— Ты, братец, поэт, и больше ничего,— сказал я с досадою,— пиши стихи...

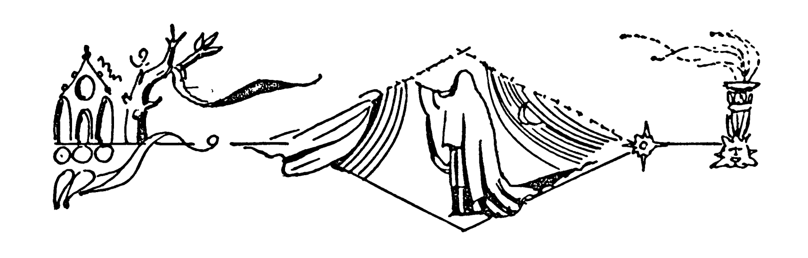
— Пиши стихи! — возразил больной, — пиши стихи! Ваши стихи тоже ящик; вы разобрали поэзию по частям; вот тебе проза, вот тебе стихи, вот тебе музыка, вот живопись — куда угодно? А может быть, я художник такого искусства, которое еще не существует, которое не есть ни поэзия, ни музыка, ни живопись, — искусство, которое я должен был открыть и которое, может быть, теперь замрет на тысячу веков: найди мне его! может быть, оно утешит меня в потере моего прежнего мира!

Он наклонил голову, глаза его приняли странное выражение, он говорил про себя: «Прошло — не возвратится — умерла — не перенесла — пáдай! падай!» — и прочее тому подобное.

Впрочем, это был его последний припадок. Впоследствии, как мне известно, мой приятель сделался совершенно порядочным человеком: завел псарную охоту, поташный завод, плодопеременное хозяйство, мастерски выиграл несколько тяжб по землям (у него чересполосица); здоровье у него прекрасное, румянец во всю щеку и препорядочное брюшко. (NB. Он до сих пор употребляет бульонные ванны — они ему очень помогают.) Одно только худо: говорят, что он немножко крепко пьет с своими соседями — а иногда даже и без соседей; также говорят, что от него ни одной горничной прохода нет, — но за кем нет грешков в этом свете? По крайней мере он теперь человек, как другие.

Так рассказывал один из моих знакомых, доставивший мне письма Михаила Платоновича, — очень благоразумный человек. Признаюсь, я ничего не понял в этой истории: не будут ли счастливее читатели?

1836



ПРИВИДЕНИЕ

(Ник. Вас. Путяте)

...Нас сидело в дилижансе четверо: отставной капитан, начальник отделения, Ириней Модестович и я. Два первые чинились и отпускали друг другу разные учтивости, изредка принимались спорить, но ненадолго; Ириней Модестович говорил без умолка; все — мимо проехавший экипаж, пешеход, деревушка — все подавало ему повод к разговору; на радости, что слушателям нельзя от него выскочить из дилижанса, он рассказывал сказку за сказкой, в которых, разумеется, домовые, бесы и привидения играли первую роль. Я не мог надивиться, откуда он набрался столько чертовщины, — и преспокойно дремал под говор его тоненького голоса. Другие товарищи скуки ради слушали его не без внимания — а Иринею Модестовичу только того и надо.

— Что это за замок? — спросил отставной капитан, выглядывая из окошка, — вы, верно, знаете про него какую-нибудь курьезную историю, — прибавил он, обращаясь к Иринею Модестовичу.

— Я про него знаю, — отвечал Ириней Модестович, — точно такую же историю, какую можно рассказать про многие из нынешних домов, то есть что в нем люди жили, ели, пили и умерли. Но этот замок напоминает мне анекдот, в котором такой же замок играет важную ролю. Вообразите себе только, что все, что я вам буду рассказывать, случилось именно под этими развалившимися сводами: ведь это все равно — была бы вера в рассказчика. Все путешественники по большей части так же рассказывают свои истории; только у них нет моей откровенности.

В молодости моей я часто хаживал в дом к моей соседке, очень любезной женщине... Не воображайте тут ничего грешного: соседка моя была уже в тех летах, когда жен-

щина сама признается, что пора ее миновалась. У ней не было ни дочерей, ни племянниц; дом ее был похож на все ***ские дома: три, четыре комнаты, дюжина кресел, столько же стульев, пара ламп в столовой, пара свечей в гостиной... но не знаю, было что-то в обращении этой женщины, в ее самых обыкновенных словах, я думаю, даже в ее столе красного дерева, покрытом клеенкою, или в стенах ее дома,— было нечто такое, что каждый вечер нашептывало вам в уши: пойти бы сегодня к Марье Сергеевне. Это испытывал не я один: в длинные зимние вечера к ней сходились незваные гости, как будто заранее согласившись. Наши занятия были самые обыкновенные: мы пили чай и играли в бостон; иногда перелистывали журналы; но только все это нам веселее было делать у Марьи Сергеевны, нежели в другом доме; это нам самим казалось очень странно. Все дело, как я теперь догадываюсь, состояло в том, что Марья Сергеевна не навязывалась никому ни с тяжбами, ни с домашними хлопотами, не любила злословия, не сообщала никому своих замечаний о происшествиях в околотке, ни о поведении своих слуг; не старалась вытянуть из вас того, что вы хотели скрыть; не осыпала вас нежностями в глаза и не насмехалась над вами, когда вы вышли за дверь; не сердилась, когда кто из нас в продолжение полугода не являлся в ее гостиную, и даже забывал дни ее именин или рождения; не имела ни одной из тех претензий и причуд, которые делают общество ***вских дам нестерпимым; не была ни ханжа, ни суеверна; не требовала от нас, чтобы вы то-то думали и о том-то говорили; не приходила в ужас, когда вы были противного с нею мнения; не требовала от вас никаких пожертвований; не усаживала насильно за карты или за фортепьяно,— понимала терпимость во всем ее значении; в ее гостиной всякий благородный человек мог делать, думать и говорить все, что ему было угодно; словом, в ее доме царствовал хороший тон, тогда редкий в ***ских обществах и которого сущность до сих пор немногие понимают. Я сам живо чувствовал различие в обращении и в жизни Марьи Сергеевны с другими женщинами, но не умел этого впечатления выразить одним словом.

— Позвольте вас остановить,— сказал начальник отделения.— Как это,— будто бы уж хороший тон состоит в том, чтобы хозяйка не занималась гостями? нет, помилуйте,— мы сами бываем в наилучших компаниях... я с вами поспорю! Как это можно! как это можно!..

— Говорят,— отвечал Ириней Модестович,— что где

обращение хозяйки простее, тем гостям просторнее и спокойнее, и что человека, привыкшего к хорошему обществу, всегда узнают по простоте его обращения...

— И я этого же мнения,— прибавил отставной капитан,— терпеть не могу всех этих вычур! Бывало, на вечерах у нашего бригадного генерала не расстегнись, не пошевелись; тоска, да и только! То ли дело, как сойдешься с своим братом: мундир долой, бутылку рома на стол — и пошла потеха...

— Нет, воля ваша,— возразил начальник отделения,— не могу с вами согласиться! Что это такое простота? Простота! для простоты довольно своего дома; но в свете приятно показать свое обращение, свое уменье жить с людьми, уменье каждое слово весить на весах, чтоб в каждом вашем слове можно было заметить, что вы не неуч какой-нибудь, а человек благовоспитанный...

Ириней Модестович находился в совершенном недоумении между этими двумя противоположными полюсами и выдумывал средство, как бы не попасть ни в пуншевую беседу, ни в компанию благоприличного господина. Видя смущение моего приятеля, я вмешался в разговор.

— Однако ж этак,— сказал я,— мы никогда не дойдем до конца нашей истории. На чем, бишь, вы остановились, Ириней Модестович?..

Наши противники замолчали, потому что оба были довольны собою: начальник отделения был уверен, что в прах разразил все рассуждения моего приятеля; а капитан — что Ириней Модестович одного с ним мнения.

Ириней Модестович продолжал:

— Я, кажется, сказал вам, что мы, сами не зная каким образом, почти каждый вечер сходились к Марье Сергеевне, не сговариваясь заранее. Должно, однако ж, признаться, что такие импровизации, как все импровизации в свете, не всегда нам удавались. Иногда сходились такие, из которых двое играли только в вист, а два другие только в бостон, одни играли в большую, другие в маленькую — и партии не могли состояться.

Так случилось однажды, как теперь помню, в глубокую осень. Дождь с изморосью лился ливмя, реки катились по тротуарам, и ветер задувал фонари. В гостиной, кроме меня, сидели человека четыре в ожидании своих партнеров. Но партнеров, кажется, испугала погода, а мы между тем занялись разговором.

Разговор, как часто случается, переходя от предмета к

предмету, остановился на предчувствиях и видениях.

— Так, я и ждал этого! — вскрикнул начальник отделения,— без привидений у него не обойдется...

— Нет ничего мудреного! — возразил Ириней Модестович,— эти предметы обыкновенно привлекают общее внимание; наш ум, изнуренный прозою жизни, невольно привлекается этими таинственными происшествиями, которые составляют ходячую поэзию нашего общества и служат доказательством, что от поэзии, как от первородного греха, никто не может отделаться в этой жизни.

Почтенный чиновник значительно кивнул головою, желая показать, что он совершенно вникнул в значение этих слов. Ириней Модестович продолжал:

— Уже были рассказаны по очереди все известные события в этом роде: о людях, являвшихся после смерти; о лицах, которые заглядывают к вам в окошко в третьем этаже; о танцующих стульях и о прочем тому подобном.

Один из собеседников во все продолжение этого рассказа хранил глубокое молчание, и лишь исподтишка улыбался, когда мы вскрикивали от ужаса. Этот господин, уже весьма пожилых лет, был закоснелый волтерьянец старого века; он часто в наших спорах, не шутя, заключал свои доказательства каким-нибудь стихом из «Epitre à Uranie»[1] или из «Discours en vers»[2] Вольтера и удивлялся, когда и после этого мы осмеливались с ним не соглашаться: любимая его поговорка была: «Я верю только в то, что дважды два четыре».

Когда весь арсенал наших рассказов истощился, мы обратились к этому господину с насмешливою просьбою рассказать нам что-нибудь в том же роде. Он угадал наше намерение и отвечал:

«Вы знаете, что я терпеть не могу всех этих бредней: я в этом пошел по батюшке; ему вздумало однажды явиться привидение — и привидение во всем порядке: с бледным лицом, с меланхолическим взглядом; но покойник выставил ему язык, чему привидение так удивилось, что впоследствии уже никогда не осмеливалось являться ни ему и никому из нашего семейства. Я теперь следую батюшкиной методе, когда мне попадается в журналах романтическая повесть ваших модных сочинителей. Только я заметил, что они гораздо бессовестнее привидений и не перестают мне соваться в глаза, несмотря на все гримасы,

---

[1] *«Послание к Урании» (фр.).*

[2] *«Рассуждение в стихах» (фр.).*

которые я им строю; но не думайте, однако ж, чтоб я не мог также рассказать страшной истории. Слушайте ж. Я вам расскажу историю истинную; но бьюсь об заклад, что у вас волосы станут дыбом.

Лет 30 тому назад, — я тогда только что еще вступил в службу, — наш полк остановился в одном местечке; мы были в резерве; носились слухи, что кампания оканчивалась, и эти слухи подтверждались тем, что нас более месяца не трогали с места. Этого времени для военных очень довольно, чтоб подружиться с жителями. Я стоял в доме у одной зажиточной помещицы, премилой, веселой женщины и большой говоруньи. Мы жили с ней душа в душу. Почти каждый вечер у нее собирались гости, вот как сюда, и мы проводили время очень весело. В версте от этого местечка, на небольшом возвышении, находился старинный замок с полукруглыми окошками, с башенками, с вертушками — словом, со всеми этими причудами так называемой готической архитектуры, над которыми мы тогда смеялись, но которые, при нынешнем упадке вкуса, опять входят в моду. Тогда нам это и в голову не входило. Мы просто находили этот замок уродливым, каким он и был в самом деле, и сравнивали то с амбаром, то с голубятней, то с паштетом, то с сумасшедшим домом.

— Кому принадлежит этот кондитерский пирог? — спросил я однажды у моей хозяйки.

— Моей приятельнице, графине***, — отвечала она. — Она премилая женщина; вам бы надобно познакомиться с нею... Графиня Мальвина прежде была очень несчастлива, — продолжала хозяйка, — много она вытерпела на своем веку. В молодости она влюбилась в одного молодого человека; но он был беден, хотя и граф, и ее родители никак не соглашались выдать ее за него замуж. Но графиня была пылкого нрава; она страстно любила молодого человека, и наконец не только убежала с ним из дома, но вышла за него замуж, что, по-моему, было совсем лишнее. Вы можете себе представить, сколько шуму наделало это происшествие. Мать графини была женщина самого сурового нрава, старого века, гордая знатностью своего происхождения, надменная, окруженная толпою ласкателей, привыкшая, в продолжение всей своей жизни, к слепому повиновению всех ее окружающих. Побег Мальвины был для нее сильным ударом; с одной стороны, неповиновение родной дочери приводило ее в бешенство, с другой, она видела в этом поступке вечное пятно своей фамилии. Бедная графиня, зная нрав своей матери, долго

не смела ей казаться на глаза; письма ее оставались без ответа; она была в совершенном отчаянии; ничто ее не утешало: ни любовь мужа, ни уверения друзей, что гнев матери не может более продолжаться, особливо теперь, когда дело сделано.— Так протекло шесть месяцев в беспрерывных страданиях. Я часто видала ее в это время — она была на себя непохожа. Наконец она сделалась беременною. Беспокойство ее увеличилось. В это время обыкновенно нервы у женщин играют большую ролю: они чувствуют живее; всякая мысль, всякое слово тревожит их в тысячу раз более, нежели прежде. Мысль родить дитя под гневом матери сделалась для Мальвины нестерпимою; эта мысль душила ее, мешала ей спать, истощала ее силы. Наконец она не выдержала. «Что бы ни было,— сказала она,— но я брошусь к ногам матушки». Тщетно мы хотели остановить ее; тщетно мы советовали подождать родин и тогда, вместе с ребенком, предстать раздраженной графине; тщетно мы говорили ей, что вид невинного ребенка всего сильнее действует на сердца самые загрубелые,— наши слова не подействовали. Робость превозмогла, и однажды утром, когда еще все спали, бедная графиня незаметно вышла из дома и отправилась в замок, ворвалась в спальню, когда еще мать ее лежала на постели, и бросилась на колени.

Старая графиня была женщина странная; она принадлежала к числу тех существ, которых отгадать трудно. Никогда нельзя узнать, чего им хочется, а им самим, может быть, это всего труднее. На ее расположение духа действовало все ее окружающее: незначительное слово, полученное письмо, погода. Она то радовалась, то огорчалась от одних и тех же причин, смотря по этим маловажным обстоятельствам.

Первое действие, произведенное на графиню ее дочерью, был испуг. Со сна она не могла себе представить, что это была за женщина в белом платье, которая с рыданием хватала ее за колени и стаскивала с нее одеяло. Сначала графиня приняла дочь свою за привидение, потом за сумасшедшую, а наконец ее испуг превратился в досаду. Ее не тронули слезы дочери; ее не тронуло ее положение; ее не коснулось материнское чувство,— эгоизм торжествовал. «Прочь,— вскричала она.— Я не знаю тебя; проклинаю тебя!..» Бедная Мальвина едва не лишилась памяти, но материнское чувство придало ей силы. С трудом, но с выразительностию произнесла она прерывающимся голосом: «Кляните меня... но пощадите

моего ребенка».— «Проклинаю тебя,— повторила раздраженная графиня,— и твоего ребенка! Пусть будет он тебе казнию!» Бедная Мальвина упала на пол замертво.

Этот обморок произвел на старую графиню больше действия, нежели все слова ее дочери. Графиня испугалась снова. Ее причудливые нервы не могли снести этого вида. Она проворно вскочила с постели, позвонила, послала за доктором, и когда несчастная дочь очнулась, она уже была в объятиях своей матери. Все было прощено, забыто...

С тех пор Мальвина с своим мужем переселилась в замок. Она вскоре родила сына. Старая графиня, пристыженная своим недостойным поступком, казалось, сделала целию жизни утешать свою дочь всем, что только возможно человеку. Несколько раз она торжественно отрекалась от своей клятвы, написала это отречение на бумаге и заставила свою дочь носить его на себе в медальоне. Молодая графиня никогда его не снимает. Ее сын вырос, вступил в службу; но доныне старая графиня почитает себя в долгу пред своею дочерью и старается тешить ее как ребенка. Ее богатство дает ей все к тому нужные способы. Кажется, сама судьба старается загладить проступок старой графини. Недавно выиграли они процесс в несколько миллионов. Это дало им средство украсить свой замок всеми причудами роскоши. Чего вы там ни найдете: и английский сад, и чудесный стол, и погреб со столетним венгерским, и фонтаны холодной и теплой воды, и мраморные полы, и зимние сады — рай, одним словом! балы и вечеринки не прерываются. Если хотите, я вас представлю графине: вы будете приняты с восхищением...

Что могло быть приятнее этого предложения для молодых офицеров, для которых, в продолжение полугода, все наслаждения мира ограничивались братскою попойкой в курной избе?

— А не худое дело! — заметил капитан, поглаживая усы.

На другой же день мы отправились к графине, были представлены нашею хозяйкою и имели случай увериться, что она нас не обманула. Дом был поставлен на истинно барскую ногу. Каждому из нас отвели особую комнату, в которых все было придуманно для удобства жизни: прекрасная пуховая постель, которая казалась нам чудом после соломы; в каждой комнате ванна с холодными и теплыми кранами; все прихоти туалета; слуги, которые ходили на цыпочках и угадывали малейшее желание; каж-

дый день чудесный обед с чудесными винами. Старая графиня, которая уже не вставала с кресел, была еще любезна, а так называемая молодая графиня, хотя ей было лет за сорок, была свежа, жива и вертлява, как пятнадцатилетняя девочка. Многие из наших почли за долг отпускать ей армейские нежности, а иные и по уши в нее влюбились. Ее муж смотрел на это сквозь пальцы и, казалось, еще радовался, что его жена имеет случай кокетничать и возбуждает страсть молодых офицеров. Привычка к удовольствиям, беспрестанная рассеянность были необходимостью, жизнию в этом доме. От нас требовали только одного: есть и пить целый день и танцевать до упаду целую ночь. Мы катались как сыр в масле. Чрез несколько дней радость и удовольствие в доме удвоились. Приехал из отпуска сын молодой графини — славный, веселый малый. Он, подобно нам, также долго скитался по курным избам и со всей ненасытностью молодости предался удовольствиям, которые представлял ему домашний кров и круг веселого семейства.

Назначен был день нашего выступления, и хозяева захотели угостить нас последним великолепным балом. Приглашены были соседи и соседки из всех окружных мест; собирались иллюминировать сад и сжечь чудесный фейерверк. Накануне посреди толкований о завтрашнем дне (ибо мы почти как домашние принимали участие во всех хозяйственных хлопотах) зашла речь, как теперь, о привидениях. Молодая графиня вспомнила, что есть одна комната в замке, которая с давних времен пользуется привилегией пугать всех жителей околотка разными страшными звуками и видениями. Эту самую комнату, за недостатком места, занимал сын графини. Он, смеясь, уверял, что до сих пор домовые производят на него одно действие: заставляют его спать богатырским сном. Мы, посмеявшись с ним вместе, разошлись по своим спальням. На другой день съехались в замок множество гостей. Мы начали танцевать едва ли не с десяти часов утра, и танцевали вплоть до обеда, а после обеда вплоть до полуночи. Никто из нас не думал о том, что завтра в пять часов надобно было садиться на коня. Но, сказать правду, к концу дня мы были измучены донельзя и не без удовольствия заметили, что к первому часу гости стали уже разъезжаться. В комнатах становилось пусто; мы хотели также разойтись по спальням; но молодая графиня, для которой двадцать четыре часа танцев было то же, что выпить стакан воды, усердно упрашивала нас приглашать

беспрестанно дам вальсировать, чтобы удержать разъезжающихся. Мы истощили последние силы, но наконец принуждены были просить дозволения у графини откланяться, ссылаясь на ее сына, который давно уже отправился в свою спальню.

«О,— сказала графиня,— что вам брать пример с этого лентяя! Надобно проучить его за его леность! Как можно лечь спать, когда в зале еще столько хорошеньких дам! Пойдемте за мною!»

Молодой человек спал тем беспокойным сном, какой обыкновенно бывает после дня, проведенного в беспрестанном движении. Скрип двери разбудил его. Но каково было его удивление, когда, при бледном свете ночной лампады, он увидел ряд белых привидений, которые приближались к его постели! Впросонках схватил он пистолет и вскричал: «Прочь, застрелю!» — но привидение, бывшее впереди, все приближалось к его постели и, казалось, хотело обхватить его своими распростертыми руками. В испуге ли, или еще не совсем пробужденный, молодой человек взвел курок, раздался выстрел...

«Ах, я забыла надеть матушкин медальон!» — вскричала Мальвина, падая. Мы все, одетые привидениями, бросились к ней, подняли простыню... Лицо ее было так бледно, что нельзя было узнать ее: она была смертельно ранена. В эту минуту далекий гул барабана известил нас, что полк уже выступает в поход. Мы оставили скорбный дом, в котором провели столько приятных дней. С тех пор я не знаю, чем все это кончилось; по крайней мере если я и не видал никогда привидений, то сам был привидением, а это чего-нибудь да стоит. Все рассказы о привидениях в этом роде. Я чаю, бог знает что теперь об этом выдумали; а дело было просто, как вы видите».— И рассказчик засмеялся.

В это время один молодой человек, слушавший всю повесть с большим вниманием, подошел к нему. «Вы с большою точностию,— сказал он,— рассказали это происшествие; я его знаю, ибо сам принадлежу к тому семейству, в котором оно случилось. Но вам неизвестно одно: а именно, что графиня здравствует до сих пор и что вас проводила в комнату ее сына не она, но действительно какое-то привидение, которое до сих пор является в замке».

Рассказчик побледнел. Молодой человек продолжал:

«Об этом происшествии много было толков; но оно ничем не объяснилось. Замечательно только то, что все те, которые рассказывали об этом происшествии, умерли чрез две недели после своего рассказа». Сказавши эти слова, молодой человек взял шляпу и вышел из комнаты.

Рассказчик побледнел еще больше. Уверительный, холодный тон молодого человека, видимо, поразил его. Признаюсь, что все мы разделяли с ним это чувство и невольно приумолкли. Тут хотели завести другой разговор; но все не ладилось, и мы вскоре разошлись по домам. Чрез несколько дней мы узнали, что наш насмешник над привидениями занемог, и очень опасно. К его физическим страданиям присоединились грезы воображения. Беспрестанно чудилась ему бледная женщина в белом покрывале, тащила его с постели — и вообразите себе,— прибавил Ириней Модестович трагическим голосом,— ровно чрез две недели в гостиной Марьи Сергеевны сделалось одним гостем меньше!

— Странно! — заметил капитан,— очень странно!

Начальник отделения, как человек петербургский, привыкший ничему не удивляться, выслушал всю повесть с таким видом, как будто читал канцелярское отношение о доставлении срочных ведомостей.

— Тут нет ничего удивительного,— сказал он важным голосом,— многое бывает в человеке от мысленности, так, от мысленности. Вот и у меня был чиновник, кажется, такой порядочный, все просил штатного места. Чтобы отвязаться от него, я дал ему разбирать старый архив, сказавши, что дам ему тогда место, когда он приведет архив в порядок. Вот он, бедный, и закабалил себя; год прошел, другой,— день и ночь роется в архиве: сжалился я наконец над ним и хотел уже представить о нем директору, как вдруг пришли мне сказать, что с моим архивариусом случилось что-то недоброе. Я пошел в ту комнату, где он занимался,— нет его; смотрю: он забрался на самую верхнюю полку, присел там на корточки между кипами и держит в руках нумер.

«Что с вами? — закричал я ему,— сойдите сюда». Как вы думаете, что он мне отвечал? «Не могу, Иван Григорьич, никак не могу: я *решенное дело!»* И начальник отделения захохотал; у Иринея Модестовича навернулись слезы.

— Ваша история,— проговорил он,— печальнее моей.

Капитан, мало обращавший внимания на канцелярский рассказ, кажется, ломал голову над повестью о при-

видении, и наконец, как будто очнувшись, спросил у Иринея Модестовича:

— А что, у вашей Марьи Сергеевны пили ли пунш?

— Нет, — отвечал Ириней Модестович.

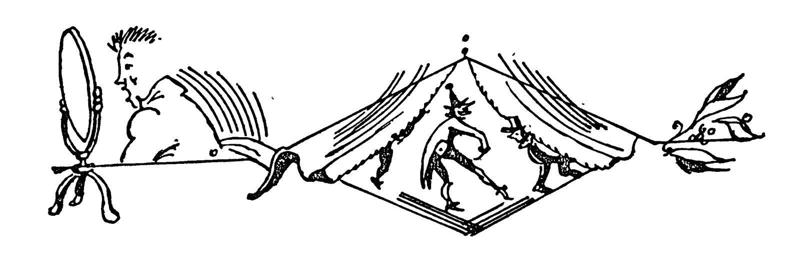
— Странно! — проговорил капитан, — очень странно!

Между тем дилижанс остановился; мы вышли.

— Неужели в самом деле рассказчик-то умер? — спросил я.

— Я никогда этого не говорил, — отвечал быстро Ириней Модестович самым тоненьким голоском, улыбаясь и припрыгивая, по своему обыкновению...

<*1838*>



ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ

(Посв. графине Е. П. Ростопчиной)

— Скажите, сделайте милость, как перевести по-русски слово солидарность (solidaritas)?

— Очень легко — *круговая порука,* — отвечал ходячий словарь.

— Близко, а не то! Мне бы хотелось выразить буквами тот психологический закон, по которому ни одно слово, произнесенное человеком, ни один поступок не забываются, не пропадают в мире, но производят непременно какое-либо действие; так что ответственность соединена с каждым словом, с каждым, по-видимому, незначащим поступком, с каждым движением души человека. «Об этом надобно писать целую книгу».

Из романа, утонувшего в Лете.

Что это? — никак, я умер?.. право! насилу отлегло... нечего сказать — плохая шутка... Ноги, руки холодеют, за горло хватает, душит, в голове трескотня, сердце замирает, словно душа с телом расстается... Да что же? ведь, никак, оно так и есть? Странно, очень странно — душа расстается с телом! — да где же у меня душа?.. да где же и тело? здесь! да где ж у меня руки, ноги?.. Батюшки-светы! вот оно — лежит себе как ни в чем не бывало на постели, только немножко рот покривился. Тьфу, пропасть! Да ведь это я лежу — нет! и не я! — нет! точно, я; словно на себя в зеркало смотрю; я — совсем другое: я — вот руки, ноги, голова — все там, здесь ничего, ровно ничего, а все слышу и вижу... Вот моя спальня; солнце светит в окошко; вот мой стол; на столе часы, и вижу на них девять часов с половиною; вот племянница в обмороке, сыновья в слезах — все по порядку; да полно... что вы плачете? — что? — Не слышат! Да и я своего голоса не слышу, а, кажется, говорю очень вразумительно. Дай-ка еще погромче — ничего! только как будто легкий ветерок подувает, — чудеса! право, чудеса! Да уж не сон ли это? Помню: вчера я был очень здоров и весел и в вист играл, и очень счастливо; вот вижу, куда и деньги положил, — и поужинал с

аппетитом, и поболтал с приятелями о том о сем, и почитал на сон грядущий, и заснул крепко,— как вдруг ни с того ни с сего тяжко, тяжко... хочу вскрикнуть — не могу; хочу пошевельнуться — не могу... Потом ничего не помню — да вдруг и проснулся... то есть какое проснулся? то есть очутился здесь... Где здесь?.. И слов не приберешь! Ну, право, это сон. Не верите? — Постой, сделаю опыт: ущипну себя за палец, да нет пальца, право, нет... Постой, что бы выдумать? дай посмотрюсь в зеркало — уж оно никак не обманет; вот мое зеркало — тьфу, пропасть! и в нем ничего нет, а все другое в нем вижу: всю комнату, детей, постелю, на постели лежит... кто? я? — ничего не бывало! я перед зеркалом,— а нет меня в зеркале... Поди, пожалуй, какие чудеса! Вот призвал бы сюда господ философов, ученых: извольте-ка, господа, растолковать: и здесь я, и не здесь, и живу я, и не живу, и двигаюсь, и не движусь... Это что? бьют часы; раз, два, три... десять; однако ж пора в канцелярию — там есть у меня интересное дельце. Надобно насолить этому негодяю Перепалкину, который все на меня наушничает... «Эй! Филька! одеваться!..» Что я? как одеваться? Невозможно! Бывало время, что мне надеть было нечего, а теперь еще хуже — не на что... Однако ж не худо заглянуть в канцелярию... да как же туда отправиться? карету приказать — невозможно; нечего делать — пойти пешком, хоть и неприлично. Двигаться-то мне с одного места на другое очень легко... дай попробую; благо двери отворены... Вот мой кабинет, гостиная, столовая, передняя; вот я и на улице... да как легко, земли под собой не слышу, так и несусь — хочу скоро, хочу тихо... Да это, право, недурно — и шагать ненадобно... А, вот и знакомые! «Здравствуйте, ваше превосходительство! раненько изволите идти?..» Прошел мимо и внимания не обратил... Вот и другой: «Здравствуйте, Иван Петрович!» Тоже ни гу-гу — странно! Батюшки! коляска — во весь опор! тише, тише! наедешь дышлом! не видишь, что ли?.. Ахти! сквозь меня коляска проскакала, а я и не почуял, кажется, так надвое и раскроила, а ничего не бывало — чудеса, да и только. Однако ж, если на то пошло, ведь, право, мое состояние не плохо: легко, хорошо, никакой заботы; не нужно ни бриться, ни умываться, ни платья натягивать, гуляй куда хочешь,— вольный казак: можно без прогонов всю землю изъездить, никакая тебе опасность не грозит — уж чего тут? коляска сквозь меня проехала, и вот хоть бы что! Так вот она смерть-то; вот она что такое... А награда, наказание? Впрочем, правду

сказать, награды я не ждал,— не за что; да и наказывать меня не за что; были кое-какие грешки... ну, да у кого их нет? Я истинно скажу: ни добра, да и ни зла без нужды я никому не делал — право... вы знаете: я человек откровенный; ну, разумеется, когда ждешь беды, то иногда, так сказать, и подставишь ногу ближнему... да что ж тут делать? человек на тебя лезет с ножом, неужели же ему шею подставить? Жил я умненько, учился на железные гроши, в наследство получил медные, а детям оставил коку-с-соком, даже ни в какое заведение не отдавал их, чтоб лучше за их нравственностию наблюсти, сам воспитал их, научил важнейшему — *как жить в свете,* и если моих уроков послушают, далеко пойдут; правду скажу: душой, так сказать, почти не кривил, разумеется, иногда, смотря по обстоятельствам, понатягивал... да! как подумаешь, понатягивал — но только когда можно было натянуть... кто ж себе враг? Да как бы то ни было — от всех почтен, от всех уважен, из ничего вышел в люди, и все сам собою... дай бог всякому так сводить свои дела... А! да вот и канцелярия! Посмотрим, что-то здесь делается. Так, сторож дремлет по-всегдашнему — уж вот что с ним ни делай. «Сидоренко! Сидоренко!» — не слышит! и двери затворены... Как тут быть? хоть век оставайся в передней,— добро бы у нужного человека... А! вот кто-то идет... мой чиновник,— ну, двери настежь... «Батюшка! помилуйте, прихлопнули»,— да нет, я сквозь доску прошел... А что, подумаешь, ведь это не так дурно... как я этого прежде не догадался? Так, стало, для меня нет ни дверей, ни запоров; стало быть, нет от меня и секрета?.. ну, право же, это недурно,— весьма может пригодиться при случае... Ах, лентяи! чем бы делом заниматься, а они кто на столе, кто на окончине развалились и точат лясы. Хоть бы привстали, невежи,— хоть бы поклонились — вот приучи их к порядку... А! вот и старший; посмотрим, не пугнет ли их немного...

Старший. Господа! нельзя ли по местам? Ведь болтать можно и сидя за бумагой; не все равно? кто вам мешает? оно, разумеется,— почему не так? — вот мы, бывало, в старину, в канцелярии и в картишки игрывали, да с оглядкой — и ничего, право! Столы у нас тогда были маленькие: вот мы бумаги разложим и давай в бостончик; идет начальник — мы карты под бумаги; начальник войдет — все благоприлично; а то что вы, нынешние? развалились по столам, по окошкам; ну, войдет Василий Кузьмич — когда тут вскочить? Беготня, беспорядок —

беда, да и только, особливо теперь: ждет награды, знаете какой бывает сердитый в это время...

Один из чиновников. Еще рано Василью Кузьмичу. Он вчера до трех часов в карты играл...

Все знают, проклятые!..

Второй. Неправда — он у Каролины (Карловны)...

И это знают, злодеи!..

Третий. Ничуть — у Натальи Казимировны...

И это также... кто б это подумал?..

Четвертый. Да неужели у него две интриги разом? этакой старик...

Третий. Старик? смотри, коли он нас всех не переживет! Поесть ли, попить ли — его дело, и в ус не дует! Даром что святошу корчит... всех нас за пояс заткнет...

Тьфу, негодяи какие! Не знал же я вас прежде!.. И слушать больше не хочу... Сорванцы, болтуны!.. Вот, постойте!.. Опять забылся; уж не унять мне их!.. А досадно: уж как бы раскассировал... Что тут делать? Эх, волки их ешь!.. Надобно чем-нибудь развлечься. Дай пойду послушать, что скажет князь, как услышит о моей кончине, как пожалеет... Ну, скорее. В приемной один Кирила Петрович — и в слезах,— верно, обо мне: то-то, друг один никогда не изменял! Хорошо, что не знал ты одного дельца... сказал я про тебя одно словцо, которое ввек тебя бороздить будет,— да нечего было делать: зачем тебя назначили именно на то место, которого мне хотелось... кто себе враг? Но, кроме этого, я тебе всегда во всем был помощник, и ты можешь обо мне поплакать. А! вот к князю и двери отворяются... Войдем...

Кирила Петрович. Я к вашему сиятельству с неожиданным, горестным известием: Василий Кузьмич приказал долго жить...

Князь. Что вы говорите? да еще вчера...

Кирила Петрович *(всхлипывая)*. Сегодня ночью удар; прислали за мною в восемь часов — уж едва дышал; все медицинские пособия... в девять часов богу душу отдал... Большая потеря, ваше сиятельство.

Князь. Да, признаюсь — таких людей мало: истинно почтенный был человек.

Кирила Петрович. Деятельный чиновник...

Князь. Правдивый был человек.

Кирила Петрович. Прямая, откровенная душа! Уж, бывало, что скажет, верь как святому...

Князь. И вообразите — как будто нарочно, только сегодня сошло об нем представление...

Кирила Петрович (*плачет*). Ах, бедный! А он так ждал его...

Князь. Что делать! видно, судьба его умереть без повышения... Жаль!..

Кирила Петрович (*рыдая*). Да! уж теперь ему ничего не нужно...

Василий Кузьмич. Как не нужно?.. Помилуйте, ваше сиятельство! за что же такая обида? Да! я и забыл... уж не нужно и повышения... Ах, обидно! Ну уж, видно, я и впрямь умер... Да отчего бы так, впрочем? что нужды, что я умер! ведь я в отставку не подавал: пусть бы чины себе шли да шли... кому ж от того помеха? а и мертвому приятно... Ах, не догадался я прежде! Что бы составить об этом проектец... Досадно, больно...

Кирила Петрович. Да, теперь ему более ничего не нужно! Но у него осталось семейство... если б ваше сиятельство...

Князь. Как же! с большою охотою. Заготовьте мне записку... Но только я вам должен сказать,— ваше искреннее участие в Василье Кузьмиче делает вам много чести.

Кирила Петрович. Как же иначе, ваше сиятельство. Он был мне истинный, неизменный друг...

Князь (*улыбаясь*). Ну, не совсем...

Кирила Петрович (*отирая слезы*). Как не совсем? Что вы хотите сказать этим, ваше сиятельство?..

Князь. Да, теперь дело прошлое, а я скажу вам: если вы не получили того места — знаете?.. то не кто другой тому причиною, как Василий Кузьмич... Мне больно это вам открыть, а это так...

Василий Кузьмич. Ай! ай!

Кирила Петрович. Вы меня сразили, ваше сиятельство!.. Да что ж он мог про меня сказать?..

Князь. Да ничего в особенности, а так вообще заметил, что вы человек неблагонадежный...

Кирила Петрович. Да помилуйте, ваше сиятельство, это одно слово ничего не значит — надобны доказательства...

Князь. Я это знаю; я вступался за вас; но Василий Кузьмич только и твердил: «Поверьте мне, я его давно знаю, неблагонадежен, неблагонадежен вовсе...» Это дело, как вы знаете, от меня не зависело, Василий Кузьмич был с весом — и к нему все пристали.

Кирила Петрович. Ах, лицемер, лицемер! Уж

если на то пошло, я доложу вашему сиятельству: меня он уверял, что против меня были вы, что он, как с вами ни спорил, как ни заступался за меня...

Князь. Он вам просто солгал...

Кирила Петрович. Поверите ли, ваше сиятельство, не было на свете коварнее этого человека; с виду мужиком смотрел, и то и дело на языке: «Я человек простой, я человек простой», — и прямо всякому в глаза смотрел, — а тут-то и норовит обмануть; всех проводил, ваше сиятельство, всех обманывал... Вот только была бы ему какая ни на есть пользишка... отца бы продал, сына б заложил, мать бы родную оклеветал... право!

Князь. По крайней мере нельзя отнять у него, что он был человек деятельный.

Кирила Петрович. Какой деятельный, ваше сиятельство! Лентяй сущий: только что мастер был бумаги спускать. Вникните-ка в его дела — ничем не занимался. Да и когда ему было? С утра до вечера или интригует, или в вист. Ничего у него не было святого: как дело поважнее, потруднее, так и свалит его на другого; уж на это такой был тонкий!.. Такой всегда предлог отыщет, что в голову не придет... А там, смотришь, как другие дело все сделали, он его так обернет, как будто сам его сделал... такой хитрец!..

Князь. Но все-таки он был человек не корыстолюбивый...

Кирила Петрович *(горячась)*. Он? такого корыстолюбца свет не привидывал. На маленькие дела он не пускался, потому что осторожен был, как заяц; но изволите помнить его поручение в чужих краях: откуда все его богатство?..

Князь. Как? неужели? Полно, правда ли?

Кирила Петрович *(продолжая горячиться)*. Да помилуйте, ведь я сам при нем был, я все знаю — всех обманул, продал... а доказательств нет — все прикрыл...

Василий Кузьмич. Ай, ай, ай!

Князь. Я вам очень благодарен, что вы мне это открыли. Мне остается пожалеть, что вам не вздумалось этого сделать немножко раньше...

Кирила Петрович. Ах, ваше сиятельство! Что было делать! Старинная связь, дружба, — человек сильный.

Князь. И которого покровительство вам было нужно, не так ли?.. Прощайте, сударь... *(Уходит.)*

В а с и л и й К у з ь м и ч. Что, брат, взял? Вот что значит наушничать...

К и р и л а П е т р о в и ч *(опомнясь)*. Ай! оплошал, погорячился слишком... Проклятый лицемер, душегубец! И по смерти-то пакостит мне...

В а с и л и й К у з ь м и ч. Однако ж очень недурно, что я умер; не то плохая бы мне была шутка. Ну, что его слушать! Полечу-ка к другим друзьям: может быть, кто-нибудь и добром вспомянет. А, право, весело этак из места в место летать.

Друзья Василья Кузьмича за обедом.

П е р в ы й д р у г. Так вот как, батюшка! чрез два дня мы на похоронах у Василья Кузьмича? Кто бы подумал? Еще сегодня должен был у меня обедать; я ему и страсбургский пирог приготовил: он так любил их, покойник.

В т о р о й д р у г. А пирог славный — нечего сказать...

В а с и л и й К у з ь м и ч. Да! вижу, что славный! Странное дело: голода нет, а поесть бы не отказался... что за трюфели! как жаль, что нечем...

Т р е т и й д р у г. Чудный пирог! позвольте-ка еще порцию за Василья Кузьмича...

Все смеются.

В а с и л и й К у з ь м и ч. Ах, злодеи!

П е р в ы й д р у г. Ну, уж Василий Кузьмич не такую бы порцию взял: любил поесть, покойник, не тем будь помянут...

В т о р о й д р у г. Ужасный был обжора! Я думаю, оттого у него и удар случился...

Т р е т и й д р у г. Да, и доктора то же говорят... Он вчерась, говорят, так ел за ужином, смотреть было страшно... А что, не слышно, кто на его место?..

П е р в ы й д р у г. Нет еще. А жаль покойника, так, по человечеству...

Т р е т и й д р у г. Мастер был в вист играть...

В с е. О! большой мастер!..

П е р в ы й д р у г. У него, знаете, этакое соображение было...

В т о р о й д р у г. А что нынче в театре?..

Толки о городских новостях, о погоде... Василий Кузьмич прислушивается: об нем ни слова; он заглядывает в каждое блюдо.

Обед кончился; все садятся за карты; Василий Кузьмич смотрит на игру.

Василий Кузьмич. Что за игра валит — вот так-то — шлем! Козыряйте, козыряйте, Марка Иванович — нет! пошел в масть! Да помилуйте, как можно?.. с такой игрой — да ведь вы им офранкировали даму... Ах!.. как бы я разыграл эту игру — как жаль, что нечем! — опять не то. Марка Иваныч! да вы, сударь, карт не помните... позвольте мне сказать вам, я человек простой и откровенный, у меня что на сердце, то и на языке... да что я им толкую — не слышат!.. Ах, досадно! Вот и робер сыграли... вот и другой... Ахти! так руки и чешутся... досадно! — Вот чай подают — не хочется пить — а выпил бы чашечку — это тот самый чай, что Марку Иванычу прямо из Кяхты прислали — уж какой душистый — чудо! вот хоть бы капельку... Ох! досадно.

Вот и игра кончилась; за шляпы берутся, прощаются: «Прощайте, прощайте, Марка Иваныч!» И ухом не ведет... Ну, куда же мне теперь деваться? сна ни в одном глазе. Разве пойти по городу прогуляться; вот уж и экипажи стали редеть,— все попритихло; огни гасят в домах: всякий в постелю — все забыл, спит себе во всю ивановскую; а я-то, бедный,— мне некуда и головы приклонить. А! да что я? дай-ка проведаю Каролину (Карловну)... Что, я чай, плачет обо мне, горемышная? Э-ге! да и огонь у ней не погашен,— видно, и сон на ум нейдет; тоскует по мне, бедненькая! Посмотрим. Сидит в кабинете... Ахти! да не одна! это тот смазливенький, что я встретил однажды у ней на лестнице да приревновал,— а она еще уверяла, что знать его не знает, что, верно, он ходил к другим жильцам! Ах, злодейка! Послушаем, что она с ним толкует. Какие-то бумаги у ней в руках; а! мои заемные письма. Что она с ними хочет делать?

Каролина (Карловна). Так слушай, Ванюша: ты смотри не прозевай. Я не знаю, как это у вас делается; предъявить, что ли, надобно эти заемные письма; как, куда, когда — разузнай все это, моя душа. Мне куда потерять их не хочется; если б ты знал, чего они мне стоили! Уж такого скряги, как этот Аристидов, и свет не привидывал; ревновать — ревновал, а уж мне сделать удовольствие — того и не жди; насилу из него вымучила; да этого мало — нет-нет да и спросит: «Покажи-ка мне, Каролинушка, заемные письма,— я позабыл, от какого они числа»,— чуть было из рук не вырвал однажды: а не то, придет у меня же денег взаймы просить — у меня! Так, говорит, на перехватку. Такой бесчестный! Хорошо, что протянулся; теперь мы с тобой славно заживем, душа моя Ванюша...

Василий Кузьмич. Ах, злодейка! обнимает его! цалует! — Тьфу, смотреть досадно! так сердце и разрывается — а делать нечего! Плюнуть на нее, негодную, изменщицу, — да и что она мне далась?.. А уж куда хороша, проклятая... У! у! бесстыдная... плюю на тебя. Вот уж Наталья Казимировна не тебе чета... Посмотреть, однако ж, что-то делает и эта? Уж также не нашла ли себе утешителя. Вот ее квартирка! и огня нет. Посмотрим, уж не больна ли она? — Нет! спит себе да всхрапывает как ни в чем не бывало. Уж не с горя ли? Какое с горя! у постели брошено маскарадное платье: в маскараде была! вот ее поминки по мне... И как спокойно почивает! раскинулась так небрежно... как хороша! что за прелесть... ах! как жаль!.. Ну, да нечего жалеть! ничем не поможешь... Куда бы деваться? — разве домой... а что ж, в самом деле?.. Какая тишина на улицах — хоть бы что шелохнулось... А это что за господа присели тут за углом... что-то посматривают, как будто чего-то поджидают; уж верно — недоброе на уме... Посмотрим. Ге! ге! да это плут Филька, мой камердинер, что сбежал от меня... Ах, бездельник... что-то он поговаривает...

Товарищ Фильки. Ну, да где ж ты научился по *музыке ходить*[1], что, ты из *жульков*[2], что ли?

Филька. Нет! куда! Совсем бы мне не тем быть, чем я теперь. Отец у меня был человек строгий и честный, поблажки не давал и доброму учил; никогда бы мне *музыка* на ум не пришла... Да попался я в услужение к Василию Кузьмичу, вот для которого скоро большая *уборка*[3] будет...

Товарищ Фильки. Да что, неужли он *мазурил?..*[4]

Филька. *Клевый маз*[5] был покойник... только, знаешь, большой руки. Знаешь, к нему хаживали просители *с стуканцами...*[6]

Товарищ Фильки. Постой-ка — никак, *стрема*[7].

---

[1] *То есть воровать.* Слово из *афеньского* языка, о котором лет пять тому были напечатаны в «Отечественных записках» любопытные исследования. Многие из поговорок этого языка вошли в обыкновенный язык, но не всем еще понятны, и потому мы считаем не излишним присоединить и перевод к афеньским словам. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] *Маленький мошенник. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[3] *Похороны. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[4] *Воровал. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[5] *Большой вор. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[6] *С деньгами. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[7] *Караульный, дворник. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

Филька. Нет! — *Хер*[1] какой-то... Да куда наша *фига*[2] запропастилась?..

Товарищ Фильки. Да нельзя же вдруг...

Филька. О! проклятое дело! продрог как собака...

Товарищ Фильки. Ничего — как рассвенет, в *шатун*[3] зайдем... ну, так ходили просители...

Филька. Ну да! ходили... а Василий-то Кузьмич думал, что я простофиля... Вот, говорит, приятель пришел; что он тебе отдаст, то ко мне принеси, а тебе за то синенькая; вот я делом-то смекнул; вижу, что Василию-то Кузьмичу не хочется, зазора ради, из рук прямо деньги брать, а чтоб того, знаешь, какова пора ни мера, на меня все свалить. Я себе на уме — за что ж мне даром служить? вот я и с Василия Кузьмича магарычи, да и с просителя подачку...

Товарищ Фильки. Так тебе, брат, *лафа*[4] была...

Филька. Оно так! да вот что беда: как пошли у меня стуканцы через руки ходить,— так сердце и разгорелось,— больше захотелось... а между тем Василий Кузьмич меня то туда, то сюда; поди-ка, Филька, вот то проведай, а того-то проведи,— а вот этому побожись, будто меня продаешь,— и разным этаким залихватским штучкам учил,— так что сначала совестно становилось, особливо, бывало, как отцовские слова вспомнишь, а потом и то приходило в ум: что же тут дурного — для своей прибыли работать? Василий Кузьмич — не мне чета, уж знает, что делать, а от всех почтен, уважен... что ж тут в зубы-то смотреть? уж коли музыка — так музыка. Да этак подумавши,— я однажды и хватил за *толстую кису*[5], да так, что надобно было лыжи навострить,— а с тех пор и пошло, чем дальше, тем пуще; да теперь вместо честного житья — того и смотри, что буду на Смольное глазеть...[6]

Товарищ Фильки. Смотри, смотри, фига знак подаст...

Филька. А! насилу-то! *(Встает.)*

Товарищ Фильки. А *фомка*[7] с тобою?

Филька. И нож также...

---

[1] *Пьяный. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)*
[2] *Лазутчик. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)*
[3] *В питейный дом. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)*
[4] *Славное житье. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)*
[5] *Большую сумму. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)*
[6] *Уголовное наказание. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)*
[7] *Лом. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

Василий Кузьмич. Ах ты бездельник! вишь, я его еще научал! я ведь совсем не тому... Пойдет теперь — обворует, может быть, смертоубийство совершит... Как бы помешать... Помешать! — а как помешать? Кто меня услышит? Ох! жутко! — куда бы деваться — хоть бы не видать и не слыхать... скорей домой... так авось не услышу... вот я и дома. Еще мое тело не убрали — да! еще рано. А! вот и племянница не спит, плачет, бедненькая!.. Добрая девка, нечего сказать; точно покойный ее отец! Никогда злое и на ум не взойдет; хоть десять раз его обмани, — ничего не видит! То-то добрая душа... да так он с одной доброй душой и на тот свет отправился: где-то он теперь; хоть бы встретить! потолковали бы кое о чем. Ну, не плачь, Лиза, мой друг! горем не поможешь; пройдешь — утешишься. Вот смотри, выйдешь замуж, все горе забудешь... Ну, а что сыновья-то делают? Не спят также — однако ж не плачут... Разговор, кажется, живой... послушаем.

Петр. Уж ты что ни толкуй, Гриша, если мы этого дела не смастерим да случаї упустим, так куда у нас доброго убудет...

Гриша. Оно так! да совестно что-то; ведь мы знаем, что она действительно дочь покойного дядюшки...

Петр. Мы знаем, да суд не знает, а суди по тому, что есть на бумаге...

Гриша. Да знаешь, что и Лизы-то жаль... Что за добрая! словно овечка... Ведь мы с ней маленькие игрывали... знаешь, брат: ведь чувство такое есть...

Петр. Ну, зафилософствовался! Мало тебя за это отец покойный бранил! уж он ли не говорил тебе, что с твоим философствованием век дрянью будешь: так и выходит...

Гриша. Я помню, что отец говорил... да, однако ж, как подумешь, — что с Лизой-то будет? куда она голову приклонит?

Петр. Да! так что́ же?.. Слушай, брат Гриша, скажу тебе напрямик: отец-то у нас уж куда умный человек был, и доказал, что умный: от гроша до мильона дошел, а помнишь его любимую поговорку: «Свою крышу крой, сквозь чужую не замочит». Вот оно что. А ведь тут по двести тысяч на брата, Гриша; ведь на улице не поднимешь...

Гриша. Оно так... Ну, да как Василий Кузьмич какое распоряжение сделал?

Петр. Да! Он таки сделал распоряжение — и я знаю

какое. Ты еще был мал, не помнишь, а я помню. Как дядя умирал, так и просил: «Я, говорит, не успел — болезнь захватила,— а дело важное — у Лизы бумаги не в порядке. Сохрани бог, ты умрешь,— другие наследники привяжутся, отобьют у ней наследство. Сделай милость, выхлопочи все доказательства ее происхождения, а не то — беда. Я на всякий случай все ломбардные билеты на имя неизвестного перевел, чтоб какова пора ни мера, все-таки Лиза не без куска хлеба будет. Пусть они теперь остаются у тебя,— а как подрастет, отдай ей,— да между тем выхлопочи ее бумаги-то... не забудь,— да и ты, Петруша,— отцу припомни...» Прошел год по кончине дяди,— я еще тогда был молод, неразумен, ничего не понимал, какие вещи есть на сем свете,— вспомнил я дядин приказ и заикнулся об нем отцу. А Василий Кузьмич посмотрел на меня, поморщился, да и молвил: «Что ты, отца-то учить, что ли, хочешь?» — «Да я, батюшка, подумал, что между делами...» — «Что я, забуду, что ли? — спросил отец.— Нет, Петруша, какие бы у меня дела ни были — я главного дела никогда не забываю — помни это». В те поры я не совсем эти слова понял, но потом — как начал входить в разум, смекнул, в чем дело; да однажды — уж неспроста — заговорил с отцом об Лизиных бумагах. Старик посмотрел на меня еще пристальнее прежнего и, кажется, отгадал, что у меня было на уме. «Много будешь знать, скоро состареешься»,— сказал он, знаешь, с своею миловидною улыбкою, да потом ударил меня по плечу и промолвил: «Слушай, Петруша, ты, я вижу, малой-то не дурак будешь... знаешь ли ты, что такое деньги? не знаешь? — я тебе скажу: деньги — то, чем мы дышим; все на свете пустяки, все вздор, все дребедень... одна вещь на свете: *деньги!* помни это, Петруша,— с этим далеко пойдешь...»

Василий Кузьмич. Когда, бишь, это я ему говорил?.. А точно! говорил... экой плут какой! — вспомнил — да к чему же он клонит...

Гриша. Ну, так что ж ты думаешь?..

Петр. Да думаю то, что дело и по сю пору на том стоит: то есть что билетов на четыреста тысяч на имя неизвестного лежит у отца в комоде,— а Лиза покамест ничего, не отца своего дочь...

Гриша. Да как же это?..

Петр. Да как же! Стоит нам помолчать, и четыреста тысяч наши...

Гриша. Ах, брат, да совестно...

П е т р. Ну, занес философию! совестно что? помолчать? добро бы говорить... Ведь слышишь, четыреста тысяч, — четыреста... знаешь счет или нет?..

Г р и ш а. Ну, а как отец-то какую записку оставил?..

П е т р. А что, и в самом деле? Вот уже правду покойник говаривал: «Что бы ни сталось, головы не теряй, главного не забывай». Пойдем-ка посмотрим у него в бумагах... благо, я ключи-то захватил...

Г р и ш а. Ах, брат, страшно. Ведь это... знаешь... подлог...

П е т р. Эк книги-то тебя с толку сбили! Уж дрянью был, дрянью и будешь... Да, нечего времени терять: скоро утро; я и один пойду, если ты трусишь... а ты сиди, хоть стихи сочиняй на досуге...

В а с и л и й К у з ь м и ч. Ну, вижу — этому малому плохо не клади, — экой разбитной какой!.. А жаль Лизы-то; впрочем, ведь не моя она дочь... Ну пришел; эк начал шарить; видно, чутье у него: так прямо на Лизины билеты и напал. Задумался... шарит в бумагах... еще задумался... Ну, что же!.. как? в карман? Э-ге! вот уж это дурно, Петруша... Что ты? что ты?.. Потащил! Ай-ай! что-то будет...

П е т р *(возвращаясь в братнину комнату, встревоженный)*. Записки нет никакой... я все перешарил...

Г р и ш а. Ну, что ж! хорошо...

П е т р. Да, очень хорошо! Ты здесь что делал?..

Г р и ш а. А мне пришли в голову два славные стиха для элегии:

О золото! Металл презренный!
Нас до чего доводишь ты? —

только рифм не могу отыскать...

П е т р. Слушай, Гриша, я тебе принес рифму, и очень богатую... Только смотри, брат! я человек честный, как видишь, мог бы всем воспользоваться, да не хочу, ты все-таки мне брат, хоть и дрянь; вот тебе половина, припрячь-ка скорее... да смотри не проболтайся.

Г р и ш а. Что ты? что ты, брат? Да как же это ты взял без родственников, прежде осмотра?..

П е т р. Что? дожидаться осмотра?.. ах ты, философ! Сам же меня надоумил...

Г р и ш а. Я?..

П е т р. Да кто же? Ведь ты сказал, что, может быть, Василий Кузьмич распоряжение какое сделал, может, записку какую оставил; я по твоим словам и пошел, записки

не нашел, а тут и подумал: а что, как где найдется? ведь на грех мастера нет! а как деньги припрятаны, так и концы в воду; там пускай после и осматривают, и опечатывают: «Знать не знаем и ведать не ведаем; какие были билеты, те и остались!»; а остались-то билеты все на имя батюшки, то есть которые достанутся нам по наследству... Что? не дурно?..

Г р и ш а. Так... да все-таки... я не знаю что-то...

П е т р. Берешь деньги или нет? коли не берешь, так, пожалуй, я и все себе возьму...

Г р и ш а. Ну уж... давай, давай...

В а с и л и й К у з ь м и ч. Нет! грустно что-то становится, а сам не знаю отчего... как-то странно! и благоразумно, да и нехорошо, однако благоразумно...Что-то в толк не могу взять... а душно мне здесь становится, пойти на воздух, да благо уж и утро... лавки отворяют... люди выходят... им весело... а мне скучно все что-то... дай заверну в кондитерскую. А! газеты разносят... хоть их почитать от скуки... А! моя некрология! Посмотрим. *(Читает.)*

«На сих днях скончался такой-то и такой-то Василий Кузьмич Аристидов, искренно оплакиваемый родными, друзьями, сослуживцами и подчиненными, всеми, кто знал и любил его. А кто не любил сего достопочтенного мужа? Кому не известны его зоркий ум, его неутомимая деятельность, его непоколебимое прямодушие? Кто не ценил его доброго и откровенного характера? Кто не уважал его семейные добродетели, нравственную чистоту? Посвящая всю жизнь трудам неусыпным, он, не желая отдать детей в общественное заведение, успевал лично заниматься их воспитанием и умел образовать в них подобных себе достойных сограждан. Прибавим к сему, что, несмотря на важные и многотрудные свои занятия, почтеннейший Василий Кузьмич уделял время и на литературу; он знал несколько европейских языков, был одарен изящным вкусом и тонкою разборчивостию. Здесь кстати заметим нашим врагам, завистникам, порицателям, нашим строгим ценителям и судьям, что почтеннейший Василий Кузьмич всегда отдавал нам справедливость: в продолжение многих лет был постоянным подписчиком и читателем нашей газеты...»

Ну уж тут немножко примахнули; никогда не подписывался — даром присылали... так... из угождения... Ну, что еще такое?

«Он знал и верил, что мы за правду готовы жизнию

пожертвовать, что наше усердие, благономеренность... чистейшая нравственность... участие публики...»

Ну, пошла писать! Это еще что за приписка?

«Долгом считаем уведомить читателей, что нашей газеты на нынешний год остается немного экземпляров, и потому... подписка принимается у известного своею честностию и аккуратностию книгопродавца...»

Ну, уж это их домашние дела; рады были к чему-нибудь прицениться... однако ж спасибо и негодяям за доброе слово...

Что это за шум на улице!.. Ага! возвращаются с похорон. Уж не с моих ли? Дай-ка послушать, что-то обо мне говорят.

— Делец был хоть куда, да одно плохо...

Мимо.

— Претонкая был штука!.,

— Уж ты что с ним ни делай, всегда вывернется!..

— Аккуратный человек...

— Без стыда и без совести...

— Гвоздин чрез него в люди пошел...

— По миру пустил и меня, и детей...

— И взятку взял, да в прах разорил, — верно, там больше дали...

— Никогда не брал...

— Брал, да искусно, через камердинера...

— Что вы?

— Уж кому это лучше меня знать?

— И с живого и с мертвого...

Тьфу, пропасть! и слушать неприятно!.. вот, живи после этого! оберегайся, рассчитывай каждый шаг обделывай дела свои умненько, умер — все открылось! Нет! нечего сказать, грустно, да и досадно — рта никому зажать нельзя!.. Куда бы деваться?.. Куда? разве побродить по городу... благо день...

Вот уж и потемнело! Не знаю отчего, как-то мне ночью страшно становится... Кажется, чего мне теперь бояться... а вот под сердцем так что-то и колет... Куда бы деваться? а! театр освещен? Давно уж я там не был — да, благо, и за вход не надобно платить. Посмотрим-ка, что такое дают? «Волшебную Флейту» — никогда не видал. Ах, да, опера! вот музыки я никогда не любил — так, душа к ней не лежала... Ну, да нужды нет, только бы вечер убить...

Что это за аллегория такая? человек и сквозь огонь и сквозь воду проходит... то есть ему здесь разные ис-

пытания... посмотрим-ка поближе *(на сцене)*, э! вода-то картонная, да и огонь-то тоже... да еще молодец-то пересменвается с актрисой... оно и здесь, как везде: снаружи подумаешь невесть что, а внутри пустошь, крашеная бумага да веревки, которыми все двигается. *(Обращается к зрителям.)* А! недурен вид отсюда на публику! Послушайте, господа, что вы видите здесь — совершенный вздор; вот, здесь парни в высоких шапках — маги, что ли, что они за околесную несут и про добродетель и про награды, такие и между вами есть,— все неправда. Они толкуют так потому, что за то деньги получают; да кто и выдумал-то все это, тоже из денег хлопотал; в этом вся штука! Поверьте мне: я в самом деле и сквозь воду и сквозь огонь прошел — а все вышло ничего; жил, имел деньги — было хорошо, а вот теперь что я такое? так! ничто! Слышите, что ли? Никто не слышит, все смотрят на сцену... видно, что-нибудь хорошо, отойти подальше. *(В партер.)* Так! Я этого ожидал! в награду за добродетель, за подвиги — исполнение всех желаний, и свет, и покой, и любовь — да! дожидайся... Однако ж, как подумаешь, если б в самом деле добыть такое тепленькое местечко, где бы ничего не видать, не слыхать, забыть обо всем!.. Занавесь опустилась — вот и все! все идут по домам, всякого ждет семья, друзья... а меня? меня никто не ждет! Эта глупая пьеса на меня тоску навела. Куда бы деваться? не оставаться же здесь в пустом, темном театре... Ах! если б уснуть? Бывало, что и неприятное случится, заляжешь в постелю, заведешь глаза, и все позабудешь, а теперь вот и сна нет! Грустно!.. *(Несется по городу.)* Ух! вот как проходишь мимо этих домов, даже жутко становится, так и слышится: вот здесь бранят, там проклинают, там насмехаются надо мною... и ушей нечем себе зажать, и глаз не можешь закрыть — все видишь, все слышишь... Куда это меня тянет?.. Никак, за город?.. а! кладбище! да! вот и моя могила... вот и мое тепленькое местечко! Здесь он и лежит! у, какой! и червяк у него ползет по лицу! А все-таки ему веселее моего; по крайней мере он ничего не чувствует... Да и мне даже здесь лучше, нежели там; хоть и не слышишь людского говора... Ох, грустно! грустно...

Кажется, я уже начал позабывать дни... уж не знаю, сколько и времени проходит... Да и на что мне знать? Только и отрады мне, что на моей могиле... тихо! едва потянешься куда, опять и брань и проклятия!.. Однако хотелось

бы посмотреть, что у меня в доме творится?.. Дай потащусь... Ну! в дорогу! что это снова меня тянет... Какая-то бедная квартирка... Э-ге! да тут Лиза, моя племянница... стало быть, дети-то выгнали ее из дома. Ох, нехорошо! Кто это у ней? А! молодой Валкирин, что приволакивался за нею... Ай! ай! чтоб не было беды... О чем это они поговаривают...

Валкирин. Скажите, Лизавета Дмитриевна, неужели у вас не осталось никаких бумаг после покойного батюшки?

Лиза. Все, какие были, переданы еще батюшкой Василию Кузьмичу... Но что с тобой сделалось, Вячеслав? Ты расстроен, бледен как смерть?..

Валкирин. Не спрашивайте меня, Лизавета Дмитриевна! Ужас... ужас!.. что у вас было четыреста тысяч, это верно, что они украдены — это еще вернее... Я двинул дело, и готовится следствие, но знаете ли, какое возражение приготовили ваши братья? они утверждают, что у Дмитрия Кузьмича никогда не было дочери!..

Лиза. Как не было, а я?

Валкирин. Это знают: вы, я, и они это знают, но в бумагах нет никаких доказательств...

Лиза. Как! я не дочь моего отца? да что же я такое?

Валкирин. Пока не найдутся доказательства, вы — ничто... вы — самозванка.

Лиза. Боже мой! какой ужас!.. Но как это можно? Пусть спросят!.. Кто не знает, что я дочь моего отца?..

Валкирин. Повторяю вам: все знают; но в бумагах этого нет, а это главное...

Лиза. Что ж делать теперь?..

Валкирин. Времени терять нельзя; я выхлопотал себе отпуск и в нынешнюю же ночь отправляюсь в бывшую деревню вашего батюшки; там, вероятно, я отыщу какие-нибудь следы...

Василий Кузьмич. Да! дожидайся! много отыщешь!..

Лиза. Я не знаю, Вячеслав, как мне благодарить тебя... все меня оставили, все гонят, — один ты...

Валкирин. Вы знаете, какой я жду награды! одного: вашей руки...

Лиза. О! она давно твоя, но не теперь, не в эту минуту... ты сам беден, я не хочу, чтоб ты женился на нищей, да и твой отец никогда на это не согласится... я не хочу быть причиной раздора в вашем семействе, особливо те-

перь, когда я... страшно вымолвить... даже не дочь моего отца! *(Рыдает.)*

Валкирин. Скажите только одно слово... я не посмотрю ни на что... вы завтра же будете моею женою.

Лиза. Нет, благородный человек! я не хочу воспользоваться твоим самоотвержением, а ты также не захочешь унизить меня: теперь твое предложение — почти милостыня, в которой я буду упрекать себя; будь доволен тем, что моя рука, моя любовь принадлежат тебе... Бог все устроит — и тогда ничто не помешает нашему счастию.

Василий Кузьмич. Они кидаются друг другу в объятия, оба плачут, бедненькие! Мне даже как будто жаль их; а как помочь? Ах, кабы знал да ведал, оставил бы ей что-нибудь на прожнвку... А то, вишь, плуты, все себе захватили... Ведь правду сказать, теперь мне на что? Не все ли равно, тем бы или другим досталось?.. Ах! жалко! душу теснит, смотреть на них больше не могу!.. Нет, жутко мне здесь оставаться... скорей вон из города, чтоб только не видать и не слыхать ничего!..

Как будто дышишь здесь привольнее; оно таки скучно одному по большим дорогам таскаться, а все лучше... Ба! кажется, знакомые места... Да! как же! вот и город, в котором я на своем веку славно попировал. Что, там помнят меня или забыли?.. Вот и дом, в котором я жил; посмотрим, что в нем творится... А! вот и мой прежний подчиненный! приятно встретить знакомое лицо! С ним какой-то приезжий, и очень встревожен; послушаем, что они толкуют.

Приезжий. Скажите, неужели действительно ничего не сохранилось из этого драгоценного собрания?

Провинциальный чиновник. Повторяю вам, что Василий Кузьмич приказал все истребить.

Приезжий. Но с какой целью?

Провинциальный чиновник. Да так, для чистоты и порядка. Как теперь помню: сидел он за вистом, призвал меня к себе и говорит: «Что это, батюшка, у вас там много старого хлама? куда его бережете? только место занимает, а мне вот некуда моих людей поместить». Я было заикнулся, что, дескать, древность большая, а он как на меня прикрикнет: «Прошу, батюшка, не умничать! прошу все это старье собрать, на пуды продать и деньги ко мне представить, а комнаты очистить, чтоб послезавтра мои люди могли туда перейти».

Приезжий. Так что же вы сделали?

Провинциальный чиновник. Я должен был исполнить приказание. Какие свитки были, продал в свечные лавки, а вещи в лом.

Приезжий. Как вещи? разве были и вещи?

Провинциальный чиновник. Да, только все старье: платье, бердыши и много-много вещей, которых и назвать не сумеешь... Например, были часы; говорят, им было лет четыреста, только старые такие, глядеть не на что, даже неблагоприлично. За одиннадцать рублей с полтиною слесарю продали; все старье, говорю вам...

Приезжий. Боже мой, какая потеря!

Провинциальный чиновник. Я уж и сам жалел, да делать было нечего. Да что это вас так интересует?

Приезжий. Как мне объяснить вам это? В этих бумагах хранился единственный экземпляр одного важного документа для нашей истории; я употребил все мое небольшое имение, чтоб отыскать его; изъездил десятки городов и наконец вполне убедился, что этот документ нигде, как у вас... Теперь все десятилетние мои труды потеряны, важный пропуск останется вечным в нашей истории, и я должен возвратиться ни с чем, без надежды и... без денег... Скажите, у вас была еще старинная живопись на стенах?

Провинциальный чиновник. Живопись? Как же-с! Она стерта по приказанию Василья Кузьмича.

Приезжий. Да что у вас был за варвар Василий Кузьмич?

Провинциальный чиновник. То есть он не то чтоб варвар был; эдаких, знаете, злодейств не делал, а так, крутенек был... вот видите, я расскажу...

Василий Кузьмич. Ну, пошли поминки по мне... дальше, дальше! *(Пролетает через город.)*

Что это? слышится рыдание... Опять мое имя поминают.

Голос в бедной лачужке. О, чтоб этому Василью Кузьмичу не было ни дна ни покрышки! Такая ли была б я теперь... Ластился тогда, проклятый, ко мне: не беспокойся, говорил, матушка, уж я все улажу; поднимете дело — хуже будет; я вам за все отвечаю, все ваше сохранится, все улажу... вот и уладил, окаянный; я сдуру-то ему поверила да срок пропустила, а вот теперь и умирай с голода с пятью сиротами, а ведь, кажется, и богат был и важен! Как эдаких людей земля носит!

В а с и л и й К у з ь м и ч. Еще поминки! мимо, мимо!.. Нет покоя! хоть бы залететь в какую-нибудь трущобу!.. А, вот еще город, что это? здесь, кажется, весело, ярмарка... Ахти! опять про меня толкуют: говорят, что все разорились оттого, что складочное место построено не там, где бы должно, что и дорог к нему нет, и товары портятся... Ахти, правда! Да что ж было делать? волочился я тогда за одной вдовушкой, а ей хотелось, чтоб ярмарка против ее дома была; сколько хлопот-то было! чего мне стоило и интриговать, и обманывать, и доказывать, что здесь-то самое лучшее и самое выгодное место... а к чему все это повело?.. Мимо! Мимо!.. А как подумаешь, что это в самом деле за распоряженье такое? Уж если умер, так умер — и концы в воду. А то нет — чем ни пошалил, все так в глаза и лезет, все вопит, все корит... право, странное распоряженье...

Нет сил больше! уж где я не таскался! кругом земного шара облетел! и где только ни прикорну к земле — везде меня поминают... Странно! ведь, кажется, что я такое на свете был? ведь если судить с благоразумной точки зрения, я не был выскочкою, не умничал, не лез из кожи, и ровно *ничего* не делал,— а посмотришь, какие следы оставил по себе! и как чудно все это зацепляется одно за другое! Смотришь, в тюрьме сидит человек, и в глаза его не видал,— пойдешь добираться и доберешься, что все по моей милости! Иного за тридевять земель занесло — и опять по моей милости. Тут и вдовы, и сироты, и должники, и кредиторы, и старый, и малый — все меня поминает, и отчего? все от безделицы, право, от безделицы: уверяю вас, я человек прямой и откровенный, от почерка пера, от какого-нибудь слова, сказанного или недосказанного... Право, сил нет! индо страшно становится! а между тем так и тянет на родину, так и подмывает. Ну, вот я и здесь! опять меня остановило над Лизиной квартиркой... Что за бедность! к такой ли она жизни привыкла? Исхудала, несчастная, на себя непохожа; куда и красота девалась? — работает над бельем, и слезы так и каплют, я чаю, также меня поминает... А это кто к ней входит? барин какой-то; как разодет: видно, богатый; с чем это он к ней подъезжает? И как она обрадовалась ему, вскочила!

Л и з а. Я думала, Филипп Андреевич, что вы меня совсем забыли.

Б а р и н. Нет, сударыня, как можно! захлопотался не-

много,— знаете, дела по министерству... Ну, что, как поживаете?

Лиза. Ах, дурно, Филипп Андреевич, очень дурно! Мой поверенный пишет, что никакой нет надежды отыскать мои бумаги.

Барин. Ничего, ничего, сударыня,— это мы все обделаем...

Лиза. Ах, вы истинно мой благодетель! без вас я бы совсем погибла; я и до сих пор живу теми деньгами, которыми вы меня ссудили, когда я ваше серебро продала,— а заплатить до сих пор — извините, нечем.

Барин. Ничего, ничего, сударыня! после сочтемся; вы меня сами очень одолжили... вы понимаете, мне самому, в моем чине, неловко как-то продавать,— а случается нужда в деньгах... вы понимаете.

Василий Кузьмич. Чем больше всматриваюсь — знакомое лицо! да это плут Филька, мой камердинер, переодетый!.. Ну! беда!..

Лиза. Очень понимаю и готова вам служить сколько могу; я сказала, что это серебро матушкино, да кстати и вензель на серебре пришелся по моему имени.

Филька. Прекрасно... впрочем, мне нельзя долго у вас оставаться; я заехал к вам на минуту, был в ломбарде, выкупил там свои вещи, а теперь надо ехать к министру; боюсь возить — потеряешь, позвольте мне у вас оставить вещи.

Лиза. С удовольствием. Ах, какие прекрасные бриллианты, фермуары, диадемы... и как много!

Филька. Да! прекрасные, прекрасные и очень дорогие. Пожалуйста, припрячьте их подальше.

Василий Кузьмич. Лиза, Лиза! что ты делаешь! ведь это краденые вещи, ведь это вор, ведь это Филька... Ничего не слышит... отчаяние!

Филька. Ах, нет! сделайте милость, не в комод: могут украсть; воры обыкновенно прежде всего хватаются за комод — я уж это знаю...

Лиза. Да куда же?

Филька. А знаете, вот за печку — оно гораздо безопаснее!

Лиза. Ах, как это смешно!

Филька. Теперь прощайте, до свидания... *(Филька выходит и в дверях встречается с полицейским, отступает на шаг и бледнеет.)*

Полицейский. А! попался, приятель! давно мы тебя поджидали! Так здесь у тебя воровской притон? Свя-

жите-ка ему руки, да и красавице-то его тоже, а комнату обыскать... *(Обыскивают комнату и находят за печкою брильянты.)*

Василий Кузьмич. Ах, бедная Лиза! да она не виновата! слышите, она не виновата! Нет, не слышат! Как растолковать им... Она в беспамятстве; слова не может вымолвить... Но вот кто-то еще... Ах, это Валкирин; может быть, он ее выручит... он не может прийти в себя от удивления... объясняется с полицейским; тот ему толкует о поведении Лизы, о давних ее сношениях с вором, о проданном серебре... Лиза узнает Валкирина, бросается к нему, он ее отталкивает... Нет, не могу больше смотреть! Скорее в могилу, в могилу — одно мое убежище!..

Так вот жизнь, вот и смерть! Какая страшная разница! В жизни, что бы ни сделал, все еще можно поправить; перешагнул через этот порог — и все прошедшее невозвратно! Как такая простая мысль в продолжение моей жизни не приходила мне в голову? Правда, слыхал я ее мельком, встречал ее в книгах, да проскользнула она между другими фразами. Там все так: люди говорят, говорят и так приговорятся, что все кажется болтовнею! А какой глубокий смысл может скрываться в самых простых словах: «нет из могилы возврата»! Ах, если б я знал это прежде!.. Бедная Лиза! Как вспомню об ней, так душа замирает! А всему виною я, я один! я внушил эту несчастную мысль моим детям — и чем! неосторожным словом, обыкновенною мирскою шуткою! Но виноват ли я? я ведь думал, что успею Лизу устроить! Правда, пожил я довольно на счет ближнего, но никогда бы не привел дочери моего брата в то положение, в котором она теперь! Неужели в детях моих нет искры чувства?.. А откуда оно бы зашло к ним? не от меня — нечего сказать; едва я подозревал в них зародыш того, что называется поэтическими бреднями, как старался убивать их и насмешкою и рассуждением; я хотел детей своих сделать *благоразумными людьми;* хотел предохранить их от слабодушия, от филантропии, от всего того, что я называл пустяками! Вот и вышли люди! Мои наставления пошли впрок, мою нравственность они угадали!.. Ох! не могу и здесь дольше оставаться — и здесь уж для меня нет покоя! Других голосов не слышу, но слышу свой собственный... ох! это совесть, совесть! какое страшное слово! как оно странно звучит в слухе! оно кажется мне совсем иным, нежели каким *там* каза-

лось; это какое-то чудовище, которое давит, душит и грызет мне сердце. Я прежде думал, что совесть есть что-то похожее на приличие, я думал, что если человек осторожно ведет себя, наблюдает все мирские условия, не ссорится с общим мнением, говорит то, что все говорят, так вот и вся совесть и вся нравственность... Страшно подумать! Ах, дети, дети! неужели и вас такая же участь ожидает? Если б вы были другие, если бы другое вам внушено было, вы, может быть, поняли бы мои страдания, вы постарались бы истребить следы зла, мною сделанного, вы поняли бы, что одним этим могут облегчиться мои терзания... И все напрасно! долгая, вечная жизнь предстоит мне, и мои дела, как семена ядовитого растения,— все будут расти и множиться!.. Что ж будет наконец? Ужас, ужас!..

Вот и тюрьма. Вижу в ней бедную Лизу... но что с нею? она уж не плачет, она поводит вокруг себя глазами...

Создатель! она близка к сумасшествию... Дети, знаете ли вы это?.. где они? Младший спит, старший сидит за бумагами... Боже, что в них написано! он обвиняет Лизу в разврате, поддерживает подозрение в воровстве, тонко намекает о ее порочных наклонностях, замеченных будто еще в моем доме... И как искусно, как хитро сплетена здесь ложь с истиною! Мои уроки не потерялись: он понял искусство жить... как я понимал его! Но что с ним? он взглянул на спящего брата: какое страшное выражение в лице его! О, как бы я хотел проникнуть в его мысли... вот... я слышу голос его сердца. Ужас, ужас! он говорит сам себе: «Эта дрянь всегда будет мне во всем помехою; откуда и жалость у него взялась, и раскаяние, и заступничество? Ну, что, если он сглупа все выболтает? тогда беда! Нечего сказать — уж куда бы кстати ему умереть теперь!.. А что, мысль не дурная! почему не помочь? стоит только несколько капель в стакан... что говорится, попотчевать кофеем... А что? в самом деле! снадобье-то под рукою, стакан воды возле него на столе, впросонках выпьет, не разберет — и дело с концом».

Петруша! сын мой! что ты делаешь! остановись!.. это брат твой!.. Разве не видишь... я у ног твоих... нет! ничего не видит, не слышит, подходит к столу, в руках его стклянка... Дело сделано!..

Боже! неужели для меня не будет ни *суда*, ни *казни?* Но что это делается вокруг меня? откуда взялись эти страшные лица? Я узнаю их! это брат мой укоряет меня! это

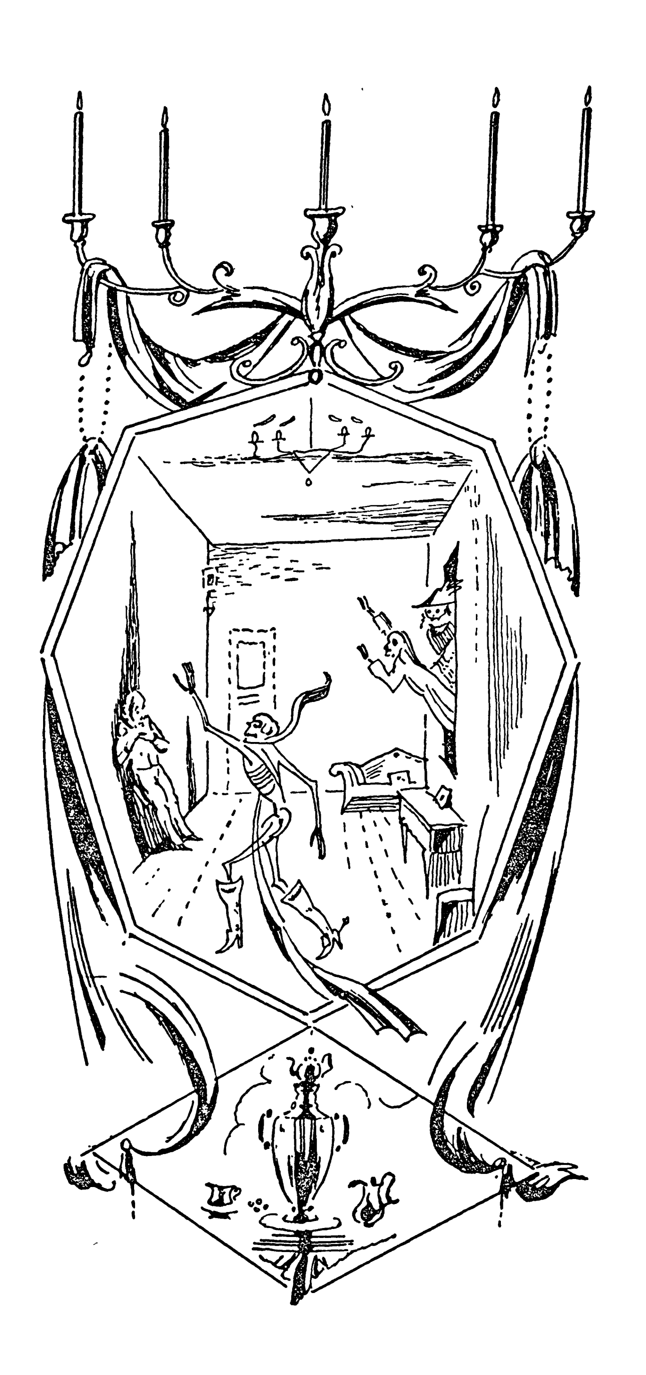
вдовы, сироты, мною оскорбленные! весь мир моих злодеяний! Воздух содрогнулся, небо разваливается... зовут, зовут меня...

В это утро Василий Кузьмич проснулся очень поздно. Он долго не мог прийти в себя, протирал глаза и смутно озирался.

— Что за глупый сон! — сказал он наконец, — индо лихорадка прошибла. Что за страхи мне снились, и как живо — точно наяву... отчего бы это? да! вчера я поужинал немного небрежно, да еще лукавый дернул меня прочесть на сон грядущий какую-то фантастическую сказку... Ох, уж мне эти сказочники! Нет чтоб написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное! а то всю подноготную из земли вырывают! Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже! читаешь и невольно задумываешься — а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретить им писать, так-таки просто вовсе бы запретить... На что это похоже? Порядочному человеку даже уснуть не дадут спокойно!.. Ух! до сих пор еще мороз подирает по коже... А уж двенадцать часов за полдень; эк я вчерась засиделся; теперь уж никуда не поспеешь! Надо, однако ж, чем-нибудь развлечься. К кому бы поехать? к Каролине Карловне или к Наталье Казимировне?

1838


Александр Пушкин





ГРОБОВЩИК

Не зрим ли каждый день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной?

Державин.

Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается внаймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и наконец купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачужке, где в течение осьмнадцати лет все было заведено самым строгим порядком; стал бранить обеих своих дочерей и работницу за их медленность и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился; кивот с образами, шкап с посудою, стол,

диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате; в кухне и гостиной поместились изделия хозяина: гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвышалась вывеска, изображающая дородного Амура с опрокинутым факелом в руке, с надписью: «Здесь продаются и обиваются гробы простые и крашеные, также отдаются напрокат и починяются старые». Девушки ушли в свою светлицу. Адриан обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар.

Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностию сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истории мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриан Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтоб журить своих дочерей, когда заставал их без дела глазеющих в окно на прохожих, или чтоб запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастие (а иногда в удовольствие) в них нуждаться. Итак, Адриан, сидя под окном и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновению был погружен в печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который, за неделю тому назад, встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии от того сузились, многие шляпы покоробились. Он предвидел неминуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на Разгуляе, и Прохоров боялся, чтоб ее наследники, несмотря на свое обещание, не поленились послать за ним в такую даль и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком.

Сии размышления были прерваны нечаянно тремя франмасонскими ударами в дверь. «Кто там?» — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляду можно было узнать немца ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приблизился к гробовщику. «Извините, любезный сосед,— сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха доныне слышать не можем,— извините, что я вам помешал... я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя мое

Готлиб Шульц, и живу от вас через улицу, в этом домике, что против ваших окошек. Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски». Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться и выкушать чашку чаю, и, благодаря открытому нраву Готлиба Шульца, вскоре они разговорились дружелюбно. «Каково торгует ваша милость?» — спросил Адриан. «Э-хе-хе,— отвечал Шульц,— и так и сяк. Пожаловаться не могу. Хоть, конечно, мой товар не то, что ваш: живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет».— «Сущая правда,— заметил Адриан; — однако ж, если живому не на что купить сапог, то, не прогневайся, ходит он и босой; а нищий мертвец и даром берет себе гроб». Таким образом беседа продолжалась у них еще несколько времени; наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя свое приглашение.

На другой день, ровно в двенадцать часов, гробовщик и его дочери вышли из калитки новокупленного дома и отправились к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи.

Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большею частию немцами ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будочник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет двадцать пять служил он в сем звании верой и правдою, как почталион Погорельского. Пожар двенадцатого года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его желтую будку. Но тотчас, по изгнании врага, на ее месте явилась новая, серенькая, с белыми колонками дорического ордена, и Юрко стал опять расхаживать около нее *с секирой и в броне сермяжной.* Он был знаком большей части немцев, живущих около Никитских ворот: иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. Адриан тотчас познакомился с ним, как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду, и как гости пошли за стол, то они сели вместе. Господин и госпожа Шульц и дочка их, семнадцатилетняя Лотхен, обедая

с гостями, все вместе угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось. Юрко ел за четверых; Адриан ему не уступал; дочери его чинились; разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски: «За здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось. Хозяин нежно поцеловал свежее лицо сорокалетней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. «За здоровье любезных гостей моих!» — провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку — и гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тут начали здоровья следовать одно за другим: пили здоровье каждого гостя особливо, пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков, пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности, пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриан пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шутливый тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы работаем, unserer Kundleut!» Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться, портной сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику и так далее. Юрко, посреди сих взаимных поклонов, закричал, обратясь к своему соседу: «Что же? пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов». Все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил, гости продолжали пить, и уже благовестили к вечерне, когда встали из-за стола.

Гости разошлись поздно, и по большей части навеселе. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо казалось в красненьком сафьянном переплете, под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая в сем случае русскую пословицу: долг платежом красен. Гробовщик пришел домой пьян и сердит. «Что ж это, в самом деле,— рассуждал он вслух,— чем ремесло мое нечестнее прочих? разве гробовщик брат палачу? чему смеются басурмане? разве гробовщик гаер святочный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой: ин не бывать же тому! А созову я тех, на которых работаю: мертвецов православных».— «Что ты, батюшка? — сказала работница, которая в это время разувала его,— что ты это городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на новоселье! Экая страсть!» — «Ей-богу, созову,— продолжал Адриан,—

и на завтрашний же день. Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попировать; угощу, чем бог послал». С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел.

На дворе было еще темно, как Адриана разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и нарочный от ее приказчика прискакал к Адриану верхом с этим известием. Гробовщик дал ему за то гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на Разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая как воск, но еще не обезображенная тлением. Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты; свечи горели; священники читали молитвы. Адриан подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сертуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Гробовщик, по обыкновению своему, побожился, что лишнего не возьмет; значительным взглядом обменялся с приказчиком и поехал хлопотать. Целый день разъезжал с Разгуляя к Никитским воротам и обратно; к вечеру все сладил и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликнул его знакомец наш Юрко и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам, отворил калитку и в нее скрылся. «Что бы это значило? — подумал Адриан.— Кому опять до меня нужда?» Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам? Чего доброго!» И гробовщик думал уже кликнуть себе на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще приблизился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо, но второпях не успел он порядочно его разглядеть. «Вы пожаловали ко мне,— сказал запыхавшись Адриан,— войдите же, сделайте милость».— «Не церемонься, батюшка,— отвечал тот глухо,— ступай себе вперед; указывай гостям дорогу!» Адриану и некогда было церемониться. Калитка была отперта, он пошел на лестницу, и тот за ним. Адриану

показалось, что по комнатам его ходят люди. «Что за дьявольщина!» — подумал он и спешил войти... тут ноги его подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные, полузакрытые глаза и высунувшиеся носы... Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в госте, с ним вместе вошедшем, бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были благопристойно: покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах. «Видишь ли, Прохоров,— сказал бригадир от имени всей честной компании,— все мы поднялись на твое приглашение; остались дома только те, которым уже невмочь, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи, но и тут один не утерпел — так хотелось ему побывать у тебя...» В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приближился к Адриану. Череп его ласково улыбался гробовщику. Клочки светло-зеленого и красного сукна и ветхой холстины кой-где висели на нем, как на шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах. «Ты не узнал меня, Прохоров,— сказал скелет.— Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому, в 1799 году, ты продал первый свой гроб — и еще сосновый за дубовый?» С сим словом мертвец простер ему костяные объятия — но Адриан, собравшись с силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования; все вступились за честь своего товарища, пристали к Адриану с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств.

Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собою работницу, раздувающую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтоб работница

начала с ним разговор и объявила о последствиях ночных приключений.

— Как ты заспался, батюшка, Адриан Прохорович,— сказала Аксинья, подавая ему халат.— К тебе заходил сосед портной, и здешний булочник забегал с объявлением, что сегодня частный именинник, да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить.

— А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?

— Покойницы? Да разве она умерла?

— Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?

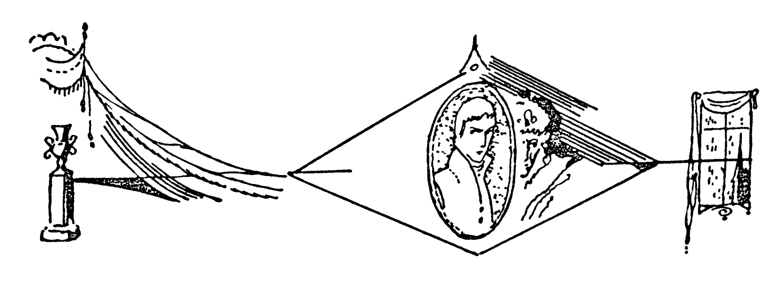
— Что ты, батюшка? не с ума ли спятил, али хмель вчерашний еще у тя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили.

— Ой ли! — сказал обрадованный гробовщик.

— Вестимо так,— отвечала работница.

— Ну коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей.

1830



ПИКОВАЯ ДАМА

Пиковая дама означает тайную недоброжелательность.

Новейшая гадательная книга

I

А в ненастные дни
Собирались они
Часто:
Гнули — бог их прости! —
От пятидесяти
На сто.
И выигрывали,
И отписывали
Мелом.
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.

Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом; прочие, в рассеянности, сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие.

— Что ты сделал, Сурин? — спросил хозяин.

— Проиграл, по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь!

— И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставил на *руте*?.. Твердость твоя для меня удивительна.

— А каков Германн! — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера, — отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру!

— Игра занимает меня сильно,— сказал Германн,— но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее.

— Германн немец: он расчетлив, вот и все! — заметил Томский.— А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна.

— Как? что? — закричали гости.

— Не могу постигнуть,— продолжал Томский,— каким образом бабушка моя не понтирует!

— Да что ж тут удивительного,— сказал Нарумов,— что осьмидесятилетняя старуха не понтирует?

— Так вы ничего про нее не знаете?

— Нет! право, ничего!

— О, так послушайте.

Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтоб увидеть la Vénus moscovite; Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости.

В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить.

Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости.

На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений; думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу розь и что есть разница между принцем и каретником.— Куда! дедушка бунтовал. Нет, да и только! Бабушка не знала, что делать.

С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за Вечного Жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня, и прочая. Над ним

смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих Записках говорит, что он был шпион; впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать.

Старый чудак явился тотчас и застал ее в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность.

Сен-Жермен задумался.

«Я могу вам услужить этой суммою,— сказал он,— но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыграться».— «Но, любезный граф,— отвечала бабушка,— я говорю вам, что у нас денег вовсе нет».— «Деньги тут не нужны,— возразил Сен-Жермен: — извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал...

Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал.

— В тот же самый вечер бабушка явилась в Версале, au jeu de la Reine герцог Орлеанский метал; бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другою: все три выиграли ей соника, и бабушка отыгралась совершенно.

— Случай! — сказал один из гостей.

— Сказка! — заметил Германн.

— Может статься, порошковые карты? — подхватил третий.

— Не думаю,— отвечал важно Томский.

— Как! — сказал Нарумов,— у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее кабалистики?

— Да, черта с два! — отвечал Томский,— у ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец: все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны; хоть это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич,

и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл — помнится Зоричу — около трехсот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты, с тем, чтоб он поставил их одну за другою, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю: они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту пятьдесят тысяч и выиграл соника; загнул пароли, пароли-пе,— отыгрался и остался еще в выигрыше...

Однако пора спать: уже без четверти шесть.

В самом деле, уже рассветало: молодые люди допили свои рюмки и разъехались.

II

— Il paraît que monsieur est décidément pour les suivantes.
— Que voulez-vous, madame? Elles sont plus fraîches.

Светский разговор

Старая графиня *** сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла всё привычки своей молодости, строго следовала модам семидесятых годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница.

— Здравствуйте, grand'maman,— сказал, вошедши, молодой офицер.— Bon jour, mademoiselle, Lise Grand'-maman, я к вам с просьбою.

— Что такое, Paul?

— Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал.

— Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у ***?

— Как же! очень было весело; танцевали до пяти часов. Как хороша была Елецкая!

— И, мой милый! Что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна?.. Кстати: я чай, она уж очень постарела, княгина Дарья Петровна?

— Как, постарела? — отвечал рассеянно Томский,— она лет семь как умерла.

Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть, для нее новую, с большим равнодушием.

— Умерла! — сказала она,— а я и не знала! Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...

И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.

— Ну, Paul,— сказала она потом,— теперь помоги мне встать. Лизанька, где моя табакерка?

И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею.

— Кого это вы хотите представить? — тихо спросила Лизавета Ивановна.

— Нарумова. Вы его знаете?

— Нет! Он военный или статский?

— Военный.

— Инженер?

— Нет! кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?

Барышня засмеялась и не отвечала ни слова.

— Paul! — закричала графиня из-за ширмов,— пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

— Как это, grand'maman?

— То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!

— Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?

— А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли!

— Простите, grand'maman: я спешу... Простите, завета Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумов нженер?

И Томский вышел из уборной.

Лизавета Ивановна осталась одна: она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки; она принялась опять за работу и наклонила голову над самою канвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.

— Прикажи, Лизанька,— сказала она,— карету закладывать, и поедем прогуляться.

Лизанька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу.

— Что ты, мать моя! глуха, что ли! — закричала графиня.— Вели скорей закладывать карету.

— Сейчас! — отвечала тихо барышня и побежала в переднюю.

Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.

— Хорошо! Благодарить,— сказала графиня.— Лизанька, Лизанька! да куда ж ты бежишь?

— Одеваться.

— Успеешь, матушка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том; читай вслух...

Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.

— Громче! — сказала графиня.— Что с тобою, мать моя? с голосу спала, что ли?.. Погоди: подвинь мне скамеечку, ближе... ну!

Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.

— Брось эту книгу,— сказала она,— что за вздор! Отошли это князю Павлу и вели благодарить... Да что ж карета?

— Карета готова,— сказала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу.

— Что ж ты не одета? — сказала графиня,— всегда надобно тебя ждать! Это, матушка, несносно.

Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.

— Что это вас не докличешься? — сказала им графиня.— Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду.

Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке.

— Наконец, мать моя! — сказала графиня.— Что за наряды! Зачем это?.. кого прельщать?.. А какова погода? — кажется, ветер.

— Никак нет-с, ваше сиятельство! очень тихо-с! — отвечал камердинер.

— Вы всегда говорите наобум! Отворите форточку. Так и есть: ветер! и прехолодный! Отложить карету! Лизанька, мы не поедем: нечего было наряжаться.

«И вот моя жизнь!» — подумала Лизавета Ивановна.

В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы

ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице зчатной старухи? Графиня ***, конечно, не имела злой души; но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы; к ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев в ее передней и девичьей, делала что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара; она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора; она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; а между тем требовали от нее, чтоб она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали, и никто не замечал; на балах она танцевала только тогда, как недоставало vis-á-vis, и дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя,— с нетерпением ожидая избавителя; но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать и где сальная свеча темно горела в медном шандале!

Однажды,— это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились,— однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой; через

пять минут взглянула опять,— молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около двух часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было,— и она про него забыла...

Дня через два, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником: черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым.

Возвратясь домой, она подбежала к окошку,— офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза: она отошла, мучаясь любопытством и волнуемая чувством, для нее совершенно новым.

С того времени не проходило дня, чтоб молодой человек, в известный час, не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение,— подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был за то ей благодарен: она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась...

Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому.

Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Германн не касался и процентов, жил одним жалованьем, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему (как

сказывал он) жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее,— а между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры.

Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Что, если,— думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу,— что, если старая графиня откроет мне свою тайну! — или назначит мне эти три верные карты! Почему ж не попробовать своего счастия?.. Представиться ей, подбиться в ее милость,— пожалуй, сделаться ее любовником,— но на это все требуется время — а ей восемьдесят семь лет,— она может умереть через неделю,— через два дня!.. Да и самый анекдот?.. Можно ли ему верить?.. Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!»

Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другою катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Германн остановился.

— Чей это дом? — спросил он у углового будочника.

— Графини ***,— отвечал будочник.

Германн затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, и, когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини ***. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Германн увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь.

III

Vous m'écrivez, mon ange, des lettres de quatre pages plus vite que je ne puis les lire.

Переписка

Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера; он схватил ее руку, она не могла опомниться от испугу, молодой человек исчез: письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы: кто это с нами встретился? — как зовут этот мост? — что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и невпопад и рассердила графиню.

— Что с тобою сделалось, мать моя! Столбняк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь или не понимаешь?.. Слава богу, я не картавлю и из ума еще не выжила!

Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо; оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви: оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна.

Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать: перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? — отослать ли ему письмо? — отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться, у ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать.

Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу — и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо,— и рвала его: то выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена,— писала она,— что вы имеете честные

намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком; но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение».

На другой день, увидя идущего Германна, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Германн подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригою.

Три дня после того Лизавете Ивановне молоденькая, быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германна.

— Вы, душенька, ошиблись,— сказала она,— эта записка не ко мне.

— Нет, точно к вам! — отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки.— Извольте прочитать!

Лизавета Ивановна пробежала записку. Германн требовал свидания.

— Не может быть! — сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований и способу, им употребленному.— Это писано, верно, не ко мне! — И разорвала письмо в мелкие кусочки.

— Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали? — сказала мамзель,— я бы возвратила его тому, кто его послал.

— Пожалуйста, душенька! — сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания,— вперед ко мне записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно...

Но Германн не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма, то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Германн их писал, вдохновенный страстию, и говорил языком, ему свойственным: в них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать: она упивалась ими; стала на них отвечать,— и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец, она бросила ему в окошко следующее письмо:

«Сегодня бал у ***ского посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет,— и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату».

Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока.— Германн стоял в одном сертуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Германн видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вослед за нею, в холодном плаще, с головой, убранною свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Германн стал ходить около опустевшего дома: он подошел к фонарю, взглянул на часы,— было двадцать минут двенадцатого. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже m-me Lebrun. Один из них

изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою; другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудреных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Leroy, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и Месмеровым магнетизмом. Германн пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать; справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева, другая — в коридор. Германн ее отворил, увидел узкую, витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы... Но он воротился и вошел в темный кабинет.

Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать,— и все умолкло опять. Германн стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра,— и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресла. Германн глядел в щелку: Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германн услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел.

Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета; наконец, графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце: в этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна.

Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницею. Раздевшись, она села у окна в вольтеровы кресла и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и

налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма.

Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: перед графинею стоял незнакомый мужчина.

— Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь! — сказал он внятным и тихим голосом.— Я не имею намерения вредить вам; я пришел умолять вас об одной милости.

Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Германн вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему.

— Вы можете,— продолжал Германн,— составить счастие моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить: я знаю, что вы можете угадать три карты сряду...

Германн остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали; казалось, она искала слов для своего ответа.

— Это была шутка,— сказала она наконец,— клянусь вам! это была шутка!

— Этим нечего шутить,— возразил сердито Германн.— Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыграться.

Графиня видимо смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность.

— Можете ли вы,— продолжал Германн,— назначить мне эти три верные карты?

Графиня молчала; Германн продолжал:

— Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того, они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот; я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!..

Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала; Германн стал на колени.

— Если когда-нибудь,— сказал он,— сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери,— всем, что ни есть святого в жизни,— не откажите

мне в моей просьбе! — откройте мне вашу тайну! — что вам в ней?.. Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором... Подумайте: вы стары; жить вам уж недолго,— я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастие человека находится в ваших руках; что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню...

Старуха не отвечала ни слова.

Германн встал.

— Старая ведьма! — сказал он, стиснув зубы,— так я ж заставлю тебя отвечать...

С этим словом он вынул из кармана пистолет.

При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела... Потом покатилась навзничь... и осталась недвижима.

— Перестаньте ребячиться,— сказал Германн, взяв ее руку.— Спрашиваю в последний раз: хотите ли назначить мне ваши три карты? — да или нет?

Графиня не отвечала. Германн увидел, что она умерла.

IV

7 Mai 18.**
Homme sans moeurs et sans religion!
Переписка

Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу,— сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германна и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека,— и уже она была с ним в переписке,— и он успел вытребовать от нее ночное свидание! Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны; никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, ни-

когда о нем не слыхала... до самого сего вечера. Странное дело! В самый тот вечер, на бале, Томский, дуясь на молодую княжну Полину ***, которая, против обыкновения, кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие: он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с нею бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна.

— От кого вы все это знаете? — спросила она, смеясь.

— От приятеля известной вам особы,— отвечал Томский,— человека очень замечательного!

— Кто ж этот замечательный человек?

— Его зовут Германном.

Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели...

— Этот Германн,— продолжал Томский,— лицо истинно романическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства. Как вы побледнели!..

— У меня голова болит... Что же говорил вам Германн,— или как бишь его?..

— Германн очень недоволен своим приятелем: он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе... Я даже полагаю, что Германн сам имеет на вас виды, по крайней мере он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля.

— Да где ж он меня видел?

— В церкви, может быть — на гулянье!.. Бог его знает! может быть, в вашей комнате, во время вашего сна: от него станет...

Подошедшие к ним три дамы с вопросами — oubli ou regret? — прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны.

Дама, выбранная Томским, была сама княжна ***. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом.— Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германне, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор; но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала.

Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой

мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и, благодаря новейшим романам, это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами... Вдруг дверь отворилась, и Германн вошел. Она затрепетала...

— Где же вы были? — спросила она испуганным шепотом.

— В спальне у старой графини,— отвечал Германн, я сейчас от нее. Графиня умерла.

— Боже мой!.. что вы говорите?..

— И кажется,— продолжал Германн,— я причиною ее смерти.

Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе: *у этого человека по крайней мере три злодейства на душе!* Германн сел на окошко подле нее и все рассказал.

Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, все это было не любовь! Деньги,— вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желания и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы!.. Горько заплакала она в позднем, мучительном своем раскаянии. Германн смотрел на нее молча: сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.

— Вы чудовище! — сказала наконец Лизавета Ивановна.

— Я не хотел ее смерти,— отвечал Германн,— пистолет мой не заряжен.

Они замолчали.

Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу: бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германна: он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.

— Как вам выйти из дому? — сказала наконец Лизавета Ивановна.— Я думала провести вас по потаенной

лестнице, но надобно идти мимо спальни, а я боюсь.

— Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу; я выйду.

Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Германну и дала ему подробное наставление. Германн пожал ее холодную безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел.

Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела окаменев; лицо ее выражало глубокое спокойствие. Германн остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине; наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный à l'oiseau royal, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться...

Под лестницею Германн нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу.

V

В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон В***. Она была вся в белом и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник!»

Шведенборг

Три дня после роковой ночи, в десять часов утра, Германн отправился в *** монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердившей ему: ты убийца старухи! Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь,— и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения.

Церковь была полна. Германн насилу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние: слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках; родственники в глубоком трауре,—

дети, внуки и правнуки. Никто не плакал; слезы были бы — une affectation. Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить и что ее родственники давно смотрели на нее как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее,— сказал оратор,— бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницею в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли,— и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Германн решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился... В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Германн, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся об земь. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: Oh?

Целый день Германн был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он, против обыкновения своего, пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул.

Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы: было без четверти три. Сон у него прошел; он сел на кровать и думал о похоронах старой графини.

В это время кто-то с улицы заглянул к нему в окошко,—

и тотчас отошел. Германн не обратил на то никакого внимания. Чрез минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Германн думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Германн принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним,— и Германн узнал графиню!

— Я пришла к тебе против своей воли,— сказала она твердым голосом,— но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду,— но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...

С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.

Германн долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу; Германн насилу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению: от него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Германн возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение.

VI

— *Ата́нде!*
— Как вы смели мне сказать *ата́нде?*
— Ваше превосходительство, я сказал *ата́нде-с!*

Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спрашивали: «который час», он отвечал: «без пяти минут семерка». Всякий пузатый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими

воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну,— воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых игрецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот.

В Москве составилось общество богатых игроков, под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщениям волокитства. Нарумов привез к нему Германна.

Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист; молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек двадцать игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет шестидесяти, самой почтенной наружности; голова покрыта была серебряной сединою; полное и свежее лицо изображало добродушие; глаза блистали, оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумов представил ему Германна. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать.

Талья длилась долго. На столе стояло более тридцати карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянною рукою. Наконец талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую.

— Позвольте поставить карту,— сказал Германн, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился, молча, в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германна с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала.

— Идет! — сказал Германн, надписав мелом куш над своею картою.

— Сколько-с? — спросил, прищурившись, банкомет,— извините-с, я не разгляжу.

— Сорок семь тысяч,— отвечал Германн.

При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германна.— Он с ума сошел! — подумал Нарумов.

— Позвольте заметить вам,— сказал Чекалинский с неизменной своею улыбкой,— что игра ваша сильна: никто более двухсот семидесяти пяти семпелем здесь еще не ставил.

— Что ж? — возразил Германн,— бьете вы мою карту или нет?

Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия.

— Я хотел только вам доложить,— сказал он,— что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту.

Германн вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германнову карту.

Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка.

— Выиграла! — сказал Германн, показывая свою карту.

Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо.

— Изволите получить? — спросил он Германна.

— Сделайте одолжение.

Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Германн принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Германн выпил стакан лимонаду и отправился домой.

На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Германн подошел к столу; понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился.

Германн дождался новой тальи, поставил карту, положив на нее свои сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш.

Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево.

Германн открыл семерку.

Все ахнули. Чекалинский видимо смутился. Он отсчитал девяносто четыре тысячи и передал Германну. Германн принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился.

В следующий вечер Германн явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтоб видеть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германна. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Германн стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Германн снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом.

Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.

— Туз выиграл! — сказал Германн и открыл свою карту.

— Дама ваша убита,— сказал ласково Чекалинский.

Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.

В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...

— Старуха! — закричал он в ужасе.

Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Германн стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор.— Славно спонтировал! — говорили игроки.— Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом.

Заключение

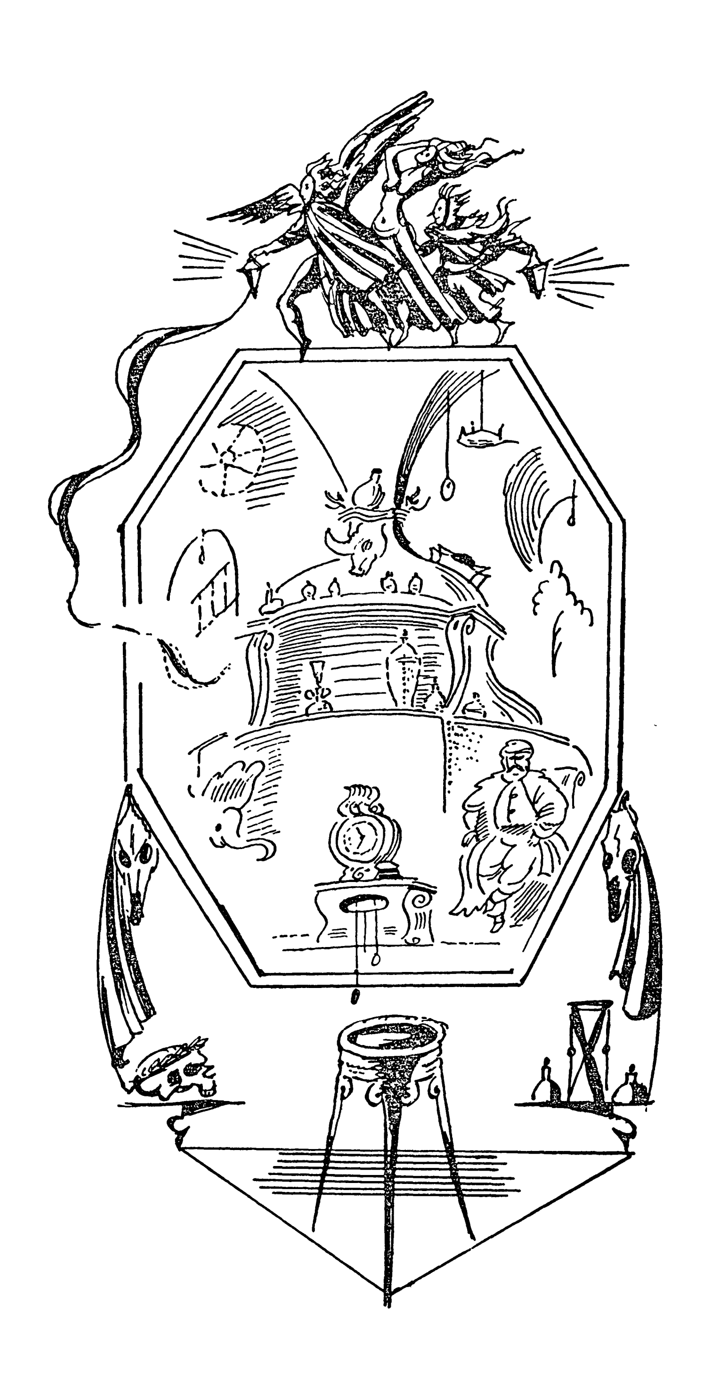
Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..»

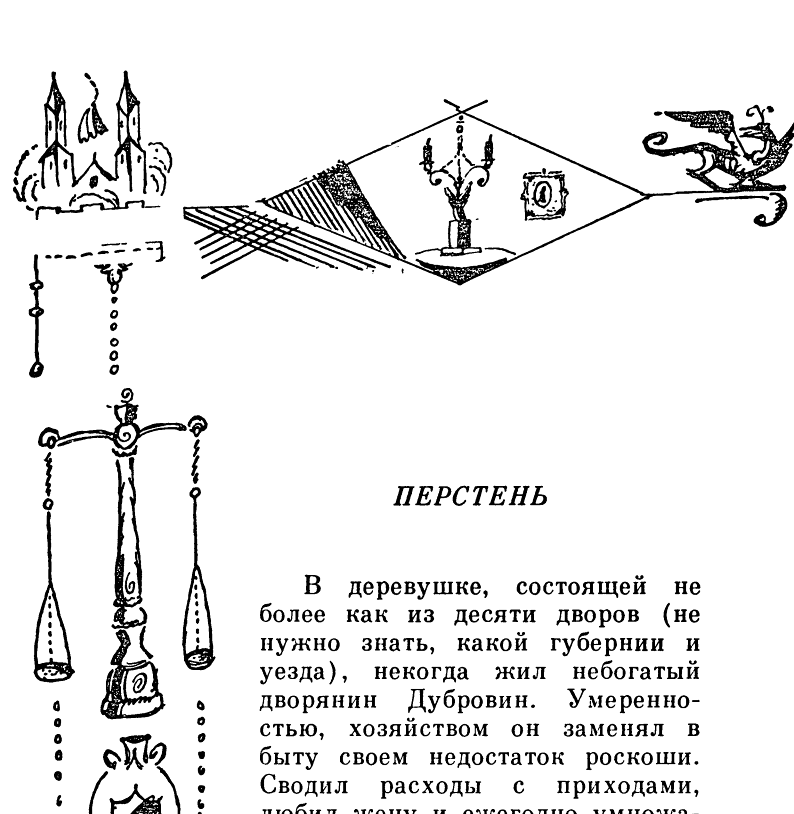
Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница.

Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.

<*1834*>


Евгений Баратынский





ПЕРСТЕНЬ

В деревушке, состоящей не более как из десяти дворов (не нужно знать, какой губернии и уезда), некогда жил небогатый дворянин Дубровин. Умеренностью, хозяйством он заменял в быту своем недостаток роскоши. Сводил расходы с приходами, любил жену и ежегодно умножающееся семейство,— словом, был счастлив; но судьба позавидовала его счастью. Пошли неурожаи за неурожаями. Не получая почти никакого дохода и почитая долгом помогать своим крестьянам, он вошел в большие долги. Часть его деревушки была заложена одному скупому помещику, другую оттягивал у него беспокойный сосед, известный ябедник. Скупому не был он в состоянии заплатить своего долга; против дельца не мог поддержать своего права,— конечно, бесспорного, но скудного наличными доказательствами. Заимодавец протестовал вексель, проситель с жаром преследовал

дело, и бедному Дубровину приходило дозареза.

Всего нужнее было заплатить долг; но где найти деньги? Не питая никакой надежды, Дубровин решился, однако ж, испытать все способы к спасению. Он бросился по соседям, просил, умолял; но везде слышал тот же учтивый, а иногда и неучтивый отказ. Он возвратился домой с раздавленным сердцем.

Утопающий хватается за соломинку. Несмотря на свое отчаяние, Дубровин вспомнил, что между соседями не посетил одного,— правда, ему незнакомого, но весьма богатого помещика. Он у него не был, и тому причиною было не одно незнакомство. Опальский (помещик, о котором идет дело) был человек отменно странный. Имея около полутора тысяч душ, огромный дом, великолепный сад, имея доступ ко всем наслаждениям жизни, он ничем не пользовался. Пятнадцать лет тому назад он приехал в свое поместье, но не заглянул в свой богатый дом, не прошел по своему прекрасному саду, ни о чем не расспрашивал своего управителя. Вдали от всякого жилья, среди обширного дикого леса, он поселился в хижине, построенной для лесного сторожа. Управитель, без его приказания и почти насильно, пристроил к ней две комнаты, которые с третьею, прежде существовавшею, составили его жилище. В соседстве были о нем разные толки и слухи. Многие приписывали уединенную жизнь его скупости. В самом деле, Опальский не проживал и тридцатой части своего годового дохода, питался самою грубою пищею и пил одну воду; но в то же время он вовсе не занимался хозяйством, никогда не являлся на деревенские работы, никогда не поверял своего управителя,— к счастию, отменно честного человека. Другие довольно остроумно заключили, что, отличаясь образом жизни, он отличается и образом мыслей, и подозревали его дерзким философом, вольнодумным естествоиспытателем, тем более что, по слухам, не занимаясь лечением, он то и дело варил неведомые травы и коренья, что в доме его было два скелета и страшный желтый череп лежал на его столе. Мнению их противоречила его набожность: Опальский не пропускал ни одной церковной службы и молился с особенным благоговением. Некоторые люди, и в том числе Дубровин, думали, однако ж, что какая-нибудь горестная утрата, а может быть, и угрызения совести были причиною странной жизни Опальского.

Как бы то ни было, Дубровин решился к нему ехать. «Прощай, Саша! — сказал он со вздохом жене своей,—

еще раз попробую счастья»,— обнял ее и сел в телегу, запряженную тройкою.

Поместье Опальского было верстах в пятнадцати от деревушки Дубровина; часа через полтора он уже ехал лесом, в котором жил Опальский. Дорога была узкая и усеяна кочками и пнями. Во многих местах не проходила его тройка, и Дубровин был принужден отпрягать лошадей. Вообще нельзя было ехать иначе, как шагом. Наконец он увидел отшельническую обитель Опальского.

Дубровин вошел. В первой комнате не было никого. Он окинул ее глазами и удостоверился, что слухи о странном помещике частью были справедливы. В углах стояли известные скелеты, стены были обвешаны пуками сушеных трав и кореньев, на окнах стояли бутыли и банки с разными настоями. Некому было о нем доложить; он решился войти в другую комнату, отворил двери и увидел пожилого человека в изношенном халате, сидящего к нему задом и глубоко занятого каким-то математическим вычислением.

Дубровин догадался, что это был сам хозяин. Молча стоял он у дверей, ожидая, чтобы Опальский кончил или оставил свою работу; но время проходило, Опальский не прерывал ее. Дубровин нарочно закашлял, но кашель его не был примечен. Он шаркал ногами,— Опальский не слышал его шарканья. Бедность застенчива. Дубровин находился в самом тяжелом положении. Он думал, думал и, ни на что не решаясь, вертел на руке своей перстень; наконец уронил его, хотел подхватить на лету, но только подбил, и перстень, перелетев через голову Опальского, упал на стол перед самым его носом.

Опальский вздрогнул и вскочил с своих кресел. Он глядел то на перстень, то на Дубровина и не говорил ни слова. Он взял со стола перстень, с судорожным движением прижал его к своей груди, остановив на Дубровине взор, выражавший попеременно торжество и опасение. Дубровин глядел на него с замешательством и любопытством. Он был высокого роста; редкие волосы покрывали его голову, коей обнаженное темя лоснилось; живой румянец покрывал его щеки; он в одно и то же время казался моложав и старообразен. Прошло еще несколько мгновений. Опальский опустил голову и казался погруженный в размышление; наконец сложил руки, поднял глаза к нему; лицо его выразило глубокое смирение, беспредельную покорность. «Господи, да будет воля твоя!» — сказал он. «Это ваш перстень,— продолжал Опальский,

обращаясь к Дубровину,— и я вам его возвращаю... Я мог бы не возвратить его... что прикажете?»

Дубровин не знал, что думать: но, собравшись с духом, объявил ему свою нужду, прибавя, что в нем его единственная надежда.

«Вам надобно десять тысяч,— сказал Опальский,— завтра же я вам их доставлю; что вы еще требуете?»

«Помилуйте,— вскричал восхищенный Дубровин,— что я могу еще требовать? — Вы возвращаете мне жизнь неожиданным вашим благодеянием. Как мало людей вам подобных! Жена, дети опять с хлебом; я, она до гробовой доски будем помнить...»

«Вы ничем мне не обязаны,— прервал Опальский.— Я не могу отказать вам ни в какой просьбе. Этот перстень... (тут лицо его снова омрачилось), этот перстень дает вам беспредельную власть надо мною... Давно не видал я этого перстня... Он был моим... но что до этого? Ежели я вам более не нужен, позвольте мне докончить мою работу; завтра я к вашим услугам».

Едучи домой, Дубровин был в неописанном волненьи. Неожиданная удача, удача, спасающая его от неизбежной гибели, конечно, его радовала, но некоторые слова Опальского смутили его сердце. «Что это за перстень? — думал он.— Некогда принадлежал он Опальскому; мне подарила его жена моя. Какие сношения были между нею и моим благодетелем? Она его знает! Зачем же всегда таила от меня это знакомство? Когда она с ним познакомилась?» Чем он более думал, тем он становился беспокойнее; все казалось странным и загадочным Дубровину.

«Опять отказ? — сказала бедная Александра Павловна, видя мужа своего, входящего с лицом озабоченным и пасмурным.— Боже! что с нами будет!» Но не желая умножить его горести: «утешься,— прибавила она голосом более мирным,— бог милостив, может быть, мы получим помощь, откуда не чаем».

«Мы счастливее, нежели ты думаешь,— сказал Дубровин.— Опальский дает десять тысяч... Все слава богу».

«Слава богу? отчего же ты так печален?»

«Так, ничего... Ты знаешь этого Опальского?»

«Знаю, как ты, по слухам... но ради бога...»

«По слухам... только по слухам...— Скажи, как достался тебе этот перстень?»

«Что за вопросы! Мне подарила его моя приятельница Анна Петровна Кузмина, которую ты знаешь: что тут удивительного?»

Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности своего свидания с Опальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного, с ним помирилась. Между тем она сгорала любопытством. «Непременно напишу к Анне Петровне,— сказала она.— Какая скрытная! никогда не говорила мне об Опальском. Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны».

На другой день, рано поутру, Опальский сам явился к Дубровину, вручил ему обещанные десять тысяч и на все выражения его благодарности отвечал вопросом: «Что еще прикажете?»

С этих пор Опальский каждое утро приезжал к Дубровину, и «что прикажете» было всегда его первым словом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему, наконец привык к этой странности и не обращал на нее внимания. Однако ж он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одною пустою поговоркою. Дубровин рассказал ему о своем деле, и на другой же день явился к нему стряпчий и подробно осведомился о его тяжбе, сказав, что Опальский велел ему хлопотать о ней. В самом деле, она в скором времени была решена в пользу Дубровина.

Дубровин прогуливался однажды с женою и Опальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревни, по ней рассыпанные, на зеленый луг, расстилающийся перед нею на необъятное пространство, был прекрасен. «Здесь бы, по-настоящему, должно было построить дом,— сказал Дубровин,— я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи, кровля течет, надо строить новые, и где же лучше?» На другое утро крестьяне Опальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным, и вскоре поднялся красивый, светлый домик, в который Дубровин перешел с своим семейством.

Не буду рассказывать, по какому именно поводу Опальский помог ему развести сад, запастись тем и другим: дело в том, что каждое желание Дубровина было тот же час исполнено.

Опальский был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку облагодетельство-

ванному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались на глаза его слезы: «Благодарю вас, вы ко мне очень снисходительны!»

Анна Петровна отвечала на письмо Александры Павловны. Она не понимала ее намеков, уверяла, что и во сне не видывала никакого Опальского, что перстень был подарен ей одною из ее знакомок, которой принес его дворовый мальчик, нашедший его на дороге. Таким образом, любопытство Дубровиных осталось неудовлетворенным.

Дубровин расспрашивал об Опальском в его поместье. Никому не было известно, где и как он провел свою молодость; знали только, что он родился в Петербурге, был в военной службе, наконец, лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. Единственный крепостной служитель, находившийся при нем, скоропостижно умер дорогою, а наемный слуга, с ним приехавший и которого он тотчас отпустил, ничего об нем не ведал.

Народные слухи были занимательнее. Покойный приходский дьячок рассказывал жене своей, что однажды, исповедуясь в алтаре, Опальский говорил так громко, что каждое слово до него доходило. Опальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве; признавался, что ему от роду 450 лет, что долгая эта жизнь дана ему в наказание, и неизвестно, когда придет минута его успокоения. Многие другие были россказни, одни других замысловатее и нелепее; но ничто не объясняло таинственного перстня.

Беспрестанно навещаемый Опальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома (Опальский собирал травы в окрестности), он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла его внимание. Она содержала в себе следующую повесть:

«Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши; жизнь могла для него быть одним долгим праздником... Две страсти — любопытство и любовь — довели его до погибели.

Несмотря на набожность, в которой его воспитывали, на ужас, внушаемый инквизицией (это было при Филиппе II), рано предался он преступным изысканиям: тайно беседовал с учеными жидами, рылся в кабалистических книгах долго, безуспешно; наконец край завесы начал перед ним приподыматься.

Тут увидел он в первый раз донну Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию ее взоров. Она заметила любовь его и сначала казалась благосклонною, но мало-помалу стала холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно дон-Педро де-ла-Савина владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками; он удалился, но не оставил надежды обладать ею.

Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его, наконец, увенчалось несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое, он испытывал новую магическую фигуру. Работа приходила к концу; он провел уже последнюю линию: напрасно!.. фигура была недействительна. Сердце его кипело досадою. С горькою внутреннею усмешкою он увенчал фигуру свою бессмысленным своенравным знаком. Этого знака недоставало... Покой его наполнился «странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза... Легкий прозрачный дух стоял перед ним, вперив на него тусклые, но пронзительные свои очи.

«Чего ты хочешь?» — сказал он ему голосом тихим и тонким, но от которого кровь застыла в его сердце и волосы стали у него дыбом. Антонио колебался, но Мария предстала ему со всеми своими прелестями, с лицом приветливым, с глазами, полными любовию... Он призвал всю свою смелость. «Хочу быть любим Мариею»,— отвечал он голосом твердым.

«Можешь, но с условием».

Антонио задумался. «Согласен! — сказал он, наконец,— но для меня этого мало. Хочу любви Марии; но хочу власти и знания: тайна природы будет мне открыта?»

«Будет,— отвечал дух.— Следуй за своею тенью». Дух исчез. Антонио встал. Тень его чернела у дверей. Двери отворились: тень пошла,— Антонио за нею.

Антонио шел, как безумный, повинуясь безмолвной своей путеводительнице. Она привела его в глубокую уединенную долину и внезапно слилась с ее мраком. Все было тихо, ничто не шевелилось... Наконец земля под ним вздрогнула... Яркие огни стали вылетать из нее одни за другими; вскоре наполнился ими воздух; они

метались около Антонио, метались миллионами; но свет их не разогнал тьмы, его окружающей. Вдруг пришли они в порядок и бесчисленными правильными рядами окружили его на воздухе. «Готов ли ты?» — вопросил его голос, выходящий из-под земли. «Готов»,— отвечал Антонио.

Огненная купель пред ним возникла. За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии. По правую свою руку он увидел огромную ведьму, по левую такого же демона.

Как описать ужасный обряд, совершенный над Антонио, эту уродливую насмешку над священнейшим из обрядов! Ведьма и демон занимали место кумы и кума; отрекаясь за неофита Антонио от бога, добра и спасения; адский хохот раздавался по временам вместо пения; страшны были знакомые слова спасения, превращенные в заклятия гибели. Голова кружилась у Антонио; наконец прежний свист раздался; все исчезло. Антонио упал в обморок, утро возвратило ему память, он взглянул на божий мир — глазами демона: так он постигнул тайну природы, ужасную, бесполезную тайну; он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно, и это чувство было адским мучением. Он старался заглушить его, думая о Марии.

Он увидел Марию. Глаза ее обращались к нему с любовию; шли дни, и скорый брак должен был их соединить навеки.

Лаская Марию, Антонио не оставлял свои кабалистические занятия; он трудился над составлением талисмана, которым хотел укрепить свое владычество над жизнью и природой: он хотел поделиться с Марией выгодами, за которые заплатил душевным спасением, и вылил этот перстень, впоследствии послуживший ему наказанием, быть может легким в сравнении с его преступлением.

Антонио подарил его Марии; он ей открыл тайную его силу. «Отныне нахожусь я в совершенном твоем подданстве,— сказал он ей: — как все земное, я сам подвластен этому перстню; не употребляй во зло моей доверенности; люби, о люби меня, моя Мария».

Напрасно. На другой же день он нашел ее сидящею рядом с его соперником. На руке его был магический перстень. «Что, проклятый чернокнижник,— закричал дон-Педро, увидя входящего Антонио: — ты хотел разлучить меня с Марией, но попал в собственные сети. Вон отсюда! жди меня в передней!»

Антонио должен был повиноваться. Каким унижениям подвергнул его дон-Педро! Он исполнял у него самые тяжелые рабские службы. Мария стала супругою его повелителя. Одно горестное утешение оставалось у Антонио: видеть Марию, которую любил, несмотря на ужасную ее измену. Дон-Педро это заметил. «Ты слишком заглядываешься на жену мою,— сказал он.— Присутствие твое мне надоело: я тебя отпускаю». Удаляясь, Антонио остановился у порога, чтобы еще раз взглянуть на Марию. «Ты еще здесь? — закричал дон-Педро: — ступай, ступай, не останавливайся!»

Роковые слова! Антонио пошел, но не мог уже остановиться; двадцать раз в продолжение ста пятидесяти лет обошел он землю. Грудь его давила усталость; голод грыз его внутренность. Антонио призывал смерть, но она была глуха к его молениям; Антонио не умирал, и ноги его все шагали. «Постой!» — закричал ему, наконец, какой-то голос. Антонио остановился, к нему подошел молодой путешественник. «Куда ведет эта дорога?» — спросил он его, указывая направо рукой, на которой Антонио увидел свой перстень. «Туда-то...» — отвечал Антонио. «Благодарю»,— сказал учтиво путешественник и оставил его. Антонио отдыхал от полуторавекового похода, но скоро заметил, что положение его не было лучше прежнего: он не мог ступить с места, на котором остановился. Вяла трава, обнажались деревья, стыли воды, зимние снега падали на его голову, морозы сжимали воздух,— Антонио стоял неподвижно. Природа оживлялась, у ног его таял снег, цвели луга, жаркое солнце палило его темя... Он стоял, мучился адскою жаждою, и смерть не прерывала его мучения. Пятьдесят лет провел он таким образом. Случай освобождал его от одной казни, чтобы подвергнуть другой, тягчайшей. Наконец...»

Здесь прерывалась рукопись. Всего страннее было сходство некоторых ее подробностей с народными слухами об Опальском. Дубровин нисколько не верил колдовству. Он терялся в догадках. «Как я глуп,— подумал он напоследок: — это перевод какой-нибудь из этих модных повестей, в которых чепуху выдают за гениальное своенравие».

Он остался при этой мысли; прошло несколько месяцев. Наконец Опальский, являвшийся ежедневно к Дубровину, не приехал в обыкновенное свое время. Дубровин послал его проведать. Опальский был очень болен.

Дубровин готовился ехать к своему благодетелю, но

в ту же минуту остановилась у крыльца его повозка.

«Марья Петровна, вы ли это? — вскричала Александра Павловна, обнимая вошедшую, довольно пожилую женщину.— Какими судьбами?»

«Еду в Москву, моя милая, и, хотя ты 70 верст в стороне, заехала с тобой повидаться. Вот тебе дочь моя, Дашенька,— прибавила она, указывая на пригожую девицу, вошедшую вместе с нею.— Не узнаешь? ты оставила ее почти ребенком. Здравствуйте, Владимир Иванович, привел бог еще раз увидеться!»

Марья Петровна была давняя дорогая приятельница Дубровиных. Хозяева и гости сели. Стали вспоминать старину; мало-помалу дошли и до настоящего. «Какой у вас прекрасный дом,— сказала Марья Петровна,— вы живете господами».— «Слава богу! — отвечала Александра Павловна,— а чуть было не пошли по миру. Спасибо этому доброму Опальскому».— «И моему перстню»,— прибавил Владимир Иванович. «Какому Опальскому? какому перстню? — вскричала Марья Петровна.— Я знала одного Опальского; помню и перстень... Да нельзя ли мне <его> видеть?»

Дубровин подал ей перстень. «Тот самый,— продолжала Марья Петровна: — перстень этот мой, я потеряла его тому назад лет восемь... О, этот перстень напоминает мне много проказ! Да что за чудеса были с вами?» Дубровин глядел на нее с удивлением, но передал ей свою повесть в том виде, в каком мы представляем ее нашим читателям. Марья Петровна помирала со смеху.

Все объяснилось. Марья Петровна была донна Мария, а сам Опальский, превращенный из Антона в Антонио, страдальцем таинственной повести. Вот как было дело: полк, в котором служил Опальский, стоял некогда в их околотке. Марья Петровна была в то время молодой прекрасной девицей. Опальский, который тогда уже был несколько слаб головою, увидел ее в первый раз на святках одетою испанкой, влюбился в нее и даже начинал ей нравиться, когда она заметила, что мысли его были не совершенно здравы: разговор о таинствах природы, сочинения Эккартсгаузена навели Опальского на предмет его помешательства, которого до той поры не подозревали самые его товарищи. Это открытие было для него пагубно. Всеобщие шутки развили несчастную наклонность его воображения; но он совершенно лишился ума, когда заметил, что Марья Петровна благосклонно слушает одного из его сослуживцев, Петра Ивановича Савина (дон-Педро

де-ла-Савина), за которого она потом и вышла замуж. Он решительно предался магии. Офицеры и некоторые из соседственных дворян выдумали непростительную шутку, описанную в рукописи: дворовый мальчик явился духом, Опальский до известного места в самом деле следовал за своею тенью. На это употребили очень простой способ: сзади его несли фонарь. Марья Петровна в это время была довольно ветрена и рада случаю посмеяться. Она согласилась притвориться в него влюбленною. Он подарил ей свой таинственный перстень; посредством его разным образом издевались над бедным чародеем: то посылали его верст за двадцать пешком с каким-нибудь поручением, то заставляли простоять целый день на морозе; всего рассказывать не нужно: читатель догадается, как он пересоздал все эти случаи своим воображением и как тяжелые минуты казались ему годами. Наконец Марья Петровна над ним сжалилась, приказала ему выйти в отставку, ехать в деревню и в ней жить как можно уединеннее.

«Возьмите же ваш перстень,— сказал Дубровин: — с чужого коня и среди грязи долой».— «И, батюшка, что мне в нем?» — отвечала Марья Петровна. «Не шутите им,— прервала Александра Павловна,— он принес нам много счастья: может быть, и с вами будет то же».— «Я колдовству не верю, моя милая, а ежели уже на то пошло, отдайте его Дашеньке: ее беде одно чудо поможет».

Дубровины знали, в чем было дело: Дашенька была влюблена в одного молодого человека, тоже страстно в нее влюбленного, но Дашенька была небогатая дворяночка, а родные его не хотели слышать об этой свадьбе; оба равно тосковали, а делать было нечего.

Тут прискакал посланный от Опальского и сказал Дубровину, что его барин желает как можно скорее его видеть. «Каков Антон Исаич?» — спросил Дубровин. «Слава богу,— отвечал слуга: — вчера вечером и даже сегодня утром было очень дурно, но теперь он здоров и спокоен».

Дубровин оставил своих гостей и поехал к Опальскому. Он нашел его лежащего в постели. Лицо его выражало страдание, но взор был ясен. Он с чувством пожал руку Дубровина: «Любезный Дубровин,— сказал он ему,— кончина моя приближается: мне предвещает ее внезапная ясность моих мыслей. От какого ужасного сна я проснулся!.. Вы, верно, заметили расстройство моего воображения.. Благодарю вас: вы не употребили его во зло, как

другие,— вы утешили вашею дружбою бедного безумца!..»

Он остановился, и заметно было, что долгая речь его утомила: «Преступления мои велики,— продолжал он после долгого молчания.— Так! хотя воображение мое было расстроено, я ведал, что я делаю: я знаю, что я продал вечное блаженство за временное... Но и мечтательные страдания мои были велики! Их возложит на весы свои бог милосердный и праведный».

Вошел священник, за которым было послано в то же время, как и за Дубровиным. Дубровин оставил его наедине с Опальским.

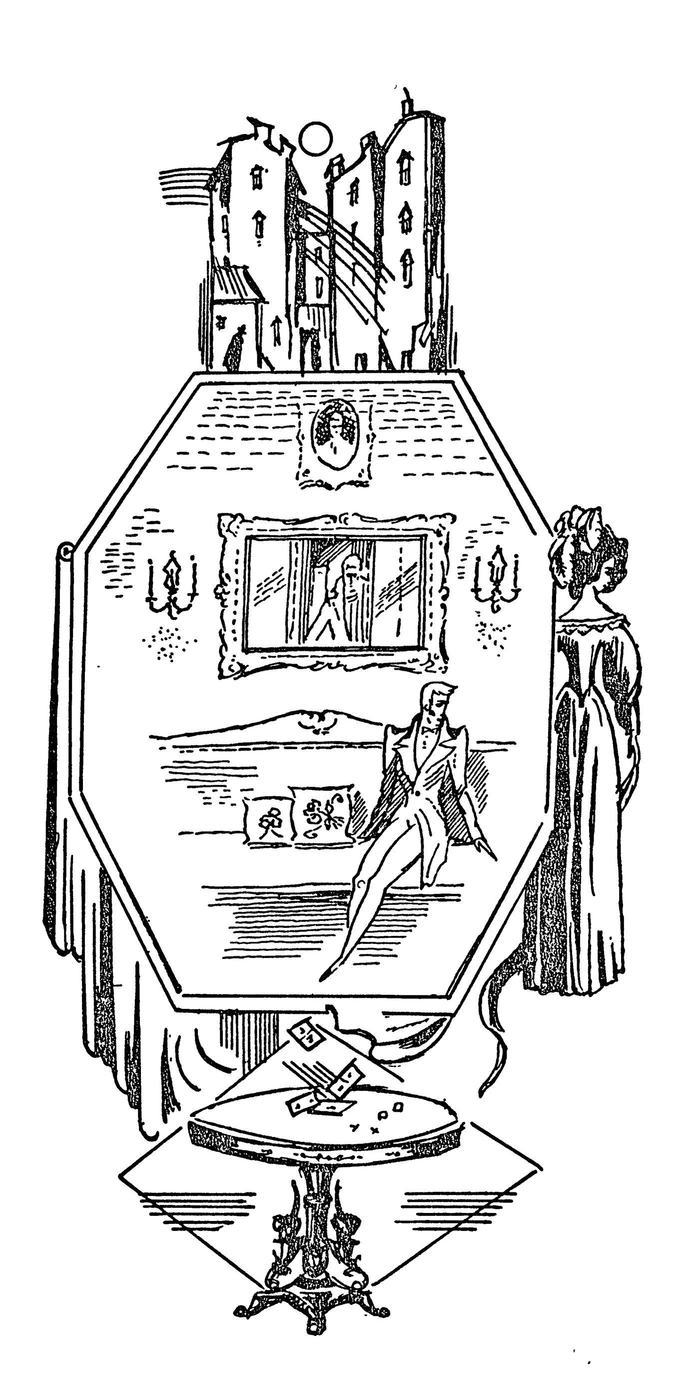
«Он скончался,— сказал священник, выходя из комнаты,— но успел совершить обязанность христианина. Господи, приими дух его с миром!»

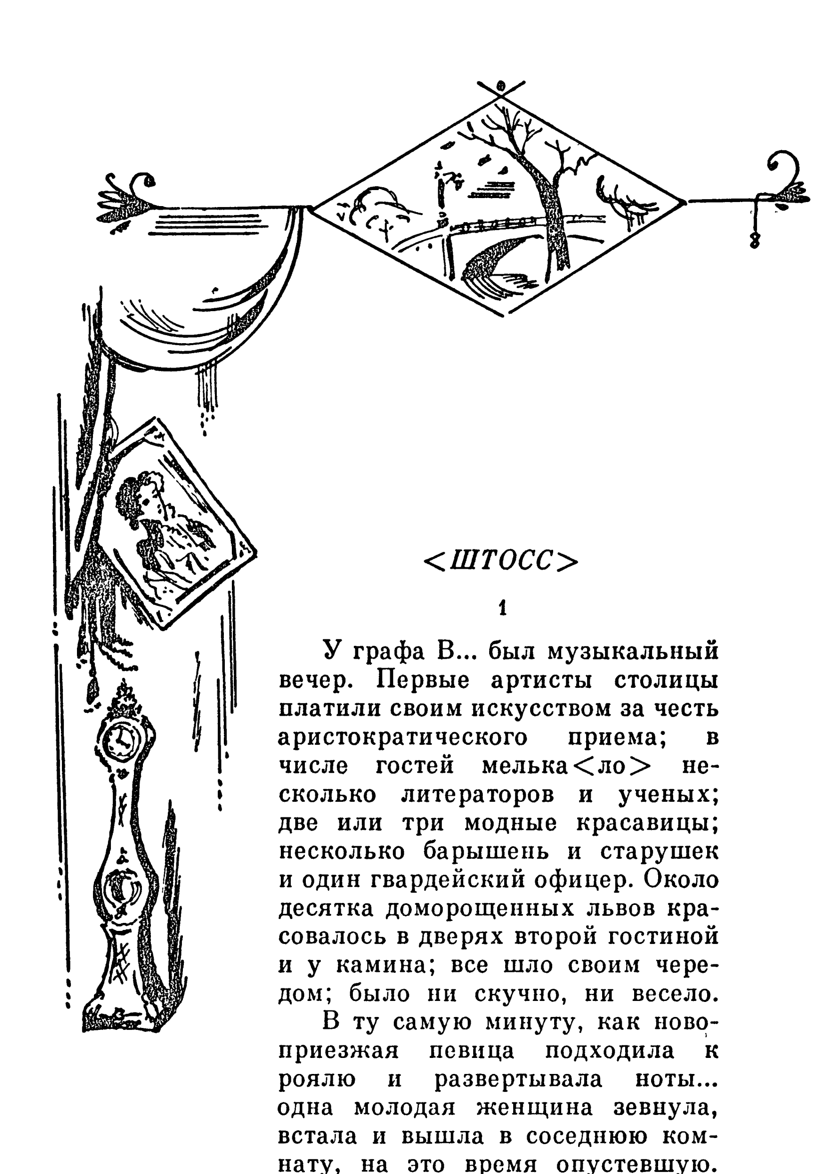
Опальский умер. По истечении законного срока пересмотрели его бумаги и нашли завещание. Не имея наследников, он отдал имение свое Дубровину, то называя его по имени, то означая его владетелем такого-то перстня; словом, завещание было написано таким образом, что Дубровин и владетель перстня могли иметь бесконечную тяжбу.

Дубровины и Дашенька, тогдашняя владетельница перстня, между собою не ссорились и разделили поровну неожиданное богатство. Дашенька вышла замуж по выбору сердца и поселилась в соседстве Дубровиных. Оба семейства не забывают Опальского, ежегодно совершают по нем панихиду и молят бога помиловать душу их благодетеля.

1831


Михаил Лермонтов





<ШТОСС>

1

У графа В... был музыкальный вечер. Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема; в числе гостей мелька<ло> несколько литераторов и ученых; две или три модные красавицы; несколько барышень и старушек и один гвардейский офицер. Около десятка доморощенных львов красовалось в дверях второй гостиной и у камина; все шло своим чередом; было ни скучно, ни весело.

В ту самую минуту, как новоприезжая певица подходила к роялю и развертывала ноты... одна молодая женщина зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату, на это время опустевшую. На ней было черное платье, кажется по случаю придворного траура. На плече, пришпиленный к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель; она была среднего роста, стройна, медленна и ленива

в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее еще молодое правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли.

— Здравствуйте, мсье Лугин,— сказала Минская кому-то; — я устала... скажите что-нибудь! — и она опустилась в широкое пате возле камина; тот, к кому она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было только двое, и холодное молчание Лугина показывало ясно, что он не принадлежал к числу ее обожателей.

— Скучно,— сказала Минская и снова зевнула: — вы видите, я с вами не церемонюсь! — прибавила она.

— И у меня сплин! — ...отвечал Лугин.

— Вам опять хочется в Италию? — сказала она после некоторого молчания.— Не правда ли?

Лугин в свою очередь не слыхал вопроса; он продолжал, положив ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на беломраморные плечи своей собеседницы:

— Вообразите, какое со мной несчастье: что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи! — вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми,— и одни только люди! добро бы все предметы; тогда была бы гармония в общем колорите; я бы думал, что гуляю в галерее испанской школы. Так нет! все остальное как и прежде; одни лица изменились; мне иногда кажется, что у людей вместо головы лимоны.

Минская улыбнулась.

— Призовите доктора,— сказала она.

— Доктора́ не помогут — это сплин!

— Влюбитесь! — (Во взгляде, который сопровождал это слово, выражалось что-то похожее на следующее: «Мне бы хотелось его немножко помучить!»)

— В кого?

— Хоть в меня!

— Нет! вам даже кокетничать со мною было бы скучно — и потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить.

— А эта, как бишь ее, итальянская графиня, которая последовала за вами из Неаполя в Милан?..

— Вот видите,— отвечал задумчиво Лугин,— я сужу других по себе и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти — но так как я очень знаю, что в этом обязан только искусству и привычке кстати трогать некоторые струны человеческого сердца, то и не радуюсь

своему счастию; я себя спрашивал, могу ли я влюбиться в дурную? вышло нет; я дурен — и следственно, женщина меня любить не может, это ясно; артистическое чувство развито в женщинах сильнее, чем в нас, они чаще и долее нас покорны первому впечатлению; если я умел подогреть в некоторых то, что называют капризом, то это стоило мне неимоверных трудов и жертв,— но так как я знал поддельность чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыться до полной, безотчетной любви: к моей страсти примешивалось всегда немного злости; все это грустно — а правда!..

— Какой вздор! — сказала Минская, но, окинув его быстрым взглядом, она невольно с ним согласилась.

Наружность Лугина была в самом деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то, что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы не встретили во всем его существе ни одного из тех условий, которые делают человека приятным в обществе; он был неловко и грубо сложен; говорил резко и отрывисто; больные и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга делали его на вид старее, чем он был в самом деле; он три года лечился в Италии от ипохондрии,— и хотя не вылечился, но по крайней мере нашел средство развлекаться с пользой: он пристрастился к живописи; природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство: на них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников.

Лугин уже два месяца как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. Он бывал часто у Минской: ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением. Но любви между ними не было и в помине.

Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гёте «Лесной царь». Когда она кончила, Лугин встал.

— Куда вы? — спросила Минская.

— Прощайте.

— Еще рано.

Он опять сел.

— Знаете ли,— сказал он с какою-то важностию,— что я начинаю сходить с ума?

— Право?

— Кроме шуток. Вам это можно сказать, вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера — и как вы думаете что? — адрес: вот и теперь слышу: в Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титюлярного советника Штосса, квартира номер 27.— И так шибко, шибко,— точно торопится... несносно!..

Он побледнел. Но Минская этого не заметила.

— Вы, однако, не видите того, кто говорит? — спросила она рассеянно.

— Нет. Но голос звонкий, резкий, дишкант.

— Когда же это началось?

— Признаться ли? я не могу сказать наверное... не знаю, ведь это, право, презабавно! — сказал он, принужденно улыбаясь.

— У вас кровь приливает к голове, и в ушах звенит.

— Нет, нет. Научите, как мне избавиться?

— Самое лучшее средство,— сказала Минская, подумав с минуту,— идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер, и так как, верно, в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой мастер,— то для приличия закажите ему работу и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что... вы в самом деле нездоровы!..— прибавила она, взглянув на его встревоженное лицо с участием.

— Вы правы,— отвечал угрюмо Лугин,— я непременно пойду.

Он встал, взял шляпу и вышел.

Она посмотрела ему вслед с удивлением.

2

Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими полостями своих саней; мокрая длинная шерсть их бедных кляч завивалась барашком; туман придавал отдаленным предметам какой-то серолиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали

калоши чиновников, да иногда раздавался шум и хохот в подземной полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражке. Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как, например... у Кокушкина моста. Через этот мост шел человек среднего роста, ни худой, ни толстый, не стройный, но с широкими плечами, в пальто, и вообще одетый со вкусом; жалко было видеть его лакированные сапоги, вымоченные снегом и грязью; но он, казалось, об этом нимало не заботился; засунув руки в карманы, повеся голову, он шел неровными шагами, как будто боялся достигнуть цель своего путешествия или не имел ее вовсе. На мосту он остановился, поднял голову и осмотрелся. То был Лугин. Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице, в глазах горело тайное беспокойство.

— Где Столярный переулок? — спросил он нерешительным голосом у порожнего извозчика, который в эту минуту проезжал мимо его шагом, закрывшись по шею мохнатою полостию и насвистывая камаринскую.

Извозчик посмотрел на него, хлыстнул лошадь кончиком кнута и проехал мимо.

Ему это показалось странно. Уж полно, есть ли Столярный переулок? Он сошел с моста и обратился с тем же вопросом к мальчику, который бежал с полуштофом через улицу.

— Столярный? — сказал мальчик,— а вот идите прямо по Малой Мещанской, и тотчас направо,— первый переулок и будет Столярный.

Лугин успокоился. Дойдя до угла, он повернул направо и увидел небольшой грязный переулок, в котором с каждой стороны было не больше 10 высоких домов. Он постучал в дверь первой мелочной лавочки и, вызвав лавочника, спросил: «Где дом Штосса?»

— Штосса? Не знаю, барин, здесь этаких нет; а вот здесь рядом есть дом купца Блинникова,— а подальше...

— Да мне надо Штосса...

— Ну не знаю,— Штосса! — сказал лавочник, почесав затылок, и потом прибавил: — нет, не слыхать-с!

Лугин пошел сам смотреть надписи; что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал. Так он добрался почти до конца переулка, и ни одна надпись ничем не поразила его воображения,

как вдруг он кинул случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидал над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи.

Он подбежал к этим воротам — и сколько ни рассматривал, не заметил ничего похожего даже на следы стертой временем надписи; доска была совершенно новая.

Под воротами дворник в долгополом полинявшем кафтане, с седой давно небритой бородою, без шапки и подпоясанный грязным фартуком, разметал снег.

— Эй! дворник,— закричал Лугин.

Дворник что-то проворчал сквозь зубы.

— Чей это дом?

— Продан! — отвечал грубо дворник.

— Да чей он был?

— Чей? — Кифейкина, купца.

— Не может быть, верно Штосса! — вскрикнул невольно Лугин.

— Нет, был Кифейкина — а теперь так Штосса! — отвечал дворник, не подымая головы.

У Лугина руки опустились.

Сердце его забилось, как будто предчувствуя несчастие. Должен ли он был продолжать свои исследования? Не лучше ли вовремя остановиться? Кому не случалось находиться в таком положении, тот с трудом поймет его: любопытство, говорят, сгубило род человеческий, оно и поныне наша главная, первая страсть, так что даже все остальные страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильною рукою, мы не можем остановиться — хотя видим нас ожидающую бездну.

Лугин долго стоял перед воротами. Наконец обратился к дворнику с вопросом:

— Новый хозяин здесь живет?

— Нет.

— А где же?

— А черт его знает.

— Ты уж давно здесь дворником?

— Давно.

— А есть в этом доме жильцы?

— Есть.

— Скажи, пожалуйста,— сказал Лугин после некоторого молчания, сунув дворнику целковый,— кто живет в 27 номере?

Дворник поставил метлу к воротам, взял целковый и пристально посмотрел на Лугина.

— В 27 номере?.. да кому там жить! — он уж бог знает сколько лет пустой.

— Разве его не нанимали?

— Как не нанимать, сударь,— нанимали.

— Как же ты говоришь, что в нем не живут!

— А бог их знает! так-таки не живут. Наймут на год — да и не переезжают.

— Ну а кто его последний нанимал?

— Полковник, из анженеров, что ли?

— Отчего же он не жил?

— Да переехал было... а тут, говорят, его послали в Вятку — так номер пустой за ним и остался.

— А прежде полковника?

— Прежде его было нанял какой-то барон, из немцев — да этот и не переезжал; слышно, умер.

— А прежде барона?

— Нанимал купец для какой-то своей... гм! — да обанкрутился, так у нас и задаток остался...

«Странно!» — подумал Лугин.

— А можно посмотреть номер?

Дворник опять пристально взглянул на него.

— Как нельзя? — можно! — отвечал он и пошел переваливаясь за ключами.

Он скоро возвратился и повел Лугина во второй этаж по широкой, но довольно грязной лестнице. Ключ заскрипел в заржавленном замке, и дверь отворилась; им в лицо пахнуло сыростью. Они взошли. Квартира состояла из четырех комнат и кухни. Старая пыльная мебель, некогда позолоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были на зеленом грунте красные попугаи и золотые лиры; изразцовые печи кое-где порастрескались; сосновый пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подозрительно; в простенках висели овальные зеркала с рамками рококо; вообще комнаты имели какую-то странную несовременную наружность.

Они, не знаю почему, понравились Лугину.

— Я беру эту квартиру,— сказал он.— Вели вымыть окна и вытереть мебель... посмотри, сколько паутины! — да надо хорошенько вытопить...— В эту минуту он заметил на стене последней комнаты поясной портрет, изображающий человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами; в правой руке

он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, платье, волосы, рука, перстни, все было очень плохо сделано; зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случалось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно наброшенной на стену каким-нибудь предметом, различать профиль человеческого лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить их на бумагу! вам не удастся; попробуйте на стене обрисовать карандашом силуэт, вас так сильно поразивший,— и очарование исчезнет; рука человека никогда с намерением не произведет этих линий; математически малое отступление — и прежнее выражение погибло невозвратно. В лице портрета дышало именно то неизъяснимое, возможное только гению или случаю.

«Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, как сказал, что беру квартиру!» — подумал Лугин.

Он сел в кресла, опустил голову на руку и забылся. Долго дворник стоял против него, помахивая ключами.

— Что ж, барин? — проговорил он наконец.

— А!

— Как же? — коли берете, так пожалуйте задаток.

Они условились в цене. Лугин дал задаток, послал к себе с приказанием сейчас же перевозиться, а сам просидел против портрета до вечера; в 9 часов самые нужные вещи были перевезены из гостиницы, где жил до сей поры Лугин.

«Вздор, чтоб на этой квартире нельзя было жить,— думал Лугин.— Моим предшественникам, видно, не суждено было в нее перебраться — это, конечно, странно! — Но я взял свои меры: переехал тотчас! — что ж? — ничего!»

До двенадцати часов он с своим старым камердинером Никитой расставлял вещи...

Надо прибавить, что он выбрал для своей спальни комнату, где висел портрет.

Перед тем чтоб лечь в постель, он подошел со свечой

к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько, и прочитал внизу вместо имени живописца красными буквами: Середа.

— Какой нынче день? — спросил он Никиту.

— Понедельник, сударь...

— Послезавтра середа! — сказал рассеянно Лугин.

— Точно так-с!..

Бог знает почему Лугин на него рассердился.

— Пошел вон! — закричал он, топнув ногою.

Старый Никита покачал головою и вышел.

После этого Лугин лег в постель и заснул.

На другой день утром привезли остальные вещи и несколько начатых картин.

3

В числе недоконченных картин, большею частию маленьких, была одна размера довольно значительного; посреди холста, исчерченного углем, мелом и загрунтованного зелено-коричневой краской, эскиз женской головки остановил бы внимание знатока; но, несмотря на прелесть рисунка и на живость колорита, она поражала неприятно чем-то неопределенным в выражении глаз и улыбки; видно было, что Лугин перерисовывал ее в других видах и не мог остаться довольным, потому что в разных углах холста являлась та же головка, замаранная коричневой краской. То не был портрет; может быть, подобно молодым поэтам, вздыхающим по небывалой красавице, он старался осуществить на холсте свой идеал — женщину-ангела; причуда, понятная в первой юности, но редкая в человеке, который сколько-нибудь испытал жизнь. Однако есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце, и Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий. Самый тонкий плут, самая опытная кокетка с трудом могли бы его провесть, а сам себя он ежедневно обманывал с простодушием ребенка. С некоторого времени его преследовала постоянная идея, мучительная и несносная, тем более что от нее страдало его самолюбие: он был далеко не красавец, это правда, однако в нем ничего не было отвратительного, и люди, знавшие его ум, талант и добродушие, находили даже выражение лица его довольно приятным; но он твердо убедился, что степень его безобразия исключает возможность любви, и стал смотреть на женщин как на природных своих врагов, подозревая в случайных их

ласках побуждения посторонние и объясняя грубым и положительным образом самую явную их благосклонность. Не стану рассматривать, до какой степени он был прав, но дело в том, что подобное расположение души извиняет достаточно фантастическую любовь к воздушному идеалу, любовь самую невинную и вместе самую вредную для человека с воображением.

В этот день, который был вторник, ничего особенного с Лугиным не случилось: он до вечера просидел дома, хотя ему нужно было куда-то ехать. Непостижимая лень овладела всеми чувствами его; хотел рисовать — кисти выпадали из рук; пробовал читать — взоры его скользили над строками и читали совсем не то, что было написано; его бросало в жар и в холод; голова болела; звенело в ушах. Когда смерклось, он не велел подавать свеч и сел у окна, которое выходило на двор; на дворе было темно; у бедных соседей тускло светились окна; он долго сидел; вдруг на дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс; Лугин слушал, слушал — ему стало ужасно грустно. Он начал ходить по комнате; небывалое беспокойство им овладело; ему хотелось плакать, хотелось смеяться... он бросился на постель и заплакал: ему представилось все его прошедшее, он вспомнил, как часто бывал обманут, как часто делал зло именно тем, которых любил, какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им из глаз, ныне закрытых навеки,— и он с ужасом заметил и признался, что он недостоин был любви безотчетной и истинной,— и ему стало так больно! так тяжело!

Около полуночи он успокоился; — сел к столу, зажег свечу, взял лист бумаги и стал что-то чертить; все было тихо вокруг.— Свеча горела ярко и спокойно; он рисовал голову старика,— и когда кончил, то его поразило сходство этой головы с кем-то знакомым! Он поднял глаза на портрет, висевший против него,— сходство было разительное; он невольно вздрогнул и обернулся; ему показалось, что дверь, ведущая в пустую гостиную, заскрипела; глаза его не могли оторваться от двери.

— Кто там? — вскрикнул он.

За дверьми послышался шорох, как будто хлопали туфли; известка посыпалась с печи на пол. «Кто это?» — повторил он слабым голосом.

В эту минуту обе половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыхание повеяло в комнату;

дверь отворялась сама; в той комнате было темно, как в погребе.

Когда дверь отворилась настежь, в ней показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой сгорбленный старичок; он медленно подвигался приседая; лицо его, бледное и длинное, было неподвижно; губы сжаты; серые мутные глаза, обведенные красной каймою, смотрели прямо без цели. И вот он сел у стола против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против Лугина, другую перед собой и улыбнулся.

— Что вам надобно? — сказал Лугин с храбрость<ю> отчаяния. Его кулаки судорожно сжимались, и он был готов пустить шандалом в незваного гостя.

Под халатом вздохнуло.

— Это несносно! — сказал Лугин задыхающимся голосом. Его мысли мешались.

Старичок зашевелился на стуле; вся его фигура изменялась ежеминутно, он делался то выше, то толще, то почти совсем съеживался; наконец принял прежний вид.

«Хорошо,— подумал Лугин,— если это привидение, то я ему не поддамся».

— Не угодно ли, я вам промечу штосс? — сказал старичок.

Лугин взял перед ним лежавшую колоду карт и отвечал насмешливым тоном: «А на что же мы будем играть? — я вас предваряю, что душу свою на карту не поставлю! (он думал этим озадачить привидение)... а если хотите,— продолжал он,— я поставлю клюнгер; не думаю, чтоб водились в вашем воздушном банке».

Старичка эта шутка нимало не сконфузила.

«У меня в банке вот это!» — отвечал он, протянув руку. «Это? — сказал Лугин, испугавшись и кинув глаза налево.— Что это?» — Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное. Он с отвращением отвернулся. «Мечите!» — потом сказал он оправившись и, вынув из кармана клюнгер, положил его на карту. «Идет, темная». Старичок поклонился, стасовал карты, срезал и стал метать. Лугин поставил семерку бубен, и она с оника была убита; старичок протянул руку и взял золотой.

— Еще талью! — сказал с досадой Лугин.

Оно покачало головою.

— Что же это значит?

— В середу,— сказал старичок.

— А! в середу! — вскричал в бешенстве Лугин; — так нет же! — не хочу в середу! — завтра или никогда! слышишь ли?

Глаза странного гостя пронзительно засверкали, и он опять беспокойно зашевелился.

— Хорошо,— наконец сказал он, встал, поклонился и вышел приседая. Дверь опять тихо за ним затворилась; в соседней комнате опять захлопали туфли... и мало-помалу все утихло. У Лугина кровь стучала в голову молотком; странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что он проиграл!..

«Однако ж я не поддался ему! — говорил он, стараясь себя утешить,— переупрямил. В середу! — как бы не так! что я за сумасшедший! Это хорошо, очень хорошо!.. он у меня не отделается».

— А как похож на этот портрет!.. ужасно, ужасно похож! — а! теперь я понимаю!..

На этом слове он заснул в креслах. На другой день поутру никому о случившемся не говорил, просидел целый день дома и с лихорадочным нетерпением дожидался вечера.

«Однако я не посмотрел хорошенько на то, что у него в банке! — думал он,— верно, что-нибудь необыкновенное!»

Когда наступила полночь, он встал с своих кресел, вышел в соседнюю комнату, запер на ключ дверь, ведущую в переднюю, и возвратился на свое место; он недолго дожидался; опять раздался шорох, хлопанье туфлей, кашель старика, и в дверях показалась его мертвая фигура. За ним подвигалась другая, но до того туманная, что Лугин не мог рассмотреть ее формы.

Старичок сел, как накануне, положил на стол две колоды карт, срезал одну и приготовился метать, по-видимому не ожидая от Лугина никакого сопротивления; в его глазах блистала необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем. Лугин, остолбеневший совершенно под магнетическим влиянием его серых глаз, уже бросил было на стол два полуимпериала, как вдруг он опомнился.

— Позвольте,— сказал он, накрыв рукою свою колоду.

Старичок сидел неподвижен.

— Что бишь я хотел сказать! — позвольте,— да! — Лугин запутался.

Наконец сделав усилие, он медленно проговорил:

— Хорошо... я с вами буду играть — я принимаю вызов — я не боюсь — только с условием: я должен знать, с кем играю! Как ваша фамилия?

Старичок улыбнулся.

— Я иначе не играю,— проговорил Лугин,— и меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.

— Что-с? — проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.

— Штосс? — кто? — У Лугина руки опустились: он испугался. В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее ароматическое дыхание; и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое огненное прикосновенье. Странный, сладкий и вместе <болез>ненный трепет пробежал по его жилам. Он на мгновенье <оберну>л голову и тотчас опять устремил взор на карты; <но э>того минутного взгляда было бы довольно, чтоб заставить <его про>играть душу. То было чудное и божественное виденье: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая... она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушного, неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное — то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак... потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда,— то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях и плачем, и молим, и радуемся бог знает чему — одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.

В эту минуту Лугин не мог объяснить того, что с ним сделалось, но с этой минуты он решился играть, пока не выиграет: эта цель сделалась целью его жизни; он был этому очень рад.

Старичок стал метать: карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимпериала.

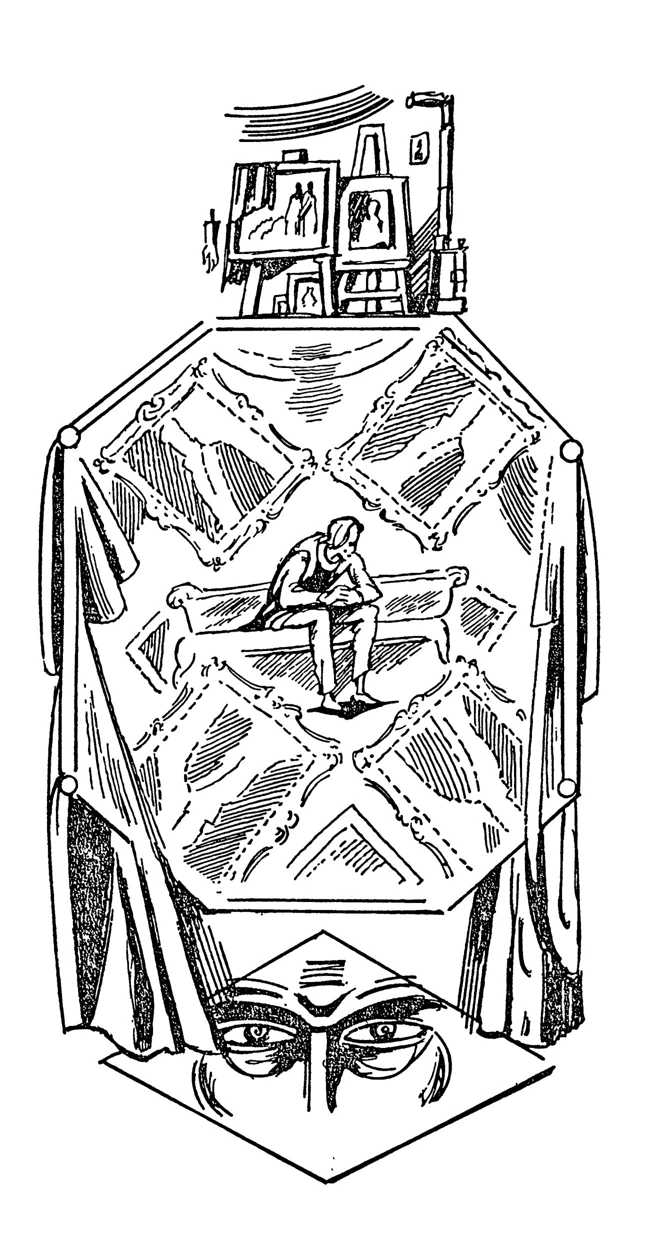
— Завтра,— сказал Лугин.

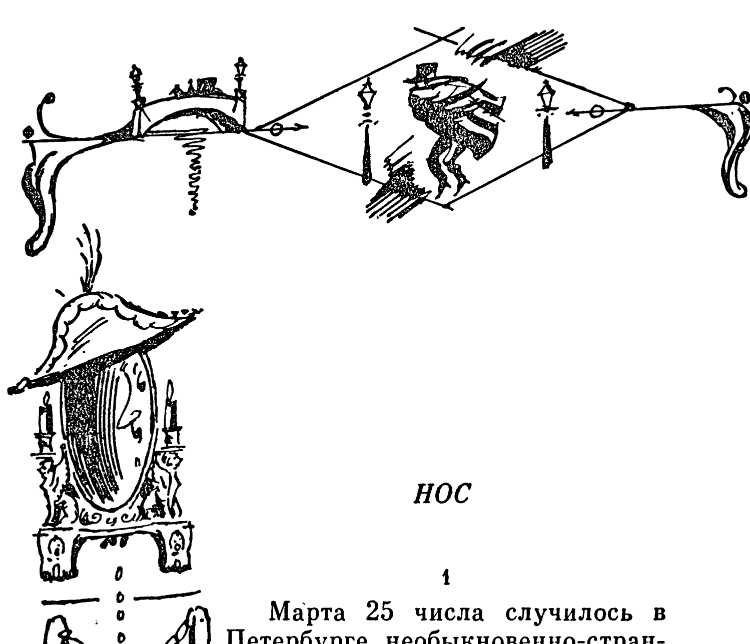
Старичок вздохнул тяжело, но кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне.

Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проигрывал; но ему не было жаль денег, он был уверен, что наконец хоть одна карта будет дана, и потому все удваивал куши: он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку — за которые он готов был отдать все на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свиданья, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой; — *она* — не знаю, как назвать ее? — она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика; и всякий ра<з>, когда карта Лугина была убита и <он с> грустным взором оборачивался к ней, на него смотрели эти страстные, глубокие глаза, которые <казалось> говорили: «смелее, не упадай духом, подожди, я буду твоя, во что бы то ни стало! я тебя люблю...» и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты.— И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце — отчаянием <и бешенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился.>

1841


Николай Гоголь





НОС

1

Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно-странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена, и даже на вывеске его — где изображен господин с намыленною щекою и надписью: «и кровь отворяют» — не выставлено ничего более), цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофий, вынимала из печи только что испеченные хлебы.

«Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофий,— сказал Иван Яковлевич,— а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком». (То есть Иван Яковлевич хотел бы и того и другого, но знал, что было совершенно не-

возможно требовать двух вещей разом: ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей.) «Пусть дурак ест хлеб: мне же лучше,— подумала про себя супруга,— останется кофию лишняя порция». И бросила один хлеб на стол.

Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и к удивлению своему увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем: «Плотное! — сказал он сам про себя,— что бы это такое было?»

Он засунул пальцы и вытащил — нос!.. Иван Яковлевич и руки опустил; стал протирать глаза и щупать: нос, точно нос! и еще, казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою.

— Где это ты, зверь, отрезал нос? — закричала она с гневом.— Мошенник! пьяница! Я сама на тебя донесу полиции. Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся.

Но Иван Яковлевич был ни жив ни мертв. Он узнал, что этот нос был ни чей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую середу и воскресенье.

— Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок: пусть там маленечко полежит; а после его вынесу.

— И слушать не хочу! Чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу?.. Сухарь поджаристый! Знай умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя отвечать полиции?.. Ах ты, пачкун, бревно глупое! Вон его! вон! неси куда хочешь! чтобы я духу его не слыхала!

Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал, думал — и не знал, что подумать. «Черт его знает, как это сделалось,— сказал он наконец, почесав рукою за ухом.— Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж наверное сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное: ибо хлеб — дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу!..» Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут

у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага... и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу.

Он хотел его куда-нибудь подсунуть: или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас запросом: «Куда идешь?» или «Кого так рано собрался брить?», так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебардою, примолвив: «Подыми! вон ты что-то уронил!» И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более, что народ беспрестанно умножался на улице, по мере того как начали отпираться магазины и лавочки.

Он решился идти к Исакиевскому мосту: не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву?.. Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях. Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно не брит. Фрак у Ивана Яковлевича (Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке) был пегий; то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках; воротник лоснился; а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки!», то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им вонять?» — «Не знаю, братец, только воняют»,— говорил коллежский асессор,— и Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою, одним словом, где только ему была охота.

Этот почтенный гражданин находился уже на Исакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся; потом нагнулся на перила будто бы посмотреть под мост, много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось десять пуд:

Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью: «Кушанье и чай» спросить стакан пунша, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности, с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпагою. Он обмер; а между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил: «А подойди сюда, любезный!»

Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедши проворно, сказал:

— Желаю здравия вашему благородию!

— Нет, нет, братец, не благородию; скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?

— Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет.

— Врешь, врешь! Этим не отделаешься. Изволь-ка отвечать!

— Я вашу милость два раза в неделю, или даже три, готов брить без всякого прекословия,— отвечал Иван Яковлевич.

— Нет, приятель, это пустяки! Меня три цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал?

Иван Яковлевич побледнел... Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего неизвестно.

2

Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами: «брр...», что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое, стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу; но к величайшему изумлению увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место! Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза: точно, нет носа! Он начал щупать рукою, чтобы узнать: не спит ли он? кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся: нет носа!.. Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру.

Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот

коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощию ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры... Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет. То же разумей и о всех званиях и чинах.— Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он два года только еще состоял в этом звании и потому ни на минуту не мог его позабыть; а чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором. «Послушай, голубушка,— говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки,— ты приходи ко мне на дом; квартира моя в Садовой; спроси только, здесь ли живет майор Ковалев — тебе всякий покажет». Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева».— Поэтому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майором.

Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских, поветовых землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и, вообще, у всех тех мужей, которые имеют полные румяные щеки и очень хорошо играют в бостон: эти бакенбарды идут по самой середине щеки и прямехонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество печаток сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было вырезано: «середа, четверг, понедельник» и проч. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места: если удастся, то вице-губернаторского, а не то — экзекуторского, в каком-нибудь видном департаменте. Майор Ковалев был не прочь и жениться; но только в таком случае, когда за невестою случится двести тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам, каково было положение этого майора, когда он увидел, вместо довольно недурного и умеренного носа, преглупое, ровное и гладкое место.

Как на беду, ни один извозчик не показывался на

улице, и он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. «Но авось-либо мне так представилось: не может быть, чтобы нос пропал сдуру». Он зашел в кондитерскую нарочно с тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастию, в кондитерской никого не было; мальчишки мели комнаты и расставляли стулья; некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки; на столах и стульях валялись залитые кофием вчерашние газеты. «Ну, слава богу, никого нет,— произнес он,— теперь можно поглядеть.— Он робко подошел к зеркалу и взглянул.— Черт знает что, какая дрянь! — произнес он, плюнувши...— Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!..»

С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился, против своего обыкновения, не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в глазах его произошло явление неизъяснимое: перед подъездом остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос! При этом необыкновенном зрелище, казалось ему, все переворотилось у него в глазах; он чувствовал, что едва мог стоять; но решился во что бы ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа как в лихорадке. Через две минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру: «Подавай!», сел и уехал.

Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить,— был в мундире! Он побежал за каретою, которая к счастию проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором. Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного; они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя

в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться, и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился.

«Как подойти к нему? — думал Ковалев.— По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!»

Он начал около него покашливать; но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны.

— Милостивый государь...— сказал Ковалев, внутренне принуждая себя ободриться,— милостивый государь...

— Что вам угодно? — отвечал нос, оборотившись.

— Мне странно, милостивый государь... мне кажется... вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу и где же? — в церкви. Согласитесь...

— Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволили говорить... Объяснитесь.

«Как мне ему объяснить?» — подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал:

— Конечно я... впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа; но, имея в виду получить... притом, будучи во многих домах знаком с дамами: Чехтырева, статская советница, и другие... Вы посудите сами... я не знаю, милостивый государь... (При этом майор Ковалев пожал плечами)... Извините... если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести... вы сами можете понять...

— Ничего решительно не понимаю,— отвечал нос.— Изъяснитесь удовлетворительнее.

— Милостивый государь...— сказал Ковалев с чувством собственного достоинства,— я не знаю, как понимать слова ваши... Здесь все дело, кажется, совершенно очевидно... Или вы хотите... Ведь вы мой собственный нос!

Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились.

— Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству.— Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться.

Ковалев совершенно смешался, не зная, что́ делать и что́ даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья; подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшемся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников.

Ковалев выступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его. Он оборотился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плут и подлец и что он больше ничего, как только его собственный нос... Но носа уже не было; он успел ускакать, вероятно, опять к кому-нибудь с визитом.

Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем; но шинель не заметил, ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливрее. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такою быстротою, что трудно было даже приметить; но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма. Дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от Полицейского до Аничкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо, ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярыгин, столоначальник в сенате, большой приятель, который вечно в бостоне обремизивался, когда играл восемь. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему...

— А, черт возьми! — сказал Ковалев.— Эй, извозчик, вези прямо к обер-полицмейстеру!

Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: «Валяй во всю ивановскую!»

— У себя обер-полицмейстер? — вскричал он, зашедши в сени.

— Никак нет,— отвечал привратник,— только что уехал.

— Вот тебе раз!

— Да,— прибавил привратник,— оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома.

Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом: «Пошел!»

— Куда? — сказал извозчик.

— Пошел прямо!

— Как прямо? тут поворот: направо или налево?

Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать. В его положении следовало ему прежде всего отнестись в Управу благочиния, не потому, что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах; искать же удовлетворения по начальству того места, при котором нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного, и он мог так же солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним. Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в Управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять удобно, пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города,— и тогда все искания будут тщетны или могут продолжиться, чего боже сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в Газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или по крайней мере дать знать о месте пребывания. Итак он, решив на этом, велел извозчику ехать в Газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! скорей, мошенник!» — «Эх, барин!» — говорил извозчик, потряхивая головой и стегая вожжой

свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на болонке. Дрожки наконец остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник, в старом фраке и очках, сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги.

— Кто здесь принимает объявления? — закричал Ковалев.— А, здравствуйте!

— Мое почтение,— сказал седой чиновник, поднявши на минуту глаза и опустивши их снова на разложенные кучи денег...

— Я желаю припечатать...

— Позвольте. Прошу немножко повременить,— произнес чиновник, ставя одною рукою цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах. Лакей с галунами и наружностию, показывавшею пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола с запискою в руках и почел приличным показать свою общежительность: «Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит восьми гривен, т. е. я не дал бы за нее и восьми грошей; а графиня любит, ей-богу, любит,— и вот тому, кто ее отыщет, сто рублей! Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны: уж когда охотник, то держи лягавую собаку или пуделя; не пожалей пятисот, тысячу дай, но зато уж чтоб была собака хорошая».

Почтенный чиновник слушал это с значительною миною и в то же время занимался сметою: сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения; в другой — малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа; там отпускалась дворовая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачешном деле, годная и для других работ, прочные дрожки без одной рессоры, молодая горячая лошадь в серых яблоках семнадцати лет от роду, новые полученные из Лондона семена репы и редиса, дача со всеми угодьями: двумя стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад; там же находился вызов желающих купить старые подошвы, с приглашением явиться к переторжке каждый день от 8 до 3 часов утра. Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ; но коллежский асессор Ковалев не мог слышать

запаха, потому что закрылся платком и потому что самый нос его находился бог знает в каких местах.

— Милостивый государь, позвольте вас попросить... Мне очень нужно,— сказал он наконец с нетерпением.

— Сейчас, сейчас! Два рубля сорок три копейки! Сию минуту! Рубль шестьдесят четыре копейки! — говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза.— Вам что угодно? — наконец сказал он, обратившись к Ковалеву.

— Я прошу...— сказал Ковалев,— случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение.

— Позвольте узнать, как ваша фамилия?

— Нет, зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых: Чехтырева, статская советница, Палагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша... Вдруг узнают, боже сохрани! Вы можете просто написать: коллежский асессор или, еще лучше, состоящий в майорском чине.

— А сбежавший был ваш дворовый человек?

— Какое дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество! Сбежал от меня... нос...

— Гм! какая странная фамилия! И на большую сумму этот г. Носов обокрал вас?

— Нос, то есть... вы не то думаете! Нос, мой собственный нос пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною!

— Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять.

— Да я не могу вам сказать, каким образом; но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я вас прошу объявить, чтобы поймавший представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посудите, в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то, что какой-нибудь мизинный палец на ноге, которую я в сапог — и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтыревой; Подточина Палагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошие знакомые и вы посудите сами, как же мне теперь... Мне теперь к ним нельзя явиться.

Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся губы.

— Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах,— сказал он наконец после долгого молчания.

— Как? Отчего?

— Так. Газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то... И так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов.

— Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого.

— Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку, денег по расчету пришлось 2 р. 73 к., и все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышел пасквиль: пудель-то этот был казначей, не помню какого-то заведения.

— Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе: стало быть, почти то же, что о самом себе.

— Нет, такого объявления я никак не могу поместить.

— Да когда у меня точно пропал нос!

— Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить.

— Клянусь вам, вот как бог свят! Пожалуй, уж если до такого дошло, то я покажу вам.

— Зачем беспокоиться! — продолжал чиновник, нюхая табак.— Впрочем, если не в беспокойство,— прибавил он с движением любопытства,— то желательно бы взглянуть.

Коллежский асессор отнял от лица платок.

— В самом деле, чрезвычайно странно! — сказал чиновник,— место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное.

— Ну, вы будете теперь спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вам буду особенно благодарен и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться...— Майор, как видно из этого, решился на сей раз немного поподличать.

— Напечатать-то, конечно, дело небольшое.— сказал чиновник; — только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной Пчеле» (тут он

понюхал еще раз табаку) для пользы юношества (тут он утер нос) или так, для общего любопытства.

Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза вниз газеты, где было извещение о спектаклях; уже лицо его готово было улыбнуться, встретив имя актрисы, хорошенькой собою, и рука взялась за карман, есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах,— но мысль о носе все испортила!

Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах: «Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? это разбивает головные боли и печальные расположения; даже в отношении к геморроидам это хорошо». Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпке.

Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева. «Я не понимаю, как вы находите место шуткам,— сказал он с сердцем.— Разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать? Чтоб черт побрал ваш табак! Я теперь не могу смотреть на него, и не только на скверный ваш березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого рапе». Сказавши, он вышел, глубоко раздосадованный, из Газетной экспедиции и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику до сахару. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты; шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам, и грозную трехугольную шляпу уж затрогивал трехлетний сынок его, и он, после боевой, бранной жизни, готовился вкусить удовольствия мира.

Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал: «Эх, славно засну два часика!» И потом можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя. И я не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей; но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь,— обыкновенно говорил он; — уж нет ничего

лучше этой вещи: есть не просит, места займет не много, в кармане всегда поместится, уронишь — не расшибется».

Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть (из этого коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были не безызвестны изречения древних мудрецов), что у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам. То есть, не в бровь, а прямо в глаз! Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что ни говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб-офицеров никак не должно нападать. Прием частного так его сконфузил, что он тряхнул головою и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки: «Признаюсь, после этаких обидных с вашей стороны замечаний, я ничего не могу прибавить...» — и вышел.

Он приехал домой, едва слыша под собою ноги. Были уже сумерки. Печальною или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Взошедши в переднюю, увидел он на кожаном запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его; он ударил его шляпою по лбу, примолвив: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!»

Иван вскочил вдруг с своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ.

Вошедши в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресла и наконец после нескольких вздохов сказал:

«Боже мой! боже мой! За что это такое несчастие? Будь я без руки или без ноги — все бы это лучше; будь я без ушей — скверно, однако ж все сноснее; но без носа человек — черт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин; просто возьми да и вышвырни за окошко! И пусть бы уже на войне отрубили или на дуэли, или я сам был причиною; но ведь пропал ни за что ни про что, пропал даром, за грош!.. Только нет, не может быть,— прибавил он,

немного подумав.— Невероятно, чтобы нос пропал; ника ким образом невероятно. Это, верно, или во сне снится, или просто грезится; может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которою вытираю после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил ее».— Чтобы действительно увериться, что он не пьян, майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с тою мыслию, что авось-либо нос покажется на своем месте; но в ту же минуту отскочил назад, сказавши: «Экий пасквильный вид!»

Это было точно непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное; но пропасть, и кому же пропасть? и притом еще на собственной квартире!.. Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть не кто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил с своими комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже ровно было сорок два года. И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок-баб, потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан: никто не входил к нему в комнату; цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжение всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел,— это он помнил и знал очень хорошо; притом была бы им чувствуема боль и, без сомнения, рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкою, как блин. Он строил в голове планы: звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее. Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтоб в самом деле глупый человек не зазевался, увидя у барина такую странность.

Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался

в передней незнакомый голос, произнесший: «Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?»

— Войдите. Майор Ковалев здесь,— сказал Ковалев, вскочивши поспешно и отворяя дверь.

Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами, не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Исакиевского моста.

— Вы изволили затерять нос свой?

— Так точно.

— Он теперь найден.

— Что вы говорите? — закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык. Он глядел в оба на стоящего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи.— Каким образом?

— Странным случаем: его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И пашпорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастию, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук, и если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит.

Ковалев был вне себя.

— Где же он? Где? Я сейчас побегу.

— Не беспокойтесь. Я, зная, что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был.— При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда завернутый в бумажке нос.

— Так, он! - закричал Ковалев,— точно он! Откушайте сегодня со мною чашечку чаю.

— Почел бы за большую приятность, но никак не могу. Мне нужно заехать отсюда в смирительный дом... Очень большая поднялась дороговизна на все припасы... У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети; старший особенно подает большие надежды: очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких.

Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателя, который, расшаркав-

шись, вышел за дверь, и в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего со своею телегою как раз на бульвар.

Коллежский асессор, по уходе квартального, несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать: в такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенные горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно.

«Так, он, точно он! — говорил майор Ковалев.— Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня». Майор чуть не засмеялся от радости.

Но на свете нет ничего долговременного: а потому и радость в следующую минуту за первою уже не так жива; в третью минуту она становится еще слабее и наконец незаметно сливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкою поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено: нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место.

«А что, если он не пристанет?»

При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел.

С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. О, ужас! Нос не приклеивался!.. Он поднес его ко рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек; но нос никаким образом не держался.

«Ну! ну же! полезай, дурак!» — говорил он ему. Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось. «Неужели он не прирастет?» — говорил он в испуге. Но сколько раз ни подносил он его на его же собственное место, старание было по-прежнему неуспешно.

Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в бельэтаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую, здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в не-

обыкновенной чистоте, полоща его каждое утро почти три четверти часа и шлифуя зубы пятью разных родов щеточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивши, как давно случилось несчастие, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так что майор должен был откинуть свою голову назад с такою силою, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, посоветовавши отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал: «Гм!» Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал: «Гм!» и в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, так, что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал:

— Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно конечно, приставить можно, я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его; но я вас уверяю, что это для вас хуже.

— Вот хорошо! как же мне оставаться без носа? — сказал Ковалев.— Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает что! Куда же я с этакою пасквильностию покажуся?.. Я имею хорошее знакомство: вот и сегодня мне нужно быть на вечере в двух домах. Я со многими знаком: статская советница Чехтырева, Подточина штаб-офицерша... хоть после теперешнего поступка ее я не имею с ней другого дела, как только чрез полицию. Сделайте милость,— произнес Ковалев умоляющим голосом,— нет ли средства? как-нибудь приставьте; хоть не хорошо, лишь бы только держался; я даже могу его слегка подпирать рукою в опасных случаях. Я же притом и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится на счет благодарности за визиты, уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства...

— Верите ли,— сказал доктор ни громким, ни тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим,— что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил ваш нос; но я вас уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодною водою, и я вас уверяю, что вы, не

имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом или еще лучше влить туда две столовые ложки острой водки и подогретого уксуса,— и тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь.

— Нет, нет! ни за что не продам! — вскричал отчаянный майор Ковалев,— лучше пусть он пропадет!

— Извините! — сказал доктор, откланиваясь.— Я хотел быть вам полезным... Что ж делать! По крайней мере, вы видели мое старание.

Сказавши это, доктор с благородною осанкою вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчики белой и чистой, как снег, рубашки.

Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать к штаб-офицерше, не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует. Письмо было такого содержания:

Милостивая государыня,
Александра Григорьевна!

Не могу понять странного со стороны вашей действия. Будьте уверены, что, поступая таким образом, ничего вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главные участницы, а не кто другой. Внезапное его отделение с своего места, побег и маскирование, то под видом одного чиновника, то наконец в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствие волхований, произведенных вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я с своей стороны почитаю долгом вас предуведомить, если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов.

Впрочем, с совершенным почтением к вам, имею честь быть

Ваш покорный слуга
Платон Ковалев.

Милостивый государь,
Платон Кузьмич!

Чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем

более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потанчиков. И хотя он, точно, искал руки моей дочери, будучи сам хорошего, трезвого поведения и великой учености, но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, что будто бы я хотела оставить вас с носом, то есть дам вам формальный отказ, то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения, и если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовою к услугам вашим

Александра Подточина

«Нет,— говорил Ковалев, прочитавши письмо.— Она точно не виновата. Не может быть! Письмо так написано, как не может написать человек, виноватый в преступлении». Коллежский асессор был в этом сведущ, потому что был посылан несколько раз на следствие еще в Кавказской области. «Каким же образом, какими судьбами это приключилось? Только черт разберет это!» — сказал он наконец, опустив руки.

Между тем слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей столице и, как водится, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному: недавно только что занимали весь город опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в Конюшенной улице была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в 3 часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине Юнкера: и возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулатор почтенной наружности, с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные, прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за 80 копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вышел раньше из дому, и с большим

трудом пробрался сквозь толпу; но, к большому негодованию своему, увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок, и глядевшего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом и небольшою бородкою,— картинку, уже более десяти лет висящую все на одном месте. Отошед, он сказал с досадою: «Как можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ?» — Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там, что когда еще проживал там Хозрев-Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые из студентов Хирургической академии отправились туда. Одна знатная, почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен и, если можно, с объяснением наставительным и назидательным для юношей.

Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что он удивляется, как не обратит на это внимание правительство. Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во всё, даже в свои ежедневные ссоры с женою. Вслед за этим... но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно.

3

Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия: вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шуму в городе, очутился как ни в чем не бывало вновь на своем месте, то есть именно между двух щек майора Ковалева. Это случилось уже апреля 7 числа. Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он: нос! хвать рукою — точно нос! «Эге!» — сказал Ковалев и в радости чуть не дернул по всей комнате босиком трепака, но вошедший Иван помешал. Он приказал тот же час дать

себе умыться и, умываясь, взглянул еще раз в зеркало: нос. Вытираясь утиральником, он опять взглянул в зеркало: нос!

— А посмотри-ка, Иван, кажется, у меня на носу как будто прыщик,— сказал он и между тем думал: «Вот беда, как Иван скажет: да нет, сударь, не только прыщика, и самого носа нет!»

Но Иван сказал:

— Ничего-с, никакого прыщика: нос чистый!

«Хорошо, черт побери!» — сказал сам себе майор и щелкнул пальцами. В это время выглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич; но так боязливо, как кошка, которую только что высекли за кражу сала.

— Говори вперед: чисты руки? — кричал еще издали ему Ковалев.

— Чисты.

— Врешь!

— Ей-богу-с чисты, судырь.

— Ну, смотри же.

Ковалев сел. Иван Яковлевич закрыл его салфеткою и в одно мгновенье, с помощью кисточки, превратил всю бороду его и часть щеки в крем, какой подают на купеческих именинах. «Вишь ты! — сказал сам себе Иван Яковлевич, взглянувши на нос, и потом перегнул голову на другую сторону и посмотрел на него сбоку.— Вона! эк его право как подумаешь»,— продолжал он и долго смотрел на нос. Наконец, легонько, с бережливостью, какую только можно себе вообразить, он приподнял два пальца с тем, чтобы поймать его за кончик. Такова уж была система Ивана Яковлевича.

— Ну, ну, ну, смотри! — закричал Ковалев. Иван Яковлевич и руки опустил, оторопел и смутился, как никогда не смущался. Наконец осторожно стал он щекотать бритвой у него под бородою, и хотя ему было совсем не сподручно и трудно брить без придержки за нюхательную часть тела, однако же, кое-как упираясь своим шероховатым большим пальцем ему в щеку и в нижнюю десну, наконец одолел все препятствия и выбрил.

Когда все было готово, Ковалев поспешил тот же час одеться, взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще издали: «Мальчик, чашку шоколаду!», а сам в ту же минуту к зеркалу: есть нос. Он весело оборотился назад и с сатирическим видом посмотрел, несколько прищуря глаз, на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы.

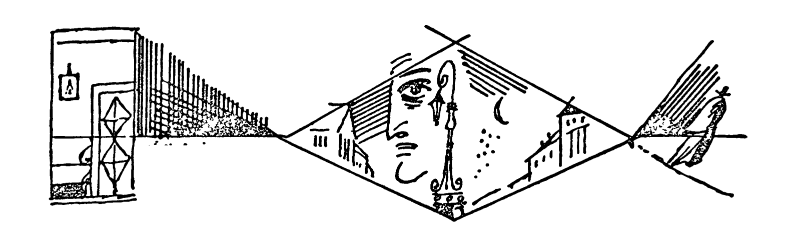
После того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал об вице-губернаторском месте, а в случае неудачи об экзекуторском. Проходя через приемную, он взглянул в зеркало: есть нос. Потом поехал он к другому коллежскому асессору или майору, большому насмешнику, которому он часто говорил в ответ на разные занозистые заметки: «Ну, уж ты, я тебя знаю, ты шпилька!» Дорогою он подумал: «Если и майор не треснет со смеху, увидевши меня, тогда уж верный знак, что все, что ни есть, сидит на своем месте». Но коллежский асессор ничего. «Хорошо, хорошо, черт побери!» — подумал про себя Ковалев. На дороге встретил он штаб-офицершу Подточину вместе с дочерью, раскланялся с ними и был встречен с радостными восклицаниями, стало быть, ничего, в нем нет никакого ущерба. Он разговаривал с ними очень долго и, нарочно вынувши табакерку, набивал перед ними весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая про себя: «Вот, мол, вам, бабье, куриный народ! а на дочке все-таки не женюсь. Так просто, par amour — изволь!» И майор Ковалев с тех пор прогуливался, как ни в чем не бывало, и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос тоже, как ни в чем не бывало, сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонам. И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в Гостином дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку, неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена.

Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства! Теперь только по соображении всего видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появление его в разных местах в виде статского советника, — как Ковалев не смекнул, что нельзя чрез Газетную экспедицию объявлять о носе? Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление: это вздор, и я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо! И опять тоже — как нос очутился в печеном хлебе, и как сам Иван Яковлевич?.. нет, этого я никак не понимаю, решительно не понимаю! Но что́ страннее, что́ непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно... нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых,

пользы отечеству решительно никакой; во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что́ это...

А однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... ну, да и где ж не бывает несообразностей? — А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете; редко, но бывают.

1832—1835



ПОРТРЕТ

ЧАСТЬ I

Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком, в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанною рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека,— вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хозрева-Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарованье русского человека. На одном была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другом город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей — куча. Какой-нибудь забулдыга-лакей уже, верно, зевает перед ними, держа в руке судки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже, верно, стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика; торговка-охтенка с коробкою, наполненною башмаками. Всякий восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкают пальцами; кавалеры рассматривают серьезно; лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые

смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами; старые лакеи во фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать; а торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит. В это время невольно остановился перед лавкою проходивший мимо молодой художник Чартков. Старая шинель и нещегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился перед лавкою и сперва внутренно смеялся над этими уродливыми картинами. Наконец овладело им невольное размышление: он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ заглядывается на *Еруслановых Лазаревичей*, на *объедал и обпивал*, на *Фому и Ерему*, это не казалось ему удивительным: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но где покупатели этих пестрых, грязных, масляных малеваний? кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось все глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки. Иначе в них бы, при всей бесчувственной карикатурности целого, вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесел, бездарность, которая была верна, однако ж, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку!.. Долго стоял он пред этими грязными картинами, уже наконец не думая вовсе о них, а между тем хозяин лавки, серенький человечек, во фризовой шинели, с бородой, небритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно. «Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая! просто глаз прошибет; только что получены с биржи; еще лак не высох. Или вот зима, возьмите зиму! Пятнадцать рублей! Одна рамка чего стоит. Вон она какая зима!» Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно, чтобы показать всю доброту зимы. «Прикажете связать их вместе

и снести за вами? Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку».— «Постой, брат, не так скоро,— сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке, и он сказал: — А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь»,— и наклонившись, стал доставать с полу наваленные громоздко, истертые, запыленные старые малеванья, не пользовавшиеся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестные изображения с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты,— словом, всякий ветхий сор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне: «Авось что-нибудь и отыщется». Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в сору картины великих мастеров. Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявши обыкновенное положение и надлежащий вес, поместился сызнова у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку... «Сюда, батюшка; вот картины! зайдите, зайдите; с биржи получены». Уже накричался он вдоволь и большею частью бесплодно, наговорился досыта с лоскутным продавцом, стоявшим насупротив его также у дверей своей лавочки, и наконец, вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился внутрь ее. «Что, батюшка, выбрали что-нибудь?» Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты. Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движенья и отзывались не северною силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели

они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядит, глядит», и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю.

— А что ж, возьмите портрет! — сказал хозяин.

— А сколько? — сказал художник.

— Да что за него дорожиться? три четвертачка давайте!

— Нет.

— Ну, да что ж дадите?

— Двугривенный,— сказал художник, готовясь идти.

— Эк цену какую завернули! да за двугривенный одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить? Господин, господин, воротитесь! гривенничек хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенный. Право, для почину только, вот только что первый покупатель.— За сим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший: «Так уж и быть, пропадай картина!»

Таким образом Чартков совершенно неожиданно купил старый портрет и в то же время подумал: «Зачем я его купил? на что он мне?» — но делать было нечего. Он вынул из кармана двугривенный, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собою. Дорогою он вспомнил, что двугривенный, который он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились; досада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. «Черт побери! гадко на свете!» — сказал он с чувством русского, у которого дела плохи. И почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему. Красный свет вечерней зари оставался еще на половине неба; еще домы, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее теплым светом; а между тем уже холодное синеватое сиянье месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени хвостами падали на землю, отбрасываемые домами и ногами пешеходцев. Уже художник начинал мало-помалу заглядываться на небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким, сомнительным светом, и почти в одно время излетали из уст его слова: «Какой легкий тон» и слова: «Досадно, черт побери!» И он, поправляя портрет, беспрестанно съезжавший из-под мышек, ускорял шаг. Усталый и весь в поту, дотащился он к себе в пятнадцатую линию на Васильевский Остров. С трудом и с одышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа: человека не было дома. Он прислонился

к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались наконец позади его шаги парня в синей рубахе, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводил все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе незаметную по причине темноты. Наконец дверь была отперта. Чартков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают. Не отдавая Никите шинели, он вошел вместе с нею в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художеским хламом: кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами, начатыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям. Он устал сильно, скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между двух небольших холстов и бросился на узкий диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожею, потому что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам по себе, а кожа осталась тоже сверху сама по себе, так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и все немытое белье. Посидев и разлегшись, сколько можно было разлечься на этом узеньком диване, он наконец спросил свечу.

— Свечи нет,— сказал Никита.

— Как нет?

Да ведь и вчера еще не было,— сказал Никита.

Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепко и сильно заношенный халат.

— Да вот еще, хозяин был,— сказал Никита.

— Ну, приходил за деньгами? знаю,— сказал художник, махнув рукой.

— Да он не один приходил,— сказал Никита.

— С кем же?

— Не знаю с кем, какой-то квартальный.

— А квартальный зачем?

— Не знаю зачем; говорит за тем, что за квартиру не плачено.

— Ну что ж из того выйдет?

— Я не знаю, что выйдет; он говорил, коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры; хотели завтра еще прийти оба.

— Пусть их приходят,— сказал с грустным равно-

душием Чартков. И ненастное расположение духа овладело им вполне.

Молодой Чартков был художник с талантом, пророчившим многое: вспышками и мгновеньями его кисть отзывалась наблюдательностию, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат,— говорил ему не раз его профессор,— у тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь полюбится — ты им занят, а прочее у тебя дрянь, прочее тебе нипочем, ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия невидна; ты уж гоняешься за модным освещением, за тем, что бьет на первые глаза,— смотри, как раз попадешь в английский род. Берегись; тебя уж начинает свет тянуть; уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском... Оно заманчиво, можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу, брось щегольство — пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет».

Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось, точно, нашему художнику кутнуть, щегольнуть, словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том он мог взять над собою власть. Временами он мог позабыть все, принявшись за кисть, отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвида, останавливался пред портретами Тициана, восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел пред ним; но он уж прозревал в них кое-что, хотя внутренно не соглашался с профессором, чтобы старинные мастера так недосягаемо ушли от нас; ему казалось даже, что девятнадцатый век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе; словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это в гордом внутреннем сознании. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванью, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок производил

всеобщий шум и скапливал себе вмиг денежный капитал. Это приходило к нему на ум не тогда, когда, занятый весь своей работой, он забывал и питье, и пищу, и весь свет, но тогда, когда наконец сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась в голодном его воображенье участь богача-живописца; тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове: бросить все и закутить с горя назло всему. И теперь он почти был в таком положении.

«Да! терпи, терпи!— произнес он с досадою.— Есть же наконец и терпенью конец. Терпи! а на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки — за них мне за все двугривенный дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую: каждая из них предпринята недаром, в каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? этюды, попытки — и все будут этюды, попытки, и конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени; да и кому нужны рисунки с антиков и натурного класса или моя неоконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты, хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца? Что в самом деле? Зачем я мучусь и как ученик копаюсь над азбукой, тогда как бы мог блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами». Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел; на него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его; на устах написано было грозное повеленье молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в своей передней богатырское храпение; но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривши комнату, упало и на него и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Омакнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе: все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он наконец вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: «Глядит, глядит человечески-

ми глазами!» Ему пришла вдруг на ум история, слышанная давно им от своего профессора, об одном портрете знаменитого Леонарда да Винчи, над которым великий мастер трудился несколько лет и все еще почитал его неоконченным и который, по словам Вазари, был, однако же, почтен от всех за совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства. Окончательнее всего были в нем глаза, которым изумлялись современники; даже малейшие, чуть видные в них жилки были не упущены и приданы полотну. Но здесь, однако же, в сем, ныне бывшем пред ним, портрете, было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслажденья, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство. «Что это? — невольно вопрошал себя художник.— Ведь это, однако же, натура, это живая натура: отчего же это странно-неприятное чувство? Или рабское, буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком? Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, не озаренный светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека. Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойнее и ровнее все течет и движется вокруг тебя. И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а между прочим он так же был верен природе. Но нет, нет в ней чего-то озаряющего. Все равно как вид в природе: как он ни великолепен, а все недостает чего-то, если нет на небе солнца».

Он опять подошел к портрету с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собой

бред мечты и облекающий все в иные образы, противуположные положительному дню, или что другое было причиною тому, только ему сделалось вдруг, неизвестно отчего, страшно сидеть одному в комнате. От тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него, а между тем глаз невольно сам собою, косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате; ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякий раз робко оглядывался он назад. Он не был никогда труслив; но воображенье и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Самое храпенье Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он наконец робко, не подымая глаз, поднялся с своего места, отправился к себе за ширмы и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего. Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете; а между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сиянье месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор... Но наконец уже в самом деле.... он видит, видит ясно: простыни уже нет... портрет открыт весь и глядит мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в глаза, глядит просто к нему вовнутрь... У него захолонуло сердце. И видит, старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам... Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который наконец становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. С занявшимся от страха дыханьем он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул, точно, за ширмы с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чартков силил-

ся вскрикнуть и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движенье — не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханьем смотрел он на этот страшный фантом высокого роста, в какой-то широкой азиатской рясе и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схвативши за два конца, встряхнул: с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков: каждый был завернут в синюю бумагу и на каждом было выставлено: «1000 червонных». Высунув свои длинные, костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как ни велико было тягостное чувство и обеспамятевший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подалее от других, у самой ножки его кровати, в головах у него. Почти судорожно схватил он его и, полный страха, смотрел, не заметит ли старик. Но старик был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянувши на него, ушел за ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда он услышал, как раздавался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширме — видно, старик вспомнил, что недоставало одного свертка. И вот — он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния стиснул он всею силою в руке своей сверток, употребил все усилие сделать движенье, вскрикнул и проснулся. Холодный пот облил его всего; сердце его билось так сильно, как только можно было биться: грудь была стеснена, как будто хотело улететь из нее последнее дыханье. «Неужели это был сон?» — сказал он, взявши себя обеими руками за голову; но страшная живость явленья не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту пред сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее где холст, где гипсовую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищеные сапоги. Тут только заметил он, что не лежит в постели, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как

он добрался сюда — уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его; он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он: это уже не сон; черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать... с воплем отчаянья отскочил он и проснулся. «Неужели и это был сон?» С бьющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постели в таком точно положенье, как заснул. Пред ним ширмы: свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простынею — так, как он сам закрыл его. Итак, это был тоже сон! Но сжатая рука чувствует доныне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно; тягость в груди невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить. «Господи, боже мой, что это!» — вскрикнул он, крестясь отчаянно и проснулся. И это был также сон! Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятевший, и уже не мог изъявить, что это с ним делается: давленье ли кошмара или домового, бред ли горячки или живое виденье. Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волненье и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку. Холодный пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало все еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо; изредка долетало до слуха отдаленное дребезжанье дрожек извозчика, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своею ленивою клячею, поджидая запоздалого седока. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари; наконец почувствовал он приближающуюся дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул как убитый самым крепким сном.

Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара: голова его неприятно болела. В комнате было тускло; неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила

сквозь щели его окон, заставленные картинами или нагрунтованным холстом. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил наконец весь свой сон. По мере припоминанья сон этот представлялся в его воображеньи так тягостно-жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред, не было ли здесь чего-то другого, не было ли это виденье. Сдернувши простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза, точно, поразили своей необыкновенной живостью, но ничего он не находил в них особенно страшного; только как будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том он все-таки не мог совершенно увериться, чтобы это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в самом взгляде и выражении старика как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь; рука его чувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту пред сим ее выхватил у него. Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и после пробуждения.

«Боже мой, если бы хотя часть этих денег!» — сказал он тяжело вздохнувши, и в воображенье его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью: «1000 червонных». Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось вновь, и он сидел, уставивши неподвижно и бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не будучи в состоянье оторваться от такого предмета — как ребенок, сидящий пред сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его другие. Наконец у дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чартков, был одно из творений, какими обыкновенно бывают владетели домов где-нибудь в пятнадцатой линии Васильевского Острова, на Петербургской стороне или в отдаленном углу Коломны, — творенье, каких много на Руси и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был капитан и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп; но в старости своей

он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке, уже не щеголял, не хвастал, не задирался. любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор; ходил по комнате, поправляя сальный огарок; аккуратно по истечении каждого месяца наведывался к своим жильцам за деньгами, выходил на улицу с ключом в руке для того, чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятывался спать,— одним словом, человек в отставке, которому, после всей забубенной жизни и тряски на перекладных, остаются одни пошлые привычки.

— Извольте сами глядеть, Варух Кузьмич,— сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставив руки,— вот не платит за квартиру, не платит.

— Что ж, если нет денег? Подождите, я заплачу.

— Мне, батюшка, ждать нельзя,— сказал хозяин в сердцах, делая жест ключом, который держал в руке,— у меня вот Потогонкин подполковник живет, семь лет уж живет; Анна Петровна Бухмистерова и сарай и конюшню нанимает на два стойла, три при ней дворовых человека — вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведенья, чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон.

— Да, уж если порядились, так извольте платить,— сказал квартальный надзиратель с небольшим потряхиваньем головы и заложив палец за пуговицу своего мундира.

— Да чем платить? вопрос. У меня нет теперь ни гроша.

— В таком случае удовлетворите Ивана Ивановича издельями своей профессии,— сказал квартальный,— он, может быть, согласится взять картинами.

— Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить, хоть какой-нибудь генерал со звездой или князя Кутузова портрет, а то вон мужика нарисовал, мужика в рубахе, слуги-то, что трет краски. Еще с него, свиньи, портрет рисовать; ему я шею наколочу: он у меня все гвозди из задвижек повыдергивал, мошенник. Вот посмотрите, какие предметы: вот комнату рисует. Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную, а он вон как нарисовал ее со всем сором и дрязгом, какой ни валялся. Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату, изволите

сами видеть. Да у меня по семи лет живут жильцы, полковники, Бухмистерова Анна Петровна... Нет, я вам скажу: нет хуже жильца, как живописец: свинья свиньей живет, просто не приведи бог.

И все это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель между тем занялся рассматриваньем картин и этюдов и тут же показал, что у него душа живее хозяйской и даже была не чужда художественным впечатлениям.

— Хе,— сказал он, ткнув пальцем на один холст, где была изображена нагая женщина,— предмет, того... игривый. А у этого зачем так под носом черно, табаком, что ли, он себе засыпал?

— Тень,— отвечал на это сурово и не обращая на него глаз Чартков.

— Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место отнести, а под носом слишком видное место,— сказал квартальный.— А это чей портрет? — продолжал он, подходя к портрету старика,— уж страшен слишком. Будто он в самом деле был такой страшный; ахти, да он просто глядит. Эх, какой Громобой! С кого вы писали?

— А это с одного...— сказал Чартков и не кончил слова: послышался треск. Квартальный пожал, видно, слишком крепко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейских рук своих; боковые досточки вломились вовнутрь, одна упала на пол и вместе с нею упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Чарткову бросилась в глаза надпись: «1000 червонных». Как безумный бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившейся вниз от тяжести.

— Никак, деньги зазвенели,— сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на пол и не могший увидать его за быстротой движенья, с какой бросился Чартков прибрать.

— А вам какое дело знать, что у меня есть?

— А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру; что у вас есть деньги, да вы не хотите платить — вот что.

— Ну, я заплачу ему сегодня.

— Ну, а зачем же вы не хотели заплатить прежде, да доставляете беспокойство хозяину, да вот и полицию тоже тревожите?

— Потому что этих денег мне не хотелось трогать; я ему сегодня же ввечеру все заплачу и съеду с квартиры

завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина.

— Ну, Иван Иванович, он вам заплатит,— сказал квартальный, обращаясь к хозяину.— А если насчет того, что вы не будете удовлетворены, как следует, сегодня ввечеру, тогда уж извините, господин живописец.— Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сени, а за ним хозяин, держа вниз голову и, как казалось, в каком-то раздумье.

«Слава богу, черт их унес!» — сказал Чартков, когда услышал затворившуюся в передней дверь. Он выглянул в переднюю, услал за чем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетаньем разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотою кучею, все еще спрашивая себя, не во сне ли все это. В свертке было ровно их тысяча; наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал, и все еще не мог прийти в себя. В воображении его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с потаенными ящиками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков, в твердой уверенности на будущее их промотавшееся положение. Он мыслил так: не придумал ли и теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета. Полный романтического бреда, он стал даже думать, нет ли здесь какой-нибудь тайной связи с его судьбою, не связано ли существованье портрета с его собственным существованьем, и самое приобретение его не есть ли уже какое-то предопределение. Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желобок, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончания века в покое. Рассматривая портрет, он подивился вновь высокой работе, необыкновенной отделке глаз; они уже не казались ему страшными; но все еще в душе оставалось всякий раз невольно неприятное чувство. «Нет,— сказал он сам в себе,— чей бы ты ни был дедушка, а я тебя поставлю за стекло и сделаю тебе за это золотые рамки». Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую пред ним, и сердце забилось сильно от такого прикосновенья. «Что с ним сделать?— думал он, уставив на

них глаза.— Теперь я обеспечен по крайней мере на три года, могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на обед; на чай, на содержанье, на квартиру есть; мешать и надоедать мне теперь никто не станет: куплю себе отличный манекен, закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин. И если поработаю три года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех, и могу быть славным художником».

Так говорил он заодно с подсказывавшим ему рассудком; но извнутри раздавался другой голос слышнее и звонче. И так взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем 22 года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилось ретивое, когда он только подумал о том! Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в... и прочее, и он, схвативши деньги, был уже на улице. Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы и, как ребенок, стал обсматривать себя беспрестанно; накупил духов, помад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте, с зеркалами и цельными стеклами; купил нечаянно в магазине дорогой лорнет, нечаянно накупил тоже бездну всяких галстуков, более нежели было нужно, завил у парикмахера себе локоны, прокатился два раза по городу в карете без всякой причины, объелся без меры конфектов в кондитерской и зашел к ресторану французу, о котором доселе слышал такие же неясные слухи, как о китайском государстве. Там он обедал подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на других и поправляя беспрестанно против зеркала завитые локоны. Там он выпил бутылку шампанского, которое тоже доселе было ему знакомо более по слуху. Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению: черту не брат. Прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет. На мосту заметил он своего прежнего профессора и шмыгнул лихо мимо его, как будто бы не заметив его вовсе, так что остолбеневший профессор долго еще стоял недвижно на мосту, изобразив вопросительный знак на лице своем. Все вещи и все, что ни было: станок, холст, картины, были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. Он расставил то, что было получше, на видные места, что похуже, забросил

в угол и расхаживал по великолепным комнатам, беспрестанно поглядывая в зеркала. В душе его возродилось желанье непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. Уже чудились ему крики: «Чартков, Чартков! видали ли вы картину Чарткова? Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный талант у Чарткова!» Он ходил в восторженном состоянии у себя по комнате — уносился невесть куда. На другой же день, взявши десяток червонцев, отправился он к одному издателю ходячей газеты, прося великодушной помощи; был принят радушно журналистом, назвавшим его тот же час «почтеннейший», пожавшим ему обе руки, расспросившим подробно об имени, отчестве, месте жительства, и на другой же день появилась в газете, вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах, статья с таким заглавием: «О необыкновенных талантах Чарткова». «Спешим обрадовать образованных жителей столицы прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением. Все согласны в том, что у нас есть много прекраснейших физиономий и прекраснейших лиц, но не было до сих пор средства передать их на чудотворный холст, для передачи потомству; теперь недостаток этот пополнен: отыскался художник, соединяющий в себе, что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты, воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Купец, воин, гражданин, государственный муж — всякий с новой ревностью будет продолжать свое поприще. Спешите, спешите, заходите с гулянья, с прогулки, предпринятой к приятелю, к кузине, в блестящий магазин, спешите, откуда бы ни было. Великолепная мастерская художника (Невский проспект, такой-то номер) уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиков и Тицианов. Не знаешь, чему удивляться, верности ли и сходству с оригиналами или необыкновенной яркости и свежести кисти. Хвала вам, художник: вы вынули счастливый билет из лотереи. Виват, Андрей Петрович (журналист, как видно, любил фамилиарность!). Прославляйте себя и нас. Мы умеем ценить вас. Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей же братьи журналистов и восстают против них, будут вам наградою».

С тайным удовольствием прочитал художник это объявление; лицо его просияло. О нем заговорили печат-

но — это было для него новостию; несколько раз перечитывал он строки. Сравнение с Вандиком и Тицианом ему сильно польстило. Фраза: «Виват, Андрей Петрович!» — также очень понравилась; печатным образом называют его по имени и по отчеству — честь, доныне ему совершенно неизвестная. Он начал ходить скоро по комнате, ерошить себе волоса, то садился в кресла, то вскакивал с них и садился на диван, представляя поминутно, как он будет принимать посетителей и посетительниц, подходил к холсту и производил над ним лихую замашку кисти, пробуя сообщить грациозные движения руке. На другой день раздался колокольчик у дверей его; он побежал отворять, вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху, и вместе с дамой вошла молоденькая 18-летняя девочка, дочь ее.

— Вы мсье Чартков? — сказала дама. Художник поклонился.

— Об вас столько пишут; ваши портреты, говорят, верх совершенства.— Сказавши это, дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было.— А где же ваши портреты?

— Вынесли,— сказал художник, несколько смешавшись,— я только что переехал еще на эту квартиру, так они еще в дороге... не доехали.

— Вы были в Италии? — сказала дама, наводя на него лорнет, не найдя ничего другого, на что бы можно было навесть его.

— Нет, я не был, но хотел быть... впрочем, теперь покамест я отложил... Вот кресла-с; вы устали...

— Благодарю, я сидела долго в карете. А, вон наконец вижу вашу работу! — сказала дама, побежав к супротивной стене и наводя лорнет на стоявшие на полу его этюды, программы, перспективы и портреты.— C'est charmant, Lise, Lise, venez ici, комната во вкусе Теньера, видишь: беспорядок, беспорядок, стол, на нем бюст, рука, палитра; вон пыль, видишь, как пыль нарисована! c'est charmant. А вот на другом холсте женщина, имеющая лицо quelle jolie figure! Ах, мужичок! Lise, Lise, мужичок в русской рубашке! смотри: мужичок! Так вы занимаетесь не одними только портретами?

— О, это вздор... Так, шалил... этюды.

- Скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? Не правда ли, теперь нет таких, как был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той... как жаль, что я не могу вам выразить по-русски (дама была люби-

тельница живописи и оббегала с лорнетом все галереи в Италии). Однако, мсье Ноль... ах, как он пишет! Какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выраженья в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете мсье Ноля?

— Кто этот Ноль? — спросил художник.

— Мсье Ноль. Ах, какой талант! он написал с нее портрет, когда ей было только 12 лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. Lise, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет.

— Как же, я готов сию минуту.— И в одно мгновенье придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру, вперил глаз в бледное личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы, он прочел бы на нем в одну минуту начало ребяческой страсти к балам, начало тоски и жалоб на длинноту времени до обеда и после обеда, желанья побегать в новом платье на гуляньях, тяжелые следы безучастного прилежания к разным искусствам, внушаемого матерью для возвышения души и чувств. Но художник видел в этом нежном личике одну только заманчивую для кисти, почти фарфоровую прозрачность тела, увлекательную легкую томность, тонкую светлую шейку и аристократическую легкость стана. И уже заранее готовился торжествовать, показать легкость и блеск своей кисти, имевшей доселе дело только с жесткими чертами грубых моделей, с строгими антиками и копиями кое-каких классических мастеров. Он уже представлял себе в мыслях, как выйдет это легонькое личико.

— Знаете ли,— сказала дама с несколько даже трогательным выражением лица,— я бы хотела: на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье, к которому мы так привыкли: я бы хотела, чтоб она была одета просто и сидела бы в тени зелени, в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали, или роща... чтобы незаметно было, что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Наши балы, признаюсь, так убивают душу, так умерщвляют остатки чувств... простоты, простоты чтобы было больше.— (Увы! на лицах и матушки и дочери написано было, что они до того исплясались на балах, что обе сделались чуть не восковыми.)

Чартков принялся за дело, усадил оригинал, сообразил несколько все это в голове; провел по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; прищурил несколько глаз, подался назад, взглянул издали, и в один час начал

и кончил подмалевку. Довольный ею, он принялся уже писать, работа его завлекла. Уже он позабыл все, позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда кое-какие художнические ухватки, произнося вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с художником, погруженным всею душою в свое дело. Без всякой церемонии одним движеньем кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который наконец начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость.

— Довольно, на первый раз довольно,— сказала дама.

— Еще немножко,— говорил позабывшийся художник.

— Нет пора! Lise, три часа! — сказала она, вынимая маленькие часы, висевшие на золотой цепи у ее кушака, и вскрикнула: — Ах, как поздно!

— Минуточку только,— говорил Чартков простодушным и просящим голосом ребенка.

Но дама, кажется, совсем не была расположена угождать на этот раз его художественным потребностям и обещала вместо того просидеть в другой раз долее.

«Это, однако ж, досадно,— подумал про себя Чартков,— рука только что расходилась». И вспомнил он, что его никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском Острове; Никита, бывало, сидел не ворохнувшись на одном месте — пиши с него, сколько угодно; он даже засыпал в заказанном ему положении. И, недовольный, положил он свою кисть и палитру на стул, и остановился смутно пред холстом. Комплимент, сказанный светской дамой, пробудил его из усыпления. Он бросился быстро к дверям провожать их; на лестнице получил приглашение бывать, прийти на следующей неделе обедать, и с веселым видом возвратился к себе в комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сих пор он глядел на подобные существа как на что-то недоступное, которые рождены только для того, чтобы пронестись в великолепной коляске с ливрейными лакеями и щегольским кучером и бросить равнодушный взгляд на бредущего пешком в небогатом плащишке человека. И вдруг теперь одно из этих существ вошло к нему в комнату; он пишет портрет, приглашен на обед в аристократический дом. Довольство овладело им необыкновенное; он был упоен совершенно и наградил себя за это славным обедом, вечерним спек-

таклем, и опять проехался в карете по городу без всякой нужды.

Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготовлялся и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе с своею бледненькою дочерью. Он усадил их, придвинул холст уже с ловкостью и претензиями на светские замашки и стал писать. Солнечный день и ясное освещение много помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что, быв уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету; увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить все в такой окончательности, в какой теперь представлялась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда он почувствовал, что выразит то, чего еще не заметили другие. Работа заняла его всего, весь погрузился он в кисть, позабыв опять об аристократическом происхождении оригинала. С занимавшимся дыханием видел, как выходили у него легкие черты и это почти прозрачное тело семнадцатилетней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собою голос матери: «Ах, зачем это? это не нужно,— говорила дама.— У вас тоже... вот, в некоторых местах... как будто бы несколько желто и вот здесь совершенно как темные пятнышки». Художник стал изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляют приятные и легкие тоны лица. Но ему отвечали, что они не составят никаких тонов и совсем не разыгрываются; и что это ему только так кажется. «Но позвольте здесь в одном только месте тронуть немножко желтенькой краской»,— сказал простодушно художник. Но этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Lise только сегодня немножко нерасположена, а что желтизны в ней никакой не бывает и лицо поражает особенно свежестью краски. С грустью принялся он изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезло отчасти и сходство. Он бесчувственно стал сообщать ему тот общий колорит, который дается наизусть и обращает даже лица, взятые с натуры, в какие-то холодно-идеальные, видимые на ученических программах. Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только удивленье, что работа идет так

долго, и прибавила, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает совершенно портрет. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Дамы поднялись и собирались выйти. Он положил кисть, проводил их до дверей и после того долго оставался смутным на одном и том же месте перед своим портретом. Он глядел на него глупо, а в голове его между тем носились те легкие женственные черты, те оттенки и воздушные тоны, им подмеченные, которые уничтожила безжалостно его кисть. Будучи весь полон ими, он отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную головку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросал на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. От нечего делать он теперь принялся проходить его, припоминая на нем все, что случилось ему подметить в лице аристократической посетительницы. Уловленные им черты, оттенки и тоны здесь ложились в том очищенном виде, в каком являются они тогда, когда художник, наглядевшись на природу, уже отдаляется от нее и производит ей равное создание. Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться в видимое тело. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился Психее, и через то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения. Казалось, он воспользовался по частям и вместе всем, что представил ему оригинал, и привязался совершенно к своей работе. В продолжение нескольких дней он был занят только ею. И за этой самой работой застал его приезд знакомых дам. Он не успел снять со станка картину. Обе дамы издали радостный крик изумленья и всплеснули руками.

— Lise, Lise! ах, как похоже! Superbe, superbe! Как хорошо вы вздумали, что одели ее в греческий костюм. Ах, какой сюрприз!

Художник не знал, как вывести дам из приятного заблуждения. Совестясь и потупя голову, он произнес тихо:

— Это Психея.

— В виде Психеи? C'est charmant! — сказала мать, улыбнувшись; причем улыбнулась также и дочь.— Не правда ли, Lise, тебе больше всего идет быть изображенной в виде Психеи? Quelle idée délicieuse! Но какая работа! Это Корредж. Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны

написать также и с меня портрет.— Даме, как видно, хотелось также предстать в виде какой-нибудь Психеи.

«Что мне с ними делать? — подумал художник,— если они сами того хотят, так пусть Психея пойдет за то, что им хочется», и произнес вслух:

— Потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону.

— Ах, я боюсь, чтобы вы как-нибудь не... она так теперь похожа.

Но художник понял, что опасенья были насчет желтизны, и успокоил их, сказав, что он только придаст более блеску и выраженья глазам. А по справедливости ему было слишком совестно и хотелось хотя сколь-нибудь более придать сходства с оригиналом, дабы не укорил его кто-нибудь в решительном бесстыдстве. И точно, черты бледной девушки стали наконец выходить яснее из облика Психеи.

— Довольно! — сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось наконец уже чересчур близко. Художник был награжден всем: улыбкой, деньгами, комплиментом, искренним пожатьем руки, приглашеньем на обеды; словом, получил тысячу лестных наград. Портрет произвел по городу шум. Дама показала его приятельницам; все изумлялись искусству, с каким художник умел сохранить сходство и вместе с тем придать красоту оригиналу. Последнее замечено было, разумеется, не без легкой краски зависти в лице. И художник вдруг был осажден работами. Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. С одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему бесконечную практику разнообразием, множеством лиц. Но на беду, это все был народ, с которым было трудно ладить, народ торопливый, занятой или же принадлежавший свету, стало быть, еще более занятой, нежели всякий другой, и потому нетерпеливый до крайности. Со всех сторон только требовали, чтоб было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать решительно было невозможно, что все нужно было заменить ловкостью и быстрой бойкостью кисти. Схватывать одно только целое, одно общее выраженье и не углубляться кистью в утонченные подробности; одним словом, следить природу в ее окончательности было решительно невозможно. Притом нужно прибавить, что у всех почти писавшихся много было других притязаний на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характер изображались в портре-

тах, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить все углы, облегчить все изъянцы и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже не совершенно влюбиться. И вследствие этого, садясь писать, они принимали иногда такие выражения, которые приводили в изумленье художника: та старалась изобразить в лице своем меланхолию, другая мечтательность, третья во что бы ни стало хотела уменьшить рот и сжимала его до такой степени, что он обращался наконец в одну точку, не больше булавочной головки. И, несмотря на все это, требовали от него сходства и непринужденной естественности. Мужчины тоже были ничем не лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном энергическом повороте головы; другой с поднятыми кверху вдохновенными глазами; гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс; гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: «Всегда стоял за правду». Сначала художника бросали в пот такие требованья: все это нужно было сообразить, обдумать, а между тем сроку давалось очень немного. Наконец он добрался, в чем было дело, и уж не затруднялся нисколько. Даже из двух, трех слов смекал вперед, кто чем хотел изобразить себя. Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса; кто метил в Байрона, он давал ему байроновское положенье и поворот. Кориной ли, Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на все и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразия, которое, как известно, нигде не подгадит и за что простят иногда художнику и самое несходство. Скоро он уже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти. А писавшиеся, само собою разумеется, были в восторге и провозглашали его гением.

Чартков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гулянья, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу, что нужно поддержать его званье, что художники одеваются как сапожники, не умеют прилично вести себя, не соблюдают высшего тона и лишены всякой образованности. Дома у себя, в мастерской он завел опрятность и чистоту в высшей степени, определил двух великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевал-

ся несколько раз в день в разные утренние костюмы, завивался, занялся улучшением разных манер, с которыми принимать посетителей, занялся украшением всеми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятное впечатление на дам; одним словом, скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачужке на Васильевском Острове. О художниках и об искусстве он изъяснялся теперь резко: утверждал, что прежним художникам уже чересчур много приписано достоинства, что все они до Рафаэля писали не фигуры, а селедки; что существует только в воображении рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости; что сам Рафаэль даже писал не все хорошо и за многими произведениями его удержалась только по преданию слава; что Микель-Анжел хвастун, потому что хотел только похвастать знанием анатомии, что грациозности в нем нет никакой и что настоящий блеск, силу кисти и колорит нужно искать только теперь в нынешнем веке. Тут натурально невольным образом доходило дело и до себя. «Нет, я не понимаю,— говорил он,— напряженья других сидеть и корпеть с трудом. Этот человек, который копается по нескольку месяцев над картиною, по мне труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро». «Вот у меня,— говорил он, обращаясь обыкновенно к посетителям,— этот портрет я написал в два дня, эту головку в один день, это в несколько часов, это в час с небольшим. Нет, я... я, признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой; это уж ремесло, а не художество». Так рассказывал он своим посетителям, и посетители дивились силе и бойкости его кисти, издавали даже восклицания, услышав, как быстро они производились, и потом пересказывали друг другу. «Это талант, истинный талант! Посмотрите, как он говорит, как блестят его глаза! Il y a quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure!»

Художнику было лестно слышать о себе такие слухи. Когда в журналах появлялась печатная хвала ему, он радовался, как ребенок, хотя эта хвала была куплена им за свои же деньги. Он разносил такой печатный лист везде и будто бы ненарочно показывал его знакомым и приятелям, и это его тешило до самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоедать одни и те же портреты и лица,

которых положенье и обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал их, стараясь набросать только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Прежде он все-таки искал дать какое-нибудь новое положение, поразить силою, эффектом. Теперь и это становилось ему скучно. Ум уставал придумывать и обдумывать. Это было ему невмочь, да и некогда: рассеянная жизнь и общество, где он старался сыграть роль светского человека,— все это уносило его далеко от труда и мыслей. Кисть его хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы. Однообразные, холодные, вечно прибранные и, так сказать, застегнутые лица чиновников, военных и штатских, не много представляли поля для кисти: она позабывала и великолепные драпировки, и сильные движения и страсти. О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Пред ним были только мундир да корсет, да фрак, пред которыми чувствует холод художник и падает всякое воображение. Даже достоинств самых обыкновенных уже не было видно в его произведениях, а между тем они все еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на последние его работы. А некоторые, знавшие Чарткова прежде, не могли понять, как мог исчезнуть в нем талант, которого признаки оказались уже ярко в нем при самом начале, и напрасно старались разгадать, каким образом может угаснуть дарованье в человеке, тогда как он только что достигнул еще полного развития всех сил своих.

Но этих толков не слышал упоенный художник. Уже он начинал достигать поры степенности ума и лет: стал толстеть и видимо раздаваться в ширину. Уже в газетах и журналах читал он прилагательные: «почтенный наш Андрей Петрович, заслуженный наш Андрей Петрович». Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на экзамены, в комитеты. Уже он начинал, как всегда случается в почетные лета, брать сильно сторону Рафаэля и старинных художников, не потому, что убедился вполне в их высоком достоинстве, но потому, чтобы колоть ими в глаза молодых художников. Уже он начинал по обычаю всех, вступающих в такие лета, укорять без изъятья молодежь в безнравственности и дурном направлении духа. Уже начинал он верить, что все на свете делается просто, вдохновенья свыше нет, и все необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок акку-

ратности и однообразья. Одним словом, жизнь его уже коснулась тех лет, когда все, дышащее порывом, сжимается в человеке, когда могущественный смычок слабее доходит до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновенье красоты уже не превращает девственных сил в огонь и пламя, но все отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота, вслушиваются внимательней в его заманчивую музыку и мало-помалу нечувствительно позволяют ей совершенно усыпить себя. Слава не может дать наслажденья тому, кто украл ее, а не заслужил; она производит постоянный трепет только в достойном ее. И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслажденьем, целью. Пуки ассигнаций росли в сундуках, и как всякий, кому достается в удел этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота, беспричинным скрягой, беспутным собирателем, и уже готов был обратиться в одно из тех странных существ, которых много попадается в нашем бесчувственном свете, на которых с ужасом глядит исполненный жизни и сердца человек, которому кажутся они движущимися каменными гробами с мертвецом внутри на место сердца. Но одно событие сильно потрясло и разбудило весь его жизненный состав.

В один день увидел он на столе своем записку, в которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение свое о новом присланном из Италии произведении усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в себе страсть к искусству, с пламенной душой труженика погрузился в него всей душою своей, оторвался от друзей, от родных, от милых привычек, и помчался туда, где в виду прекрасных небес спеет величавый рассадник искусств, в тот чудный Рим, при имени которого так полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Там как отшельник погрузился он в труд и в неразвлекаемые ничем занятия. Ему не было до того дела, толковали ли о его характере, его неумении обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий, о унижении, которое он причинял званию художника своим скудным, нещегольским нарядом. Ему не было нужды, сердилась ли или нет на него его братья. Всем пренебрегал он, все отдал искусству. Неутомимо посещал галереи, по целым часам застаивался перед произведениями великих мастеров, ловя и пресле-

дуя чудную кисть. Ничего он не оканчивал без того, чтобы не поверить себя несколько раз с сими великими учителями и чтобы не прочесть в их созданьях безмолвного и красноречивого себе совета. Он не входил в шумные беседы и споры; он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов. Он равно всему отдавал должную ему часть, извлекая изо всего только то, что было в нем прекрасно, и наконец оставил себе в учители одного божественного Рафаэля. Подобно как великий поэт-художник, перечитавший много всяких творений, исполненных многих прелестей и величавых красот, оставлял наконец себе настольною книгой одну только Илиаду Гомера, открыв, что в ней все есть, чего хочешь, и что нет того, чтобы что не отразилось уже здесь в таком глубоком и великом совершенстве. И зато вынес он из своей школы величавую идею созданья, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Вошедши в залу, Чартков нашел уже целую огромную толпу посетителей, собравшихся перед картиною. Глубочайшее безмолвие, какое редко бывает между многолюдными ценителями, на этот раз царствовало всюду. Он поспешил принять значительную физиономию знатока и приблизился к картине; но, боже, что он увидел!

Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, стояло пред ним произведение художника. Скромно, божественно, невинно и просто, как гений, возносилось оно над всем. Казалось, небесные фигуры, изумленные столькими устремленными на них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы. С чувством невольного изумления созерцали знатоки новую невиданную кисть. Все тут, казалось, соединилось вместе: изученье Рафаэля, отраженное в высоком благородстве положений, изучение Корреджия, дышавшее в окончательном совершенстве кисти. Но властительней всего видна была сила созданья, уже заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут; во всем постигнут закон и внутренняя сила. Везде уловлена была эта плывучая округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у копииста. Видно было, как все, извлеченное из внешнего мира, художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданьем и простой копией с природы. Почти невозможно было выразить той необыкновенной

тишины, которою невольно были объяты все, вперившие глаза на картину — ни шелеста, ни звука; а картина между тем ежеминутно казалась выше и выше; светлей и чудесней отделялась от всего и вся превратилась наконец в один миг, плод налетевшей с небес на художника мысли, миг, к которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окруживших картину. Казалось, все вкусы, все дерзкие, неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению. Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чартков перед картиною, и наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения, и когда наконец обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришел в себя; хотел принять равнодушный, обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное, пошлое суждение зачерствелых художников, вроде следующего: «Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта от художника; есть кое-что, видно, что хотел он выразить что-то, однако же, что касается до главного...» И вслед за этим прибавить, разумеется, такие похвалы, от которых бы непоздоровилось никакому художнику. Хотел это сделать, но речь умерла на устах, слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он как безумный выбежал из залы.

С минуту неподвижный и бесчувственный стоял он посреди своей великолепной мастерской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С очей его вдруг слетела повязка. Боже! и погубить так безжалостно лучшие годы своей юности; истребить, погасить искру огня, может быть, теплившегося в груди, может быть, развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть, также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности! И погубить все это, погубить без всякой жалости! Казалось, как будто в эту минуту разом и вдруг ожили в душе его те напряжения и порывы, которые некогда были ему знакомы. Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот усилия проступил на его лице; весь обратился он в одно желание и загорелся одною мыслию: ему хотелось изобразить отпадшего ангела. Эта идея была более всего согласна с состоянием его души. Но, увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку,

и бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностию и ошибкою. Он пренебрег утомительную, длинную лестницу постепенных сведений и первых основных законов будущего великого. Досада его проникла. Он велел вынесть прочь из своей мастерской все последние произведенья, все безжизненные модные картинки, все портреты гусаров, дам и статских советников. Заперся один в своей комнате, не велел никого впускать и весь погрузился в работу. Как терпеливый юноша, как ученик, сидел он за своим трудом. Но как беспощадно-неблагодарно было все то, что выходило из-под его кисти! На каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий; простой, незначащий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для воображения. Кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота, даже самые складки платья отзывались вытверженным и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал, он чувствовал и видел это сам!

«Но точно ли был у меня талант? — сказал он наконец,— не обманулся ли я?» И, произнесши сии слова, он подошел к прежним своим произведениям, которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно, там, в бедной лачужке, на уединенном Васильевском Острову, вдали людей, изобилья и всяких прихотей. Он подошел теперь к ним и стал внимательно рассматривать их все, и вместе с ними стала представать в его памяти вся прежняя бедная жизнь его. «Да,— проговорил он отчаянно,— у меня был талант. Везде, на всем видны его признаки и следы...»

Он остановился и вдруг затрясся всем телом: глаза его встретились с неподвижно вперившимися на него глазами. Это был тот необыкновенный портрет, который он купил на Щукином дворе. Все время он был закрыт, загроможден другими картинами и вовсе вышел у него из мыслей. Теперь же, как нарочно, когда были вынесены все модные портреты и картины, наполнявшие мастерскую, он выглянул наверх вместе с прежними произведениями его молодости. Как вспомнил он всю странную его историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет, был причиной его превращенья, что денежный клад, полученный им таким чудесным образом, родил в нем все суетные побужденья, погубившие его талант,—

почти бешенство готово было ворваться к нему в душу. Он в ту ж минуту велел вынести прочь ненавистный портрет. Но душевное волненье от того не умирилось: все чувства и весь состав были потрясены до дна, и он узнал ту ужасную муку, которая, как поразительное исключение, является иногда в природе, когда талант слабый силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться, ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду, ту страшную муку, которая делает человека способным на ужасные злодеяния. Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он скрежетал зубами и пожирал его взором василиска. В душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеною силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом наслажденья. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. На всех аукционах, куда только показывался он, всякий заранее отчаивался в приобретении художественного создания. Казалось, как будто разгневанное небо нарочно послало в мир этот ужасный бич, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него: вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собой в чертах его. Казалось, в нем олицетворился тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин. Кроме ядовитого слова и вечного порицанья, ничего не произносили его уста. Подобно какой-то гарпии, попадался он на улице, и все его даже знакомые, завидя его издали, старались увернуться и избегнуть такой встречи, говоря, что она достаточна отравить потом весь день.

К счастию мира и искусств, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться: размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее. Припадки бешенства и безумия начали

оказываться чаще, и наконец все это обратилось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с самою быстрою чахоткою, овладели им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший на себя обязанность его пользовать и уже несколько наслышавшийся о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему привидениями и происшествиями его жизни, но ничего не мог успеть. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном порыве страдания. Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от огромных его богатств; но, увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление.

ЧАСТЬ II

Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей одного из тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Таких меценатов, как известно, теперь уже нет, и наш XIX-й век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпой посетителей, налетевших как хищные птицы на неприбранное тело. Тут была целая флотилия русских купцов из Гостиного двора и даже толкучего рынка в синих

немецких сюртуках. Вид их и выраженье лиц были здесь как-то тверже, вольнее и не означались той приторной услужливостью, которая так видна в русском купце, когда он у себя в лавке перед покупщиком. Тут они вовсе не чинились, несмотря на то, что в сей же зале находилось множество тех аристократов, перед которыми они в другом месте готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здесь они были совершенно развязны, щупали без церемонии книги и картины, желая узнать доброту товара, и смело перебивали цену, набавляемую графами-знатоками. Здесь были многие необходимые посетители аукционов, постановившие каждый день бывать в нем вместо завтрака; аристократы-знатоки, почитавшие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцию и не находившие другого занятия от 12 до 1 часа; наконец те благородные господа, которых платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно без всякой корыстолюбивой цели, но единственно, чтобы посмотреть, чем что кончится, кто будет давать больше, кто меньше, кто кого перебьет и за кем что останется. Множество картин было разбросано совершенно без всякого толку: с ними были перемешаны и мебели и книги с вензелями прежнего владетеля, может быть, не имевшего вовсе похвального любопытства в них заглядывать. Китайские вазы, мраморные доски для столов, новые и старые мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченные и без позолоты, люстры, кенкеты — все было навалено и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Все представляло какой-то хаос искусств. Вообще ощущаемое нами чувство при виде аукциона страшно: в нем все отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен; окна, загроможденные мебелями и картинами, скупо изливают свет, безмолвие, разлитое на лицах, и погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и отпевающего панихиду бедным, так странно встретившимся здесь искусствам. Все это, кажется, усиливает еще более странную неприятность впечатленья.

Аукцион, казалось, был в самом разгаре. Целая толпа порядочных людей, сдвинувшись вместе, хлопотала о чем-то наперерыв. Со всех сторон раздававшиеся слова: «рубль, рубль, рубль» — не давали времени аукционисту повторять надбавляемую цену, которая уже возросла вчетверо больше объявленной. Обступившая толпа хлопотала

из-за портрета, который не мог не остановить всех, имевших сколько-нибудь понятия в живописи. Высокая кисть художника выказывалась в нем очевидно. Портрет, повидимому, уже несколько раз был ресторирован и поновлен и представлял смуглые черты какого-то азиатца в широком платье, с необыкновенным, странным выраженьем в лице, но более всего обступившие были поражены необыкновенной живостью глаз. Чем более всматривались в них, тем более они, казалось, устремлялись каждому вовнутрь. Эта странность, этот необыкновенный фокус художника заняли вниманье почти всех. Много уже из состязавшихся о нем отступились, потому что цену набили неимоверную. Остались только два известных аристократа, любители живописи, не хотевшие ни за что отказаться от такого приобретенья. Они горячились и набили бы, вероятно, цену до невозможности, если бы вдруг один из тут же рассматривавших не произнес: «Позвольте мне прекратить на время ваш спор. Я, может быть, более, нежели всякий другой, имею право на этот портрет». Слова эти вмиг обратили на него внимание всех. Это был стройный человек, лет тридцати пяти, с длинными черными кудрями. Приятное лицо, исполненное какой-то светлой беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящих светских потрясений; в наряде его не было никаких притязаний на моду: все показывало в нем артиста. Это был, точно, художник Б., знаемый лично многими из присутствовавших. «Как ни странны вам покажутся слова мои,— продолжал он, видя устремившееся на себя всеобщее внимание,— но если вы решитесь выслушать небольшую историю, может быть, вы увидите, что я был вправе произнести их. Все меня уверяет, что портрет есть тот самый, которого я ищу». Весьма естественное любопытство загорелось почти на лицах всех, и самый аукционист, разинув рот, остановился с поднятым в руке молотком, приготовляясь слушать. В начале рассказа многие обращались невольно глазами к портрету, но потом все вперились в одного рассказчика, по мере того, как рассказ его становился занимательней.

— Вам известна та часть города, которую называют Коломною.— Так он начал.— Тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, перейдя в коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желанья и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка, все, что осело от столичного движенья. Сюда переезжают на житье отстав-

ные чиновники, вдовы, небогатые люди, имеющие знакомство с сенатом и потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день на пять копеек кофею да на четыре сахару, и наконец весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный, людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни се, ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов. Сюда можно причислить отставных театральных капельдинеров, отставных титулярных советников, отставных питомцев Марса с выколотым глазом и раздутою губою. Эти люди вовсе бесстрастны: идут, ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая. В комнате их не много добра; иногда просто штоф чистой русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого сильного прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот удалец Мещанской улицы, один владеющий всем тротуаром, когда время перешло за 12 часов ночи.

Жизнь в Коломне страх уединенна: редко покажется карета, кроме разве той, в которой ездят актеры, которая громом, звоном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут все пешеходы: извозчик весьма часто без седока плетется, таща сено для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц даже с кофеем поутру. Вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии: они ведут себя хорошо, метут часто свою комнату, толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и капусты; при них часто бывает молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и стенные часы с печально постукивающим маятником. Потом следуют актеры, которым жалованье не позволяет выехать из Коломны, народ свободный, как все артисты, живущие для наслажденья. Они, сидя в халатах, чинят пистолет, клеят из картона всякие вещицы, полезные для дома, играют с пришедшим приятелем в шашки и карты и так проводят утро, делая почти то же ввечеру, с присоединеньем коекогда пунша. После сих тузов и аристократства Коломны следует необыкновенная дробь и мелочь. Их так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, ко-

торое зарождается в старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся; старухи, которые пьянствуют; старухи, которые и молятся и пьянствуют вместе; старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи таскают с собою старое тряпье и белье от Калинкина мосту до толкучего рынка, с тем, чтобы продать его там за пятнадцать копеек; словом, часто самый несчастный осадок человечества, которому бы ни один благодетельный политический эконом не нашел средства улучшить состояние. Я для того привел их, чтобы показать вам, как часто этот народ находится в необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибегать к займам, и тогда поселяются между ними особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщики бывают в несколько раз бесчувственней всяких больших, потому что возникают среди бедности и ярко выказываемых нищенских лохмотьев, которых не видит богатый ростовщик, имеющий дело только с приезжающими в каретах. И потому уже слишком рано умирает в душах их всякое чувство человечества. Между такими ростовщиками был один... но не мешает вам сказать, что происшествие, о котором я принялся рассказывать, относится к прошедшему веку, именно к царствованию покойной государыни Екатерины Второй. Вы можете сами понять, что самый вид Коломны и жизнь внутри ее должны были значительно измениться. Итак, между ростовщиками был один — существо во всех отношениях необыкновенное, поселившееся уже давно в сей части города. Он ходил в широком азиатском наряде; темная краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин,— об этом никто не мог сказать наверно. Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо страшный цвет его, большие, необыкновенного огня глаза, нависшие густые брови отличали его сильно и резко от всех пепельных жителей столицы. Самое жилище его не похоже было на прочие маленькие деревянные домики. Это было каменное строение вроде тех, которых когда-то настроили вдоволь генуэзские купцы, с неправильными, неравной величины окнами, с железными ставнями и засовами. Этот ростовщик отличался от других ростовщиков уже тем, что мог снабдить какою угодно суммою всех, начиная от нищей старухи до расточительного придворного вельможи. Пред домом его показывались часто самые блестящие экипажи,

из окон которых иногда глядела голова роскошной светской дамы. Молва по обыкновению разнесла, что железные сундуки его полны без счету денег, драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов, но что, однако же, он вовсе не имел той корысти, какая свойственна другим ростовщикам. Он давал деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки платежей. Но какими-то арифметическими странными выкладками заставлял их восходить до непомерных процентов. Так, по крайней мере, говорила молва. Но что страннее всего и что не могло не поразить многих — это была странная судьба всех тех, которые получали от него деньги: все они оканчивали жизнь несчастным образом. Было ли это просто людское мнение, нелепые суеверные толки или с умыслом распущенные слухи — это осталось неизвестно. Но несколько примеров, случившихся в непродолжительное время пред глазами всех, были живы и разительны. Из среды тогдашнего аристократства скоро обратил на себя глаза юноша лучшей фамилии, отличившийся уже в молодых летах на государственном поприще, жаркий почитатель всего истинного, возвышенного, ревнитель всего, что породило искусство и ум человека, пророчивший в себе мецената. Скоро он был достойно отличен самой государыней, вверившей ему значительное место, совершенно согласное с собственными его требованиями, место, где он мог много произвести для наук и вообще для добра. Молодой вельможа окружил себя художниками, поэтами, учеными. Ему хотелось всему дать работу, все поощрить. Он предпринял на собственный счет множество полезных изданий, надавал множество заказов, объявил поощрительные призы, издержал на это кучи денег и, наконец, расстроился. Но, полный великодушного движенья, он не хотел отстать от своего дела, искал везде занять и наконец обратился к известному ростовщику. Сделавши значительный заем у него, этот человек в непродолжительное время изменился совершенно: стал гонителем, преследователем развивающегося ума и таланта. Во всех сочинениях стал видеть дурную сторону, толковал криво всякое слово. Тогда на беду случилась французская революция. Это послужило ему вдруг орудием для всех возможных гадостей. Он стал видеть во всем какое-то революционное направление, во всем ему чудились намеки. Он сделался подозрительным до такой степени, что начал наконец подозревать самого себя, стал сочинять ужасные, несправедливые доносы, наделал тьму несчастных. Само собой разу-

мееться, что такие поступки не могли не достигнуть наконец престола. Великодушная государыня ужаснулась и, полная благородства души, украшающего венценосцев, произнесла слова, которые хотя не могли перейти к нам во всей точности, но глубокий смысл их впечатлелся в сердцах многих. Государыня заметила, что не под монархическим правлением угнетаются высокие, благородные движенья души, не там презираются и преследуются творенья ума, поэзии и художеств; что, напротив, одни монархи бывали их покровителями; что Шекспиры, Мольеры процветали под их великодушной защитой, между тем как Дант не мог найти угла в своей республиканской родине; что истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государств, а не во время безобразных политических явлений и терроризмов республиканских, которые доселе не подарили миру ни одного поэта; что нужно отличать поэтов-художников, ибо один только мир и прекрасную тишину низводят они в душу, а не волненье и ропот; что ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне, ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя. Словом, государыня, произнесшая сии слова, была в эту минуту божественно прекрасна. Я помню, что старики не могли об этом говорить без слез. В деле все приняли участие. К чести нашей народной гордости надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного. Обманувший доверенность вельможа был наказан примерно и отставлен от места. Но наказание гораздо ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников. Это было решительное и всеобщее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа; гордость, обманутое честолюбие, разрушившиеся надежды,— все соединилось вместе, и в припадках страшного безумия и бешенства прервалась его жизнь.— Другой разительный пример произошел тоже в виду всех: из красавиц, которыми не бедна была тогда наша северная столица, одна одержала решительное первенство над всеми. Это было какое-то чудное слиянье нашей северной красоты с красотой полудня, бриллиант, какой попадается на свете редко. Отец мой признавался, что никогда он не видывал во всю жизнь свою ничего подобного. Все, казалось, в ней соединилось: богатство, ум и душевная прелесть. Искателей была толпа, и в числе их замечательнее всех был князь Р., благороднейший, лучший из всех молодых людей, прекраснейший и

лицом и рыцарскими, великодушными порывами, высокий идеал романов и женщин, Грандисон во всех отношениях. Князь Р. был влюблен страстно и безумно; такая же пламенная любовь была ему ответом. Но родственникам показалась партия неровною. Родовые вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилия была в опале, и плохое положенье дел его было известно всем. Вдруг князь оставляет на время столицу, будто бы с тем, чтобы поправить свои дела, и, спустя непродолжительное время, является окруженный пышностью и блеском неимоверным. Блистательные балы и праздники делают его известным двору. Отец красавицы становится благосклонным, и в городе разыгрывается интереснейшая свадьба. Откуда произошла такая перемена и неслыханное богатство жениха, этого не мог наверно изъяснить никто; но поговаривали стороною, что он вошел в какие-то условия с непостижимым ростовщиком и сделал у него заем. Как бы то ни было, но свадьба заняла весь город. И жених и невеста были предметом общей зависти. Всем была известна их жаркая, постоянная любовь, долгие томленья, претерпленные с обеих сторон, высокие достоинства обоих. Пламенные женщины начертывали заранее то райское блаженство, которым будут наслаждаться молодые супруги. Но вышло все иначе. В один год произошла страшная перемена в муже. Ядом подозрительной ревности, нетерпимостью и неистощимыми капризами отравился дотоле благородный и прекрасный характер. Он стал тираном и мучителем жены своей и, чего бы никто не мог предвидеть, прибегнул к самым бесчеловечным поступкам, даже побоям. В один год никто не мог узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собою толпы покорных поклонников. Наконец, не в силах будучи выносить долее тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводе. Муж пришел в бешенство при одной мысли о том. В первом движеньи неистовства ворвался он к ней в комнату с ножом и, без сомнения, заколол бы ее тут же, если бы его не схватили и не удержали. В порыве исступленья и отчаянья он обратил нож на себя — и в ужаснейших муках окончил жизнь. Кроме сих двух примеров, совершившихся в глазах всего общества, рассказывали множество случившихся в низших классах, которые почти все имели ужасный конец. Там честный, трезвый человек делался пьяницей; там купеческий приказчик обворовал своего хозяина; там извозчик, возивший несколько лет честно, за грош зарезал седока. Нельзя, чтобы такие про-

исшествия, рассказываемые иногда не без прибавлений, не навели род какого-то невольного ужаса на скромных обитателей Коломны. Никто не сомневался о присутствии нечистой силы в этом человеке. Говорили, что он предлагал такие условия, от которых дыбом поднимались волоса и которых никогда потом не посмел несчастный передавать другому; что деньги его имеют притягающее свойство, раскаляются сами собою и носят какие-то странные знаки... словом, много было всяких нелепых толков. И замечательно то, что все это коломенское население, весь этот мир бедных старух, мелких чиновников, мелких артистов и, словом, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше терпеть и выносить последнюю крайность, нежели обратиться к страшному ростовщику; находили даже умерших от голода старух, которые лучше соглашались умертвить свое тело, нежели погубить душу. Встречаясь с ним на улице, невольно чувствовали страх. Пешеход осторожно пятился и долго еще озирался после того назад, следя пропадавшую вдали его непомерную высокую фигуру. В одном уже образе было столько необыкновенного, что всякого заставило бы невольно приписать ему сверхъестественное существование. Эти сильные черты, врезанные так глубоко, как не случается у человека; этот горячий бронзовый цвет лица; эта непомерная гущина бровей, невыносимые, страшные глаза, даже самые широкие складки его азиатской одежды,— все, казалось, как будто говорило, что пред страстями, двигавшимися в этом теле, были бледны все страсти других людей. Отец мой всякий раз останавливался неподвижно, когда встречал его, и всякий раз не мог удержаться, чтобы не произнести: «Дьявол, совершенный дьявол!» Но надобно вас поскорее познакомить с моим отцом, который между прочим есть настоящий сюжет этой истории. Отец мой был человек замечательный во многих отношениях. Это был художник, каких мало, одно из тех чуд, которых извергает из непочатого лона своего только одна Русь, художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствованья и шедший по причинам, может быть, неизвестным ему самому, одною только указанною из души дорогою; одно из тех самородных чуд, которых часто современники честят обидным словом «невежи» и которые не охлаждаются от охулений и собственных неудач, получают только новые рвенья и силы и уже далеко в душе своей уходят

от тех произведений, за которые получили титло невежи. Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете; постигнул сам собой истинное значение слова: историческая живопись; постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджо можно назвать историческою живописью, и почему огромная картина исторического содержания все-таки будет tableau de genre, несмотря на все притязанья художника на историческую живопись. И внутреннее чувство, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого. У него не было честолюбия или раздражительности, так неотлучной от характера многих художников. Это был твердый характер, честный, прямой человек, даже грубый, покрытый снаружи несколько черствой корою, не без некоторой гордости в душе, отзывавшийся о людях вместе и снисходительно и резко. «Что на них глядеть,— обыкновенно говорил он,— ведь я не для них работаю. Не в гостиную понесу я мои картины, их поставят в церковь. Кто поймет меня, поблагодарит, не поймет — все-таки помолится богу. Светского человека нечего винить, что он не смыслит живописи; зато он смыслит в картах, знает толк в хорошем вине, в лошадях — зачем знать больше барину? Еще, пожалуй, как попробует того да другого, да пойдет умничать, тогда и житья от него не будет! Всякому свое, всякий пусть занимается своим. По мне уж лучше тот человек, который говорит прямо, что он не знает толку, нежели тот, который корчит лицемера, говорит, будто бы знает то, чего не знает, и только гадит да портит». Он работал за небольшую плату, то есть за плату, которая была нужна ему только для поддержанья семейства и для доставленья возможности трудиться. Кроме того он ни в каком случае не отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бедному художнику; веровал простой, благочестивой верою предков, и оттого, может быть, на изображенных им лицах являлось само собою то высокое выраженье, до которого не могли докопаться блестящие таланты. Наконец постоянством своего труда и неуклонностью начертанного себе пути он стал даже приобретать уважение со стороны тех, которые честили его невежей и доморощенным самоучкой. Ему давали беспрестанно заказы в церкви, и работа у него не переводилась. Одна из работ заняла его сильно. Не помню уже, в чем именно состоял сюжет ее, знаю только то — на картине нужно было поместить духа

тьмы. Долго думал он над тем, какой дать ему образ; ему хотелось осуществить в лице его все тяжелое, гнетущее человека. При таких размышлениях иногда проносился в голове его образ таинственного ростовщика, и он думал невольно: «Вот бы с кого мне следовало написать дьявола». Судите же об его изумлении, когда один раз, работая в своей мастерской, услышал он стук в дверь и вслед затем прямо взошел к нему ужасный ростовщик. Он не мог не почувствовать какой-то внутренней дрожи, которая пробежала невольно по его телу.

— Ты художник? — сказал он без всяких церемоний моему отцу.

— Художник,— сказал отец в недоуменьи, ожидая, что будет далее.

— Хорошо. Нарисуй с меня портрет. Я, может быть, скоро умру, детей у меня нет; но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портрет, чтобы был совершенно как живой?

Отец мой подумал: «Чего лучше? он сам просится в дьяволы ко мне на картину». Дал слово. Они уговорились во времени и цене, и на другой же день, схвативши палитру и кисти, отец мой уже был у него. Высокий двор, собаки, железные двери и затворы, дугообразные окна, сундуки, покрытые странными коврами, и наконец сам необыкновенный хозяин, севший неподвижно перед ним,— все это произвело на него странное впечатление. Окна, как нарочно, были заставлены и загромождены снизу так, что давали свет только с одной верхушки. «Черт побери, как теперь хорошо осветилось его лицо! — сказал он про себя, и принялся жадно писать, как бы опасаясь, чтобы как-нибудь не исчезло счастливое освещенье.— Экая сила! — повторил он про себя,— если я хотя вполовину изображу его так, как он есть теперь, он убьет всех моих святых и ангелов; они побледнеют пред ним. Какая дьявольская сила! он у меня просто выскочит из полотна, если только хоть немного буду верен натуре. Какие необыкновенные черты!» — повторял он беспрестанно, усугубляя рвенье, и уже видел сам, как стали переходить на полотно некоторые черты. Но чем более он приближался к ним, тем более чувствовал какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себе самому. Однако же, несмотря на то, он положил себе преследовать с буквальною точностью всякую незаметную черту и выраженье. Прежде всего занялся он отделкою глаз. В этих глазах столько было силы, что, казалось, нельзя бы и помыслить передать их точно, как

были в натуре. Однако же, во что бы то ни стало, он решился доискаться в них последней мелкой черты и оттенка, постигнуть их тайну... Но как только начал он входить и углубляться в них кистью, в душе его возродилось такое странное отвращение, такая непонятная тягость, что он должен был на несколько времени бросить кисть и потом приниматься вновь. Наконец уже не мог он более выносить, он чувствовал, что эти глаза вонзались ему в душу и производили в ней тревогу непостижимую. На другой, на третий день это было еще сильнее. Ему сделалось страшно. Он бросил кисть и сказал наотрез, что не может более писать с него. Надобно было видеть, как изменился при этих словах странный ростовщик. Он бросился к нему в ноги и молил кончить портрет, говоря, что от сего зависит судьба его и существование в мире, что уже он тронул своею кистью его живые черты, что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественною силою удержится в портрете, что он чрез то не умрет совершенно, что ему нужно присутствовать в мире. Отец мой почувствовал ужас от таких слов: они ему показались до того странны и страшны, что он бросил и кисти, и палитру, и бросился опрометью вон из комнаты. Мысль о том тревожила его весь день и всю ночь, а поутру он получил от ростовщика портрет, который принесла какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него в услугах, объявившая тут же, что хозяин не хочет портрета, не дает за него ничего и присылает назад. Ввечеру того же дни узнал он, что ростовщик умер и что собираются уже хоронить его по обрядам его религии. Все это казалось ему неизъяснимо-странно. А между тем с этого времени оказалась в характере его ощутительная перемена: он чувствовал неспокойное, тревожное состояние, которому сам не мог понять причины, и скоро произвел он такой поступок, которого бы никто не мог от него ожидать. С некоторого времени труды одного из учеников его начали привлекать внимание небольшого круга знатоков и любителей. Отец мой всегда видел в нем талант и оказывал ему за то свое особенное расположение. Вдруг почувствовал он к нему зависть. Всеобщее участие и толки о нем сделались ему невыносимы. Наконец к довершению досады узнает он, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало. «Нет, не дам же молокососу восторжествовать! — говорил он.— Рано, брат, вздумал стариков сажать в грязь! Еще, слава богу, есть у меня силы. Вот мы увидим, кто кого скорее

посадит в грязь». И прямодушный, честный в душе человек употребил интриги и происки, которыми дотоле всегда гнушался; добился наконец того, что на картину объявлен был конкурс и другие художники могли войти также с своими работами. После чего заперся он в свою комнату и с жаром принялся за кисть. Казалось, все свои силы, всего себя хотел он сюда собрать. И точно, это вышло одно из лучших его произведений. Никто не сомневался, чтобы не за ним осталось первенство. Картины были представлены, и все прочие показались пред нею, как ночь пред днем. Как вдруг один из присутствовавших членов, если не ошибаюсь, духовная особа, сделал замечание, поразившее всех. «В картине художника точно есть много таланта,— сказал он,— но нет святости в лицах; есть даже, напротив того, что-то демонское в глазах, как будто бы рукою художника водило нечистое чувство». Все взглянули и не могли не убедиться в истине сих слов. Отец мой бросился вперед к своей картине, как бы с тем, чтобы поверить самому такое обидное замечание, и с ужасом увидел, что он всем почти фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски-сокрушительно, что он сам невольно вздрогнул. Картина была отвергнута, и он должен был к неописанной своей досаде услышать, что первенство осталось за его учеником. Невозможно было описать того бешенства, с которым он возвратился домой. Он чуть не прибил мать мою, разогнал детей, переломал кисти и мольберт, схватил со стены портрет ростовщика, потребовал ножа и велел разложить огонь в комнате, намереваясь изрезать его в куски и сжечь. На этом движеньи застал его вошедший в комнату приятель, живописец, как и он, весельчак, всегда довольный собой, не заносившийся никакими отдаленными желаньями, работавший весело всё, что попадалось, и еще веселей того принимавшийся за обед и пирушку.

— Что ты делаешь, что собираешься жечь? — сказал он и подошел к портрету.— Помилуй, это одно из самых лучших твоих произведений. Это ростовщик, который недавно умер; да, это совершеннейшая вещь. Ты ему просто попал не в бровь, а в самые глаза залез. Так в жизнь никогда не глядели глаза, как они глядят у тебя.

— А вот я посмотрю, как они будут глядеть в огне,— сказал отец, сделавши движенье швырнуть его в камин.

— Остановись, ради бога! — сказал приятель, удержав его.— Отдай его уж лучше мне, если он тебе до такой степени колет глаза.

Отец сначала упорствовал, наконец согласился, и весельчак, чрезвычайно довольный своим приобретением, утащил портрет с собою.

По уходе его отец мой вдруг почувствовал себя спокойнее. Точно как будто бы вместе с портретом свалилась тяжесть с его души. Он сам изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемене своего характера. Рассмотревши поступок свой, он опечалился душою и не без внутренней скорби произнес: «Нет, это бог наказал меня; картина моя поделом понесла посрамленье. Она была замышлена с тем, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моею кистью, демонское чувство должно было и отразиться в ней». Он немедленно отправился искать бывшего ученика своего, обнял его крепко, просил у него прощенья и старался, сколько мог, загладить пред ним вину свою. Работы его вновь потекли по-прежнему безмятежно; но задумчивость стала показываться чаще на лице его. Он больше молился, чаще бывал молчалив и не выражался так резко о людях; самая грубая наружность его характера как-то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще более потрясло его. Он уже давно не видался с товарищем своим, выпросившим у него портрет. Уже собрался было идти его проведать, как вдруг он сам вошел неожиданно в его комнату. После нескольких слов и вопросов с обеих сторон он сказал:

— Ну, брат, недаром ты хотел сжечь портрет. Черт его побери, в нем есть что-то странное... Я ведьмам не верю, но воля твоя: в нем сидит нечистая сила...

— Как? — сказал отец мой.

— А так, что с тех пор, как повесил я к себе его в комнату, почувствовал тоску такую... точно как будто бы хотел кого-то зарезать. В жизнь мою я не знал, что такое бессонница, а теперь испытал не только бессонницу, но сны такие... я и сам не умею сказать, сны ли это или что другое: точно домовой тебя душит и все мерещится проклятый старик. Одним словом, не могу рассказать тебе моего состояния. Подобного со мной никогда не бывало. Я бродил как шальной все эти дни: чувствовал какую-то боязнь, неприятное ожиданье чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселого и искреннего слова; точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь. И только с тех пор как отдал портрет племяннику, который напросился на него, почувствовал, что с меня вдруг будто какой-то камень свалился с плеч: вдруг почувствовал себя веселым, как видишь. Ну, брат, состряпал ты черта.

Во время этого рассказа отец мой слушал его с неразвлекаемым вниманием и наконец спросил:

— И портрет теперь у твоего племянника?

— Куды у племянника! не выдержал,— сказал весельчак.— Знать, душа самого ростовщика переселилась в него: он выскакивает из рам, расхаживает по комнате, и то, что рассказывает племянник, просто уму непонятно. Я бы принял его за сумасшедшего, если бы отчасти не испытал сам. Он его продал какому-то собирателю картин, да и тот не вынес его и тоже кому-то сбыл с рук.

Этот рассказ произвел сильное впечатление на моего отца. Он задумался не в шутку, впал в ипохондрию и наконец совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием, что часть жизни ростовщика перешла в самом деле как-нибудь в портрет и тревожит теперь людей, внушая бесовские побуждения, совращая художника с пути, порождая страшные терзанья зависти и проч. и проч. Три случившиеся вслед за тем несчастия, три внезапные смерти: жены, дочери и малолетнего сына почел он небесною казнью себе и решился непременно оставить свет. Как только минуло мне девять лет, он поместил меня в Академию художеств и, расплатясь с своими должниками, удалился в одну уединенную обитель, где скоро постригся в монахи. Там строгостью жизни, неусыпным соблюдением всех монастырских правил он изумил всю братью. Настоятель монастыря, узнавши об искусстве его кисти, требовал от него написать главный образ в церковь. Но смиренный брат сказал наотрез, что он недостоин взяться за кисть, что она осквернена, что трудом и великими жертвами он должен прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить к такому делу. Его не хотели принуждать. Он сам увеличивал для себя, сколько было возможно, строгость монастырской жизни. Наконец уже и она становилась ему недостаточною и не довольно строгою. Он удалился с благословенья настоятеля в пустынь, чтоб быть совершенно одному. Там из древесных ветвей выстроил он себе келью, питался одними сырыми кореньями, таскал на себе камни с места на место, стоял от восхода до заката солнечного на одном и том же месте с поднятыми к небу руками, читая беспрерывно молитвы. Словом, изыскивал, казалось, все возможные степени терпенья и того непостижимого самоотверженья, которому примеры можно разве найти в одних житиях святых. Таким образом долго, в продолжение нескольких лет, изнурял он свое тело, подкрепляя его в то же время

живительною силою молитвы. Наконец в один день пришел он в обитель и сказал твердо настоятелю: «Теперь я готов. Если богу угодно, я совершу свой труд». Предмет, взятый им, было рождество Иисуса. Целый год сидел он за ним, не выходя из своей кельи, едва питая себя суровой пищей, молясь беспрестанно. По истечении года картина была готова. Это было точно чудо кисти. Надобно знать, что ни братья, ни настоятель не имели больших сведений в живописи, но все были поражены необыкновенной святостью фигур. Чувство божественного смиренья и кротости в лице пречистой матери, склонившейся над младенцем, глубокий разум в очах божественного младенца, как будто уже что-то прозревающих вдали, торжественное молчанье пораженных божественным чудом царей, повергнувшихся к ногам его, и, наконец, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину — все это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатленье было магическое. Вся братья поверглась на колена пред новым образом, и умиленный настоятель произнес: «Нет, нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину: святая высшая сила водила твоею кистью и благословенье небес почило на труде твоем».

В это время окончил я свое ученье в академии, получил золотую медаль и вместе с нею радостную надежду на путешествие в Италию — лучшую мечту двадцатилетнего художника. Мне оставалось только проститься с моим отцом, с которым уже 12 лет я расстался. Признаюсь, даже самый образ его давно исчезнул из моей памяти. Я уже несколько наслышался о суровой святости его жизни и заранее воображал встретить черствую наружность отшельника, чуждого всему в мире, кроме своей кельи и молитвы, изнуренного, высохшего от вечного поста и бденья. Но как же я изумился, когда предстал предо мною прекрасный, почти божественный старец! И следов изможденния не было заметно на его лице: оно сияло светлостью небесного веселия. Белая, как снег, борода и тонкие, почти воздушные волосы такого же серебристого цвета рассыпались картинно по груди и по складкам его черной рясы и падали до самого вервия, которым опоясывалась его убогая монашеская одежда; но более всего изумительно было для меня услышать из уст его такие слова и мысли об искусстве, которые, признаюсь, я долго буду хранить в душе и желал бы искренно, чтобы всякий мой собрат сделал то же.

«Я ждал тебя, сын мой,— сказал он, когда я подошел к его благословенью.— Тебе предстоит путь, по которому отныне потечет жизнь твоя. Путь твой чист, не совратись с него. У тебя есть талант; талант есть драгоценнейший дар бога — не погуби его. Исследуй, изучай все, что ни видишь, покори все кисти, но во всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданья. Блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выраженье, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве, и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волненья мирского, во сколько раз творенье выше разрушенья, во сколько раз ангел одной только чистой невинностью светлой души своей выше всех несметных сил и гордых страстей сатаны,— во столько раз выше всего, что ни есть на свете, высокое созданье искусства. Все принеси ему в жертву и возлюби его всей страстью, не страстью, дышащей земным вожделением, но тихой небесной страстью, без нее не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое созданье искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к богу. Но есть минуты, темные минуты...— Он остановился, и я заметил, что вдруг омрачился светлый лик его, как будто бы на него набежало какое-то мгновенное облако.— Есть одно происшествие в моей жизни,— сказал он.— Доныне я не могу понять, что был тот странный образ, с которого я написал изображение. Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существованье дьявола, и потому не буду говорить о нем. Но скажу только, что я с отвращением писал его, я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и, бездушно заглушив все, быть верным природе. Это не было созданье искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства, не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем. Мне говорили, что портрет этот ходит по рукам и рассевает томительные впечатленья, зарождая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату,

злобную жажду производить гоненья и угнетенья. Да хранит тебя всевышний от сих страстей! Нет их страшнее. Лучше вынести всю горечь возможных гонений, нежели нанести кому-либо одну тень гоненья. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызнуту одним пятном грязи из-под колеса, и уже весь народ обступил его и указывает на него пальцем и толкует об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множества пятен на других проходящих, одетых в будничные одежды. Ибо на будничных одеждах не замечаются пятна». Он благословил меня и обнял. Никогда в жизни не был я так возвышенно подвигнут. Благоговейно, более нежели с чувством сына, прильнул я к груди его и поцеловал в рассыпавшиеся его серебряные волосы. Слеза блеснула в его глазах. «Исполни, сын мой, одну мою просьбу,— сказал он мне уже при самом расставаньи.— Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет, о котором я говорил тебе. Ты его узнаешь вдруг по необыкновенным глазам и неестественному их выражению,— во что бы то ни было истреби его...» Вы можете судить сами, мог ли я не обещать клятвенно исполнить такую просьбу. В продолжении целых пятнадцати лет не случалось мне встретить ничего такого, что бы хотя сколько-нибудь походило на описание, сделанное моим отцом, как вдруг теперь на аукционе...

Здесь художник, не договорив еще своей речи, обратил глаза на стену с тем, чтобы взглянуть еще раз на портрет. То же самое движение сделала в один миг вся толпа слушавших, ища глазами необыкновенного портрета. Но, к величайшему изумлению, его уже не было на стене. Невнятный говор и шум пробежал по всей толпе, и вслед за тем послышались явственно слова: «украден». Кто-то успел уже стащить его, воспользовавшись вниманьем слушателей, увлеченных рассказом. И долго все присутствовавшие оставались в недоумении, не зная, действительно ли они видели эти необыкновенные глаза или это была просто мечта, представшая только на миг глазам их, утружденным долгим рассматриванием старинных картин.

1832—1835, 1837—1842

ПРИМЕЧАНИЯ

В этой книге собраны избранные фантастические повести первой половины XIX века. Тексты повестей печатаются по авторитетным советским изданиям. После каждой повести следует дата ее написания, а если она неизвестна, то в угловых скобках дата первой публикации. Орфография и пунктуация, где это возможно, приближены к современным.

АНТОНИЙ ПОГОРЕЛЬСКИЙ

Лафертовская Маковница. *Лафертовская* — жившая в Лефортове, тогдашнем предместье Москвы. *Роспуски* (с. 40) — телега для перевозки громоздких и тяжелых предметов. *Маркитант* (с. 44) — торговец, снабжавший армию провиантом и снаряжением.

Черная курица. *Васильевский Остров* (с. 48) — район в Петербурге; *линия* — название каждой стороны улицы на Васильевском острове. *Пансион* (с. 48) — школа с общежитием для учеников. *Барочные доски* (с. 50) — доски от старых барок. *Вакантное время,* вакации (ваканции) (с. 50) — каникулы. *Букли, тупей и длинная коса* (с. 51) — старинная мужская прическа. *Шиньон* (с. 51) — старинная женская прическа. *Салоп* (с. 51) — старинное женское верхнее платье. *Империал* (с. 52) — золотая монета. *Бергамоты* (с. 54) — сорт груш. *Синяя мурава* (с. 56) — синяя глазурь, которой покрывают глиняную посуду. *Лабрадор* (с. 60) — мрамор. *Шрекова всемирная история* (с. 65).— Имеется в виду «История христианской церкви», основное сочинение, в 35-ти т., Шрека (1733—1803), профессора в Лейпциге и Виттенберге.

ОРЕСТ СОМОВ

Русалка. ...*Киев был во власти поляков...* (с. 77).— С 1569 г. и до 1654 г., т. е. до воссоединения Украины с Россией, Киев принадлежал полякам. В примечаниях к повести «Гайдамак», к которым О. Сомов отсылал читателя, содержится более подробное объяснение комментируемых слов: *«Дрибушки* — мелкие косы; их заплетают по нескольку и обвивают вокруг головы. *Скиндячки* — разноцветные ленты, которыми повязывается голова; концы их распускаются по плечам».

Киевские ведьмы. *Тарас Трясила* Федорович (с. 86) — запорожский гетман, ставший во главе казацко-крестьянского восстания 1630 г. против польского ига и разгромивший войско польского коронованного гетмана Станислава Конецпольского (1591—1646). Т. Г. Шевченко воспел эту победу в стихотворении «Тарасова ночь». *Брюховецкий* Иван Мартынович — гетман Левобережной Украины (1663—1668) и кошевой атаман, пытавшийся отложиться от России и отдать Украину под власть Турции, но вызвавший недовольство казаков, которые 7 июня 1668 года убили его. *Летописец Малой России* (с. 86) — Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич (1788—1850), историк, автор «Истории Малой России» (1822). *Намитка* (с. 96) — украинский головной убор замужних женщин. *Пещеры* (с. 97) — подземные помещения Киево-Печерской лавры, где находились часовни, кельи, а также гробы умерших монахов.

АЛЕКСАНДР БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

Страшное гаданье. *Лутковский Петр Степанович* (1800—1882) — морской офицер, близкий к декабристам, друг Бестужева; с 1849 г.— контр-адмирал. *Обшивни* (с. 101) — широкие сани, розвальни, обшитые лубом, или городские сани с высокой спинкой. *Зааминить или зачурать* (с. 105) — от слов «аминь» и «чур», которые произносили, чтобы отмежеваться от злых духов. *Ономесь* (с. 107) — недавно, на днях. *Кика* (с. 107) — праздничный головной убор замужних женщин. *Подкосники* (с. 107) — подвязные, поддельные косы на затылке. *Барская барыня* (с. 113) — ключница, экономка из дворни. *Подрези* (с. 113) — железные продольные прутья, которыми оковывали санные полозья. *Казанки* (с. 114) — казанские саночки, козырки. *Котильон* (с. 121) — кадриль, перемежающаяся другими бальными танцами; ею обычно заканчивался бал.

МИХАИЛ ЗАГОСКИН

Нежданные гости. *Четьи-Минеи* (с. 134) — «чтения ежемесячные»; сборники житий святых, составленные по месяцам в соответствии с днями чествования церковью памяти каждого «святого». *Канапе* (с. 134) — кушетка. *Приказный* (с. 137) — мелкий чиновник судебного ведомства. *Крапивное семя* (с. 137) — прозвище чиновников. *Хлебенное* (с. 138) — всякого рода мучное изделие, пироги и пирожное. *Содом, Гомор* (с. 139) — то есть Содом и Гоморра, библейские города, пораженные небесным огнем за разврат и преступления их жителей. *...печатают под титлами...* (с. 140) — Евангелие и другие церковные книги печатались на старославянском языке. *Голубец* (с. 141) — народная пляска. *Свайка* (с. 141) — толстый гвоздь или шип с большой головкой, который берут в кулак и броском втыкают в землю, попадая в кольца; народная игра.

ВЛАДИМИР ОДОЕВСКИЙ

Сказка о том, по какому случаю... *Шаховский* Александр Александрович (1777—1846) (с. 145) — поэт и драматург, знакомый В. Одоевского. *Визитный реестр* (с. 148) — список нанесших визит. *Шесть в сютах, один на червях, мизер...* (с. 145) — термины карточной игры. *Сивиллин треножник* (с. 147) — легендарные женщины-пророчицы в Древней Греции и в Древнем Риме произносили иногда свои предсказания, восседая на треножнике. *Ремиз, пулька* (с. 148) — карточные термины. *Адрес-календарь* (с. 146) — именной список жителей с указанием их званий и местожительства. *Фризовые и камлотные шинели* (с. 148) — шинели из толстой ворсистой байки и суровой шерстяной ткани. *Биток* (с. 149) — предмет игры: бабка, которой мечут в кон, сбивая другие. *...сочинителя «Открытых таинств картежной игры»* (с. 149) — анонимный автор книги «Жизнь игрока, описанная им самим, или Открытые хитрости карточной игры» в 2-х т. М., 1826—1827. *Пароль* — удвоение ставки; термин карточной игры.

Сказка о мертвом теле... Эпиграф — из повести Гоголя «Ночь перед рождеством». *Реженск* (с. 150) — вымышленный город, символ глухой провинции. *Выморочная изба* (с. 150) — изба, оставшаяся после смерти всех, живших в ней. *Заклеть* (с. 150) — помещение сзади жилых комнат,

за квартирой. *Сивиллина книга* (с. 151) — собрание изречений, приобретенное, по преданию, римским царем Тарквинием Гордым (по другим источникам — Тарквинием Приском) у Кумской сивиллы. При решении важных и спорных вопросов римляне иногда гадали по Сивиллиной книге. *Камчатное одеяло* (с. 153) — одеяло, сделанное из льняной ткани. *Книжник* (с. 153) — бумажник, сумка для бумажных денег. *Бова Королевич* (с. 153) — герой старинной русской повести, популярной в народе; к этой повести проявляли интерес многие русские писатели. *Ванька Каин* (Иван Осипович Каин) (с. 153) — знаменитый вор и полицейский сыщик, наводивший в XVIII веке ужас на жителей Москвы; литературная обработка его похождений принадлежит автору лубочных романов Матвею Комарову; история Ваньки Каина стала одним из любимых чтений простого народа. *...о путешествии купца Коробейникова в Иерусалим...* (с. 153) — имеется в виду «Путешествие московских купцов Трифона Коробейникова с товарищи в Иерусалим, Египет и к Синайской горе», которое не раз издавалось в конце XVIII — начале XIX в. Коробейников и его спутники отправились в это путешествие в 1583 году по повелению Ивана Грозного. *...взяли город Трою, а Царьград уступили туркам* (с. 153).— Совмещены два разных по времени события: после Троянской войны, воспетой Гомером в «Илиаде», Троя была разрушена греками, в 1453 году турки завоевали у греков Царьград (Константинополь). *Гнилое море* (с. 154) — мертвое соленое озеро в Палестине. *...процессия погребения кота...* (с. 152) — сюжет лубочной картины, изображавшей похороны кота мышами. *...палаты царя Фараона...* (с. 154) — развалины дворца в Каире, описанные Коробейниковым. *...птица Строфокамил* (с. 154) — страус. *Кошт* (с. 157) — содержание, иждивение. *Бистурий* (с. 158) — хирургический нож.

Сильфида. *Сильфида* — дух стихии воздуха, согласно учению средневекового мистика и алхимика немецкого врача Парацельса (Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, 1493—1541), изложенному в трактате «О нимфах, сильфах, гномах и саламандрах». Адресат посвящения — Анастасия Сергеевна Пашкова, поблагодарившая, кстати, В. Ф. Одоевского за посвящение ей «Сильфиды». Первый эпиграф — из книги десятой «Государства» древнегреческого философа Платона (428 или 427—348 или 347 до н. э.). *...Карла X начали называть Дон-Карлосом...* (с. 161) — сначала испан-

ский инфант Дон-Карлос (1788—1855) вынужден был отказаться от своих прав (впоследствии начал гражданскую, «карлистскую», войну), а затем, после Июльской революции 1830 г., был свергнут с престола король Франции Карл X (1757—1836). *Иван Федорович Шпонька* (с. 161) — герой повести Гоголя «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» (1832). *Граф Габалис* (с. 164) — имеется в виду книга «Граф <де> Габалис, или Разговоры о тайных науках», написанная и анонимно изданная в 1670 г. в Париже аббатом Никола Вилларом де Монфоконом (1635—1673); в ней рассказывалось об отношениях стихийных духов с людьми. *Вилланова Арнольд* (1235—1312) — испанский алхимик и теософ. *Луллий Раймонд* (1235—1315) — испанский мистик и богослов, занимавшийся алхимическими опытами. *Кабалист* — от слова «каббала» («предание») — приверженец тайного мистического учения, согласно которому в основе мира лежит чудодейственное сцепление чисел, а потому высшее знание о мире можно достичь лишь с помощью особой науки о числах. *Ундина* (с. 165) — дух стихии воды; В. Ф. Одоевский, начавший в 1830-е годы работать над повестью «Ундина», воспользовался, как выяснено, одноименным произведением немецкого романтика Фридриха де ла Мотт Фуке (1777—1843), пересказанного в стихах В. А. Жуковским. *...с ее дядюшкою...* — имеется в виду водяной Струй, персонаж «Ундины» повести Фуке. *Спермацет* (с. 167) — горючее вещество, находимое в голове китов, кашалотов. *Поташной завод* (с. 171) — предприятие по производству химических препаратов, необходимых в качестве удобрений, а также для изготовления мыла, стекла. *...рядную написал* (с. 177) — составил роспись приданого невесты.

Привидение. *Путята* Николай Васильевич (1802—1877) — литератор, близкий знакомый В. Ф. Одоевского. *Ириней Модестович* (с. 180) — Ириней Модестович Гомозейка — вымышленное лицо; его личность объединяет цикл «Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласным». *...о танцующих стульях* (с. 183).— Эта история была широко известна. О ней в 1833 году Пушкин с иронией писал в дневнике: «В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов, принадлежащих ведомству придворной конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать; дело пошло по начальству: князь В. Долгоруков снарядил

следствие, и один из чиновников призвал попа, но во время молебна стулья и столы не хотели стоять смирно. Об этом идут разные толки». Гоголь упомянул об этом происшествии в повести «Нос». «Epitre à Uranie» или «Discours en vers» (с. 183) — произведения французского писателя и философа Франсуа-Мари Аруэ (Вольтера) (1694—1778).

Живой мертвец. Посвящено Евдокии Петровне Ростопчиной (1811/12—1858) — русской писательнице. *Лета* (с. 191) — река забвения в царстве мертвых (греч. миф.). *...офранкировали даму* (с. 198) — карточный термин, означающий: освободили даму от прикрытия туза или младших карт, вследствие чего дама будет бита старшей картой. *Афеньский язык* (с. 199) — воровской жаргон. *...нашей газеты* (с. 204) — намек на газету «Северная пчела», издававшуюся Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем, против реакционного направления которой В. Одоевский неоднократно выступал. *«Волшебная флейта»* (с. 205) — опера Моцарта, созданная в 1791 г.

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

Гробовщик. *Эпиграф* — из стихотворения Г. Р. Державина «Водопад». *Шекспир и Вальтер Скотт* (с. 216).— Шекспир изобразил гробовщиков в трагедии «Гамлет» (действие 5), а Вальтер Скотт в романе «Ламмермурская невеста» (глава 16). *Бригадир* (с. 218) — военный чин 5-го класса, соответствующий гражданскому чину статского советника, выше полковника, но ниже генерал-майора. Ко времени действия повести чин бригадира был упразднен и оставались только бригадиры в отставке. *Почталион Погорельского* (с. 219) — Онуфрич, см. «Лафертовскую маковницу». *«...с секирой и в броне сермяжной»* (с. 219) — стих из сказки «Дура Пахомовна» писателя А. Е. Измайлова (1779—1831). *«Казалось в красненьком сафьянном переплете»* (с. 220) — измененный стих из комедии «Хвастун» (действие 3, явл. 6) из Я. Б. Княжнина (1742 (1740?) — 1791). У Княжнина:

Лицо широкое его, как уложенье,
Одето в красненький сафьянный переплет.

Сержант гвардии (с. 222).— Сержант — унтер-офицерский чин в XVIII в. Упразднен в 1798 г.

Пиковая дама. *Эпиграф* — эти стихи, в качестве принадлежащих ему, Пушкин сообщил в письме к П. А. Вяземскому от 1 сентября 1828 г. *Мирандоль, руте* (с. 224) — карточные термины. *Понтировать* (с. 225) — термин карточной игры: играть против банкомета. *...la Vénus moscovite* (с. 225) — московская Венера. *Ришелье* (с. 223 — имеется в виду герцог Арман Ришелье (1696—1788), маршал Франции, известный своими любовными похождениями. *Фараон* (с. 225) — карточная игра. *Герцог Орлеанский* (с. 225) — возможно, имеется в виду Людовик-Филипп (1725—1785), ставший герцогом Орлеанским в 1752 году. *Граф Сен-Жермен* (с. 225) — авантюрист, появившийся в парижском высшем обществе в 1750-х годах. Умер в 1784 г. *Казанова* (с. 226) — Казанова Джованни Джакомо (1725—1798), итальянский писатель, помимо прочих сочинений оставил «Мемуары» в 12-ти томах. *Версаль* (с. 226) — пригород Парижа, с 1682 по 1789 г. резиденция французских королей. *...au jeu de la Reine* (с. 226) — на карточную игру у королевы. *Соник* (с. 226) — карточный термин; выиграть соника — выиграть с первой ставки, сразу. *...Загнул пароли, пароли-пе* (с. 227) — карточные термины: удвоение и учетверение ставки против первоначальной. *Эпиграф* (с. 227).— Перевод: «Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок.— Что делать? Они свежее». По поводу этого эпиграфа Денис Давыдов писал Пушкину 4 апреля 1834 г.: «Помилуй! что за дьявольская память! — Бог знает когда-то на лету я рассказал тебе ответ мой М. А. Нарышкиной насчет les sauvantes qui sout plus fraîches (камеристок, которые свежее — *фр.*), а ты слово в слово поставил это эпиграфом в одном из отделений «Пиковой дамы». *...grand'maman* (с. 227) — бабушка. *Bon jour, mademoiselle Lise* (с. 227) — Здравствуйте, Лиза. *Paul* (с. 227) — Поль (Павел). *Горек чужой хлеб, говорит Данте* (с. 229) — слова из «Божественной комедии» («Рай», п. 17) Данте:

Ты будешь знать, как горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на чужбине
Сходить и восходить по ступеням.

...не доставало vis-à-vis (с. 230) — недоставало пары (в контрдансе). *Эпиграф* (с. 233).— Перевод: «Вы пишете мне, мой ангел, письмо по четыре страницы быстрее, чем я успеваю их прочитать». *...m-me Lebrun* (с. 235) — мадам Лебрен — французская художница-портретистка Ниже

Лебрен (1755—1842). *Leroy* (с. 236) — Леруа — имеется в виду знаменитый французский часовщик Жюльен Леруа (1686—1759), дело которого успешно продолжал его сын Пьер Леруа (1717—1785). *Рулетка* (с. 236) — игрушка, бывшая в моде: цветной кружок на шнурке, бегающий вверх и вниз. *Монгольфьеров шар* (с. 236) — воздушный шар, изобретенный братьями Жозефом (1740—1810) и Этьенном (1745—1799) Монгольфье. *Месмеров магнетизм* (с. 236) — ложное учение австрийского врача Франца Месмера (1734—1815), в основе которого лежит теория «животного магнетизма». *Эпиграф* (с. 238).— Перевод: «17 мая 18**. Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого!» *...oubli ou regret?* (с. 239) — забвение или сожаление? — Предлагавшие этот вопрос дамы заранее уславливались, какое слово какой даме принадлежит. Выбравший слово кавалер должен был танцевать с дамой, которой принадлежало выбранное слово. *...à l'oiseau royal* (с. 241) — королевской птицей. *Шведенберг* (с. 241) — Сведенборг Эммануэль (1688—1772), шведский писатель, ученый и мистик, почетный член Петербургской Академии наук (1734). *...une affectation* (с. 242) — притворством. *...в ожидании жениха полунощного* (с. 242).— Аллегория, заимствованная из притчи о девах мудрых и неразумных, ожидающих ночью прихода жениха («Евангелие от Матфея», гл. 25, ст. 1—13: «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий»). *Ата́нде* (с. 243) — русифицированная форма французского слова attendez, карточный термин, означающий: «не делайте ставки». *Талья*

(с. 244) — в карточной игре круг до окончания карт у банкомета или до срыва банка. *Семпель* (с. 245) — карточный термин: ставить на одну карту, делать простую ставку.

ЕВГЕНИЙ БАРАТЫНСКИЙ

Перстень. *Филипп II* (1527—1598) (с. 254) — испанский король, поддерживал инквизицию. *Эккартсгаузен* (с. 258) — Карл фон Эккартхаузен (1752—1803), немецкий писатель.

МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ

<Штосс>. *Штосс* (с. 263) — карточная игра. *У графа В... был музыкальный вечер* (с. 263).— Имеется в виду граф Михаил Юрьевич Виельгорский (1788—1856) и его аристократический салон. *...один гвардейский офицер* (с. 263) — предполагают, что Лермонтов здесь подразумевал себя. *...новоприезжая певица* (с. 263) — речь идет, по-видимому, о Сабине Гейнефехтер, которая гастролировала в это время в Петербурге и исполняла романсы Шуберта. *Здравствуйте, мсье Лугин* (с. 264) — существует предположение, что в образе Минской отразились черты А. О. Смирновой, близкой знакомой Лермонтова. *Шуберт* (1797—1828) (с. 265) — австрийский композитор. *Нет, был Кифейкина — а теперь так Штосса!* (с. 268) — очевидно, описка: по смыслу повести Штосс — прежний и давно умерший владелец дома. *Клюнгер* (клюнкер) (с. 273) — золотая монета достоинством в 10 рублей (червонец); «*Клюнкер* — название червонца, изобретенное известным остроумцем 1830-х годов и ближайшим другом А. С. Пушкина С. А. Соболевским исключительно ради рифмы со словом «юнкер», понадобившейся для эпиграммы, когда Пушкин был пожалован не по летам в камер-юнкеры:

Пушкин камер-юнкер,
Раззолоченный как клюнкер».

(Словарь русского языка, составленный вторым отделением имп. АН, т. 4, вып. 4. СПб., 1910, с. 1112). Указанное слово приведено А. Амфитеатровым в его статье «Мятлев и его поэзия» в кн.: Амфитеатров А. Полн. собр. соч., т. 1. М., 1894. Оно употреблено также

П. А. Вяземским в письме к А. С. Пушкину от 28 мая 1834 г.: «Мы выпьем у него шампанского на клюнкер». Следовательно, слово «клюнкер» в значении «золотой червонец» (другие значения — орден; сибирский золотой обоз — были известны) возникло не ранее конца декабря 1833 г. и умерло не позднее начала 1840-х (указ. проф. Л. Ю. Максимовым). *Оник* (с. 273) — карточный термин: соник, с первой карты, сразу.

НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ

Нос. *Коллежский асессор* (с. 280) — чиновник 8-го класса, равный майору в военной Табели о рангах, на Кавказе вследствие произвола и злоупотреблений тамошней администрации в чины производили без особого труда. *Поветовый* (с. 283) — уездный. *Плюмаж* (с. 284) — перьевая опушка на шляпе. *Управа благочиния* (с. 287) — полицейское управление. *Съезжая* (с. 294) — полицейский участок. *Бортище* (с. 294) — дюжина. *Уветливый* (с. 296) — приветливый, ласковый. *Магазин Юнкера* (с. 298) — модный магазин на Невском проспекте в Петербурге. *Хозрев-Мирза* (с. 299) — персидский принц, возглавлявший посольство, прибывшее в связи с убийством русского посла А. С. Грибоедова в Петербург в августе 1829 г., в качестве резиденции ему был отведен Таврический дворец. *Раут* (с. 299) — званый вечер в великосветском доме. *...par amour* (с. 301) — по любви.

Портрет. *Щукин двор* (с. 303) — один из рынков в Петербурге. *Ерусланов Лазаревичей* (с. 304) — имеются в виду сказки и лубочные картинки, широко распространенные в конце XVIII — начале XIX в. *Беленькая* (с. 304) — ассигнация достоинством в 25 рублей. *Рафаэль* (с. 308) — Рафаэль Санцио (1483—1520), великий итальянский живописец. *Гвид* (с. 308) — Гвидо Рени (1575—1642), итальянский художник эпохи позднего Возрождения. *Тициан* (с. 308) — Тициан Вечелли (1489—1576), венецианский художник, один из виднейших портретистов своего времени. *Фламандцы* (с. 308) — художник так называемой фламандской школы, отличавшейся реализмом бытовой и жанровой живописи, виднейшие из них — Рубенс (1577—1640) и Ван-Дейк (1599—1641). *Антики* (с. 309) — гипсовые слепки с античных скульптур. *Психея* (с. 309) — олицетворение человеческой души; девушка необычайной красоты, внушившая страсть богу любви Эроту (греч. миф.),

эта тема вдохновила многих художников и поэтов, *...об одном портрете Леонарда да Винчи <...> произведение искусства* (с. 310).— Речь идет о портрете Монны Лизы (Джоконды) великого итальянского художника Леонардо да Винчи (1452—1519). Об этом произведении Джорджо Вазари (1511—1574), итальянский художник, архитектор и историк искусства, сообщал, что Леонардо, «потрудившись над ним четыре года, оставил его недовершенным». В своем «Жизнеописании художников» Вазари особо подчеркнул жизненность этого портрета, свидетельствующую, «до какой степени искусство может подражать природе... глаза... имеют тот блеск и ту влажность, какие обычно видны у живого человека». *Коломна* (с. 314) — район Петербурга на правом берегу Фонтанки. *Громобой* (с. 316) — герой баллады В. А. Жуковского «Двенадцать спящих дев», продавший душу дьяволу. *Торсик* (с. 318) — торс, гипсовое изображение тела человека. *...поставлю Венеру* (с. 318) — т. е. поставлю гипсовое изображение богини любви Венеры (рим. миф.). *Вандик* (с. 319) — Ван-Дейк. *C'est charmant, Lise, Lise, venez ici* (с. 320) — Это очаровательно, Лиза, Лиза, подойдите сюда. *Теньер* Давид (1610—1690) (с. 320) — голландский художник, изображавший бытовые и жанровые сцены. *...quelle jolie figure!* (с. 320) — какое красивое лицо! *Superbe, superbe!* (с. 324) — Великолепно, великолепно! *Quelle idée délicieuse!* (с. 324).— Какая восхитительная мысль! *Корредж* (с. 324) — Антонио Корреджо (наст. фамилия Аллегри, ок. 1489—1534), итальянский живописец Высокого Возрождения, прославленный колорист. *Марс* (с. 325) — бог войны (рим. миф.). *Корина* (с. 326) — Коринна, героиня романа «Коринна, или Италия» французской писательницы Анны Луизы Жермены де Сталь (1766—1817). *Аспазия* (с. 326) — Аспасия (V в. до н. э.), жена афинского стратега Перикла; отличалась красотой, умом, образованностью; в ее доме собирались художники и поэты. *Микель-Анжел* (с. 327) — Микеланджело Буонарроти (1475—1564), великий итальянский живописец, архитектор и поэт. *Il y a quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure!* (с. 327).— Есть что-то необыкновенное во всей его внешности! *Василиск* (с. 333) — дракон, змей. *...страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин* (с. 333) — имеется в виду стихотворение Пушкина «Демон». *Гарпия* (с. 333) — богиня вихря; изображалась крылатым чудовищем, птицей с девичьей головой; олицетворение яростной злобы (греч. миф.). *...погруженные в зефиры и амуры*

(с. 334) — выражение из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»; слова Чацкого о помещике-балетомане: «Сам погружен умом в зефирах и амурах». *Кенкеты* (с. 335) — масляные лампы. *Ресторирован* (с. 336) — т. е. реставрирован, восстановлен. *Грандисон* (с. 341) — добродетельный герой романа «История сэра Чарльза Грандисона» английского писателя Сэмюэла Ричардсона (1689—1761). *...tableau de genre* (с. 343) — жанровая критика. *Вервие* (с. 349) — веревка.

СОДЕРЖАНИЕ

Русская фантастическая повесть эпохи романтизма/Сост., вступ. ст. и примеч. В. И. Коровина; Худож. В. Юрлов.— М.: Сов. Россия, 1987.— 368 с., ил.

Р89

В книге представлены образцы русской фантастической повести первой половины XIX века.

Р1

Р $\frac{4803010101-362}{М-105(03)87}$ 225—1987 г.

Для детей старшего школьного возраста

Составитель
Валентин Иванович Коровин

РУССКАЯ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА

Редактор *М В. Долотцева*
Художественный редактор *М. В. Таирова*
Технический редактор *И. И. Павлова*
Корректоры *А. З. Лазуткина, Г. М. Ульянова, Л. М. Логунова, С. В. Мироновская, Э. З. Сергеева*

ИБ № 4943
Сдано в набор 11 05 87 Подписано в печать 30 10.87. Формат $84 \times 108/_{32}$. Бумага тип № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл п. л 19,32. Усл. кр -отт 19,53. Уч -изд л 20,37 Тираж 325 000 экз. (2-й завод 100 001 — 325 000 экз) Зак № 386. Цена 1 р. в обложке. Изд инд ЛД-131.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Готовится к печати книга:

Русская поэзия начала XX века.

В сборнике будут собраны самые значительные произведения основных литературных направлений начала нынешнего века, в которых наиболее убедительно раскрылось мастерство ведущих поэтов того времени — И. Анненского, И. Бунина, А. Блока, А. Белого, М. Волошина, С. Городецкого, Н. Гумилева, Г. Иванова, В. Хлебникова и многих других.

1 р.

· *Советская Россия* ·